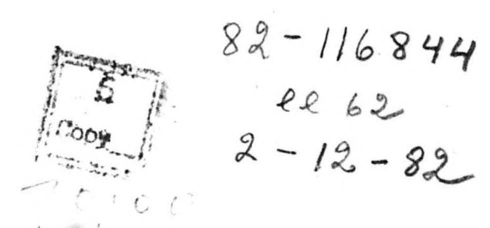
В. А. ПОССЕ

ПЕРЕЖИТОЕ
И
ПРОДУМАННОЕ

В. А. ПОССЕ

ПЕРЕЖИТОЕ И ПРОДУМАННОЕ

> Что значит жить? — В борьбе
> с судьбою
> С страстями темными сгорать.
> Творить? — То значит над собою
> Нелицемерный суд держать.
>
> *Ибсен.*



ТОМ

I ×)

×) Если не ошибаюсь, почти уверен, то продолжения не было, т.е. остальные тома не вышли

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

В. А. ПОССЕ

ТОМ I

МОЛОДОСТЬ

(1864—1894)

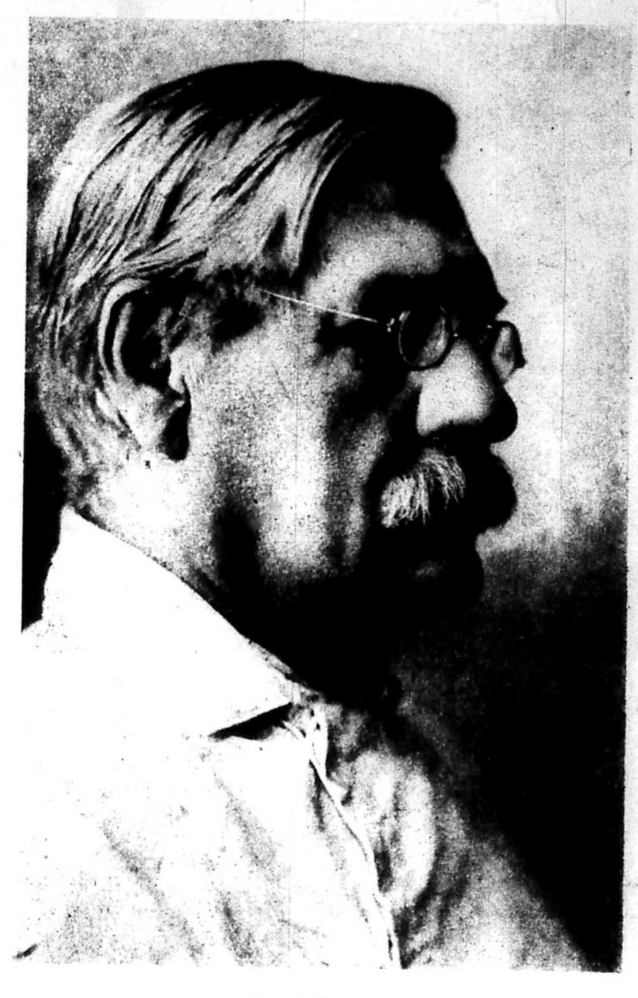
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

1933

№ 362

Отпечатано для Издательства писателей в Ленинграде 2-й типографией ОНТИ им. Е. Соколовой. Ленинград, пр. Красн. Командиров, 29, в количестве 5 500 экз., $16^1/_8$ печ. листов, зак. № 1037. Ленгорлит № 23482. Обложка М. Кирнарского. Сдано в набор 4/VI 1933 г., подписано к печати 20/XI 1933 г., формат бумаги 62 × 94, порядковый № 101, тип. знаков в 1 печ. листе 48 000. Ответственный редактор Н. Свирин. Технический редактор Д. Бабкин.

1933 г.



В. А. Поссе

x) Эта книга имелась в моей б-ке. Но последнее время, уже — несколько лет, она „в нетях“, не вижу ее.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Осенью 1929 года в издательстве «Земля и фабрика» вышла моя книга «Мой жизненный путь».x) Менее чем в год она разошлась, и ко мне от разных лиц, главным образом от слушателей моих лекций, начали поступать настоятельные просьбы о ее переиздании. Мне не хотелось выпускать ее без изменений и дополнений. Переработка задержалась моей тяжкой и длительной болезнью.

За время болезни я много раз продумывал свой «жизненный путь» и пришел к заключению, что необходимо целый ряд глав моих мемуаров написать заново и при этом отнюдь не избегать, как я это делал раньше, откровенного рассказа о своих личных переживаниях, о своих личных порывах и надрывах.

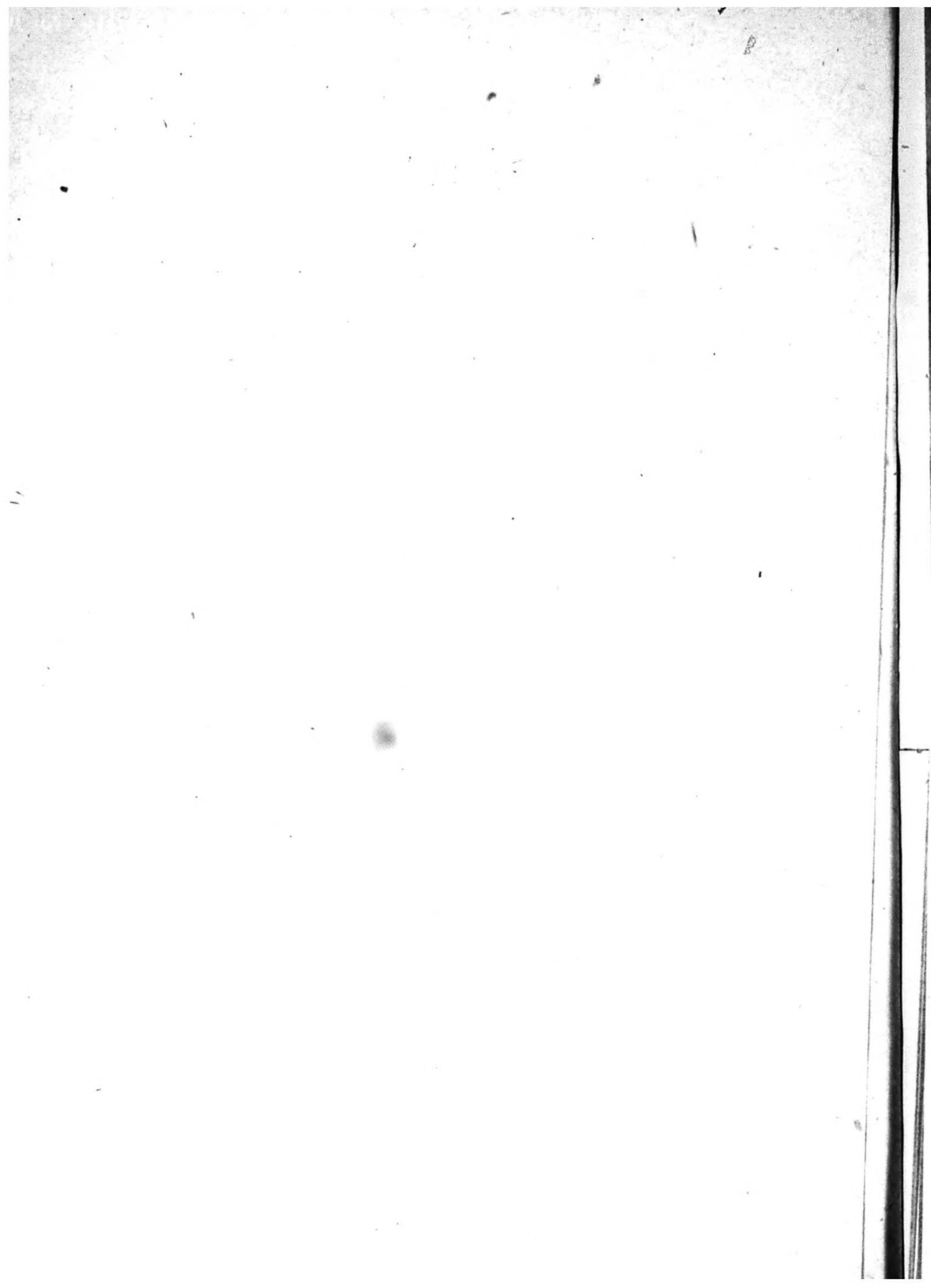
К переработанным мемуарам я выбрал новое, лучше их характеризующее название: «Пережитое и продуманное». Четверостишье Ибсена, взятое мною для эпиграфа, верно, как мне кажется, характеризует некоторые особенности моей жизни и моего творчества.

«Пережитое и продуманное» я разбиваю на три тома. В первый, предлагаемый теперь вниманию читателей, входят мои переживания до 1894 года, когда мне исполнилось тридцать лет и закончился первый период исканий и борьбы. Он, я думаю, представляет самостоятельный интерес и подготовляет понимание последующих периодов моей жизни.

В. И. Невский в предисловии к «Моему жизненному пути» писал, что мои «воспоминания интересны и важны и для историка русской литературы и для историка русского революционного движения».

Смею надеяться, что эти воспоминания, дополненные и переработанные, будут полезны не только для историка революционного движения и литературы, но и для всякого думающего читателя, раз он в своей жизни любил и страдал, борясь за ясно сознанный общественный идеал.

Для меня таким идеалом во всю мою сознательную жизнь был тот строй, где каждый работает соответственно своим силам и способностям и пользуется благами жизни соответственно своим потребностям.



I. СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ

Снежный май. — Кнут Поссе. — Бабушка, мамка и няня. — Первое сильное впечатление. — Отец и Достоевский. — Данзас. — Первая железная дорога. — Борьба за власть. — Смерть отца. — Черный. — Чеховский сюжет. — Мать. — Приживалка. — Первая трагедия любви. — Брат как ученый, музыкант и артист. — Н. Н. Миклуха-Маклай. — Софья Ковалевская. — Семейная драма брата. — Разрыв и примирение с братом. — Смерть брата. — Сестра Лидочка. — Снотворчество. — И. И. Боргман. — Брак по расчету. — К характеристике Николая Последнего. — Трагедия сестры Машеньки. — Страннолюбский. — Самоубийство Гаркемы. — Второв. — Смерть Маруси. — 60 лет учительства. — Бедняцкая могила. — Моя сестра Катенька. — Семья Струве. — Астрономы и администраторы. — Трагедия Катеньки. — Самоосвобождение.

Родился я 10/22 мая 1864 года в усадьбе Петровское, Боровичского уезда, Новгородской губернии.

В этот день, после, казалось, установившейся весны, выпал сильный снег, покрывший толстым белым покровом зеленеющие луга и поля, опушивший белыми хлопьями только что распустившуюся листву берез.

Моя бабушка с материнской стороны Мария Александровна Козлянинова, смотря из окна комнаты, в которой я родился, на этот необычайный для мая зимний ландшафт, сказала: «Должно быть, этот ребенок будет человеком необыкновенным».

Предсказания бабушек не всегда исполняются.

Если моя жизнь и была не совсем обыкновенной, то ее необыкновенность, во всяком случае, была иной, чем надеялась бабушка, очень любившая своих внучат.

Мне почему-то кажется, что кто-нибудь из дворовых старушек тогда же возразил бабушке:

— Нехорошо, дорогая матушка-барыня, что родился он в мае месяце: не пришлось бы ему всю жизнь маяться.

Необыкновенным человеком в смысле известности, знаменитости был не Владимир Поссе, родившийся в XIX веке, а Кнут Поссе, родившийся в XIV веке.

Кнут Поссе был родоначальником разветвленной фамилии Поссе, наиболее видные представители которой живут в Швеции и одно время возглавляли шведскую консервативную партию.

Кнуту Поссе шведская легенда ставит в заслугу, что он отстоял Выборг от русских полчищ, взорвав пороховые погреба выборгского крепостного замка, когда в него ворвались русские.

Про него рассказывали, что он ездил в Париж, где не только

изучал разные науки, но и, подобно немецкому Фаусту, продал свою душу дьяволу. Плату за душу он получил очень высокую: каждое задуманное им предприятие немедленно и блестяще осуществлялось. Стоило ему, например, начертить на песке морского берега корабли, как они уже плыли по морю, гордо распустив свои белые паруса.

Вероятно от Кнута Поссе я унаследовал страсть к различным предприятиям, страсть к составлению всевозможных планов, но, увы, при проведении их в жизнь счастье не сопутствовало мне, и я претерпел много горьких неудач.

Мать моя, как знатная помещица, детей своих только родила (этого никто другой сделать за нее не мог), вскармливали же своею грудью и взращивали их крепостные крестьянки, мамки и няньки.

Я был самым младшим; я родился через три года после отмены крепостного права, но и меня вскормила грудью крестьянка, еще не сознававшая себя свободной и считавшая, что она должна беспрекословно исполнять волю «своих» господ. Возможно, что муж ее, бедный крестьянин, да и сама она считали даже за счастье, что у них родилась дочка почти одновременно с появлением на свет сына у «их» барыни «Поссихи», и молоко крестьянки оказалось вполне подходящим для сына барыни. Ульяна (так, кажется, звали мою мамку) перешла из бедной избушки деревни Заболотье в барские хоромы Петровского. Девочка была посажена на рожок.

Кормила и пестовала меня Ульяна под наблюдением бабушки Марии Александровны, умершей, когда мне было полтора года. Это была очень добрая женщина, постоянно заступавшаяся за крестьян и в особенности за дворовых перед суровым и вспыльчивым дедушкой Яковом Петровичем.

В детстве мне все бывшие «дворовые» постоянно хвалили бабушку Марию Александровну, которая была для них «сущим ангелом-хранителем». Никогда не сидела она без дела и особенно любила вышивать образа и картины шелками. Меня она благословила вышитым ею образком богоматери, много лет висевшим над моей детской кроваткой.

Жизнь ее была не из счастливых. Самым тяжелым ударом, подрезавшим ее жизнь, была смерть единственного сына Константина Яковлевича, храброго вояки, много раз раненого во время кавказской войны и, наконец, убитого поляками в самом начале восстания 1863 года.

Я ее, конечно, совершенно не помню, но в душе у меня жило довольно долго какое-то нежное чувство, как бы память о ком-то очень добром, хорошо любившем меня. Вероятно это влияние рассказов дворовых. Ее «образку» я, пока верил, молился горячо.

Любила меня и кормилица, или «мамка».

Она приходила навещать меня, когда я уже бегал и хорошо говорил. Ясно вижу ее простоватое лицо, с сильно вздернутым носом и жалобными глазами, высоко подвязанную грудь в ситцевом желтом сарафане; чувствую особый деревенский запах овчины, парного

молока, яиц, навоза; слышу ласковый певучий голос. Она нежно гладила меня по голове и совала мне черную ватрушку с тертым картофелем и желтое, луковыми перьями крашеное, яйцо. Иногда она приводила с собою худенькую, болезненную белобрысенькую девочку, которая робко жалась к ее ногам и прятала личико за передник.

Это была моя «молочная» сестренка, которую соска по счастливой случайности не убила.

Мне с «мамкой» было неловко, я рад был, когда она уходила, и я оставался со своей няней Марьюшкой. Она няньчила меня с двух до восьми лет. К ней я был привязан необычайно сильно. Дороже ее у меня не было никого на свете. Ей было, когда она меня няньчила, лет пятьдесят. Она считалась старой девушкой, но еще в детстве горничные рассказывали мне, что у «моей Марьюшки» был какой-то солдат и был какой-то мальчик, которого раз нашли повесившимся.

Моя горячая любовь к Марьюшке прерывалась страхом в те вечера, когда она ходила как-то особенно осторожно, смотрела на меня «недобрыми глазами», странно «жевала» губами и обдавала меня противным запахом сивухи и лука.

Я прятался от нее под одеяло, а когда она ложилась и засыпала, вставал в кроватке на колени и молился образку богородицы, чтобы скрыла от мамаши беду Марьюшки.

Часто я слышал, как мамаша (так я по примеру брата и сестер называл свою мать) кричала на Марьюшку и грозила прогнать ее. Этого я боялся больше всего. Без Марьюшки мне казалось невозможно жить. Пила Марьюшка вместе с Марфушкой, главной горничной мамаши.

К Марфушке мамаша относилась с известным уважением, так как ее очень ценил отец, главным образом за то, что она умела по-настоящему приготовлять кофе, варить варенье, мочить морошку, мариновать грибы и т. д. Марфушка носила по утрам отцу сапоги и брала меня с собой, при чем я хотел непременно сам тащить «маги». Отец радовался моему приходу и ласкал меня. Об этом я знаю со слов Марфушки. Своих путешествий наверх с «магами» я не помню.

Отец умер, когда мне было два года девять месяцев. Помню его смерть. Это мое первое воспоминание, первое сильное, на всю жизнь сохранившееся впечатление.

Полумрак... Кто-то тихо плачет.

Стою у края кровати и смотрю на бледную сухую ногу, вытянувшуюся из-под одеяла. На ноге большое черное пятно.

Затем вижу темную деревянную лестницу во второй этаж. Я сижу, скорчившись, на нижней ступеньке и плачу. Как будто вижу самого себя — на мне коричневая рубашка.

Последняя картина. Кто-то держит меня на руках у окна. На дворе люди в светлых одеждах и бархатных шапках. Блестящий ящик-гроб. Заунывное пение.

Кто-то говорит мне, что уносят папашу. Я плачу и злюсь на тех, кто уносит.

Отец дожил до сорока семи лет. Если бы он дожил до глубокой старости, то очень возможно, что я попал бы под его влияние и вырос другом, а не стойким врагом своего социального класса.

Мой дед, с отцовской стороны чистокровный швед из той линии рода Поссе, которая была пленена русскими при Петре, занимался в Петербурге медицинской практикой и сколотил себе небольшой капиталец, который завещал своей дочери, а сыновьям — старшему Ивану и младшему Александру — оставил по пустой шкатулке; их они должны были заполнить деньгами, заработанными «трудами праведными».

Мой дядя Иван Федорович был отдан в артиллерийское училище, а отец — в инженерное, где он учился одновременно с Ф. М. Достоевским. Не знаю, какие отношения у него были с Достоевским, но во всяком случае друзьями они не были.

Припоминая рассказы матери и старшей сестры об отце, я иногда думаю, что у отца с Достоевским была в молодости одна общая черта. Оба они, постоянно нуждаясь в деньгах и получая чувствительные уколы самолюбию, стремились к власти и богатству.

Достоевский выбрал для этого литературный путь, а отец старался выработать из себя искусного инженера. Как молодой инженер-путеец он сблизился с инженерным полковником Данзасом, секундантом Пушкина в его трагической дуэли. Не помню, видел ли я Данзаса, но в нашем доме очень часто говорили о Данзасе, и я знал историю дуэли Пушкина раньше, чем читал его произведения.

Данзасу в нашем доме была оказана довольно странная честь: его именем был назван великолепный, необычайно умный и добродушный пес, большой черный водолаз. Я с ним постоянно играл и катался на нем верхом. О его смерти я печалился более сознательно, чем о смерти отца.

Отец принимал ближайшее участие в проектировании, а затем и постройке Николаевской железной дороги (от Москвы до Петербурга), первой в России, если не считать небольшой царскосельской ветки.

Николай I отверг все представленные ему варианты железнодорожной линии и, проведя карандашом прямую линию между Петербургом и Москвой, приказал строго держаться этого «проекта». «Мудрый» царь лучше ученых инженеров знал, что кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая линия.

Мой отец строил участок между Окуловкой и Бологое.

Мне в течение своей жизни приходилось много сотен раз проезжать по этому участку и я всегда припоминал знаменитое стихотворение Некрасова «Железная дорога».

В дореволюционное время некрасовский эпиграф к стихотворению печатался в искаженном цензурою виде. На вопрос мальчика Вани, кто строил эту дорогу, папаша-генерал отвечал:

«Инженеры, душенька».

Повторяя в голове эти слова, я испытывал какое-то чувство стыда:

ведь, как никак, я был сыном одного из этих мнимых строителей, проложивших дорогу по костям голодных и больных мужиков-рабочих, не мнимых, а истинных строителей ее.

Должен сознаться, что я почувствовал некоторое удовлетворение, когда прочел подлинный текст эпиграфа, где, вместо инженеров, стояло «граф Петр Андреевич Клейнмихель».

Клейнмихель во время постройки Николаевской железной дороги был министром путей сообщения, одним из самых жестоких слуг Николая Палкина.

За «Железную дорогу» «Современник» получил второе предостережение на основании отзыва цензора Мартынова. В своем отзыве Мартынов писал между прочим, что Клейнмихель упомянут в эпиграфе, «очевидно, с целью возбудить в читателях негодование против этого имени, рассчитывая на страшную эффектность стихотворения».

Мой отец не ладил с Клейнмихелем, и после какого-то резкого столкновения ему пришлось выйти в отставку и оставить карьеру инженера.

Он перешел в почтовое ведомство, но его интересовали не вопросы связи, а организация различных предприятий и акционерных обществ. Он, между прочим, участвовал в организации одного из первых пароходных обществ «Самолет» и книгоиздательского товарищества «Общественная польза».

Шкатулка, разумеется, давно была заполнена, и отец сделался богатым человеком. В его доме на Почтамтской улице устраивались блестящие балы, на которых бывали и молодые офицеры, и пожилые сановники.

Пробиваясь к власти путем капиталистического накопления, отец сталкивается с известным впоследствии предпринимателем Ратьковым-Рожновым. После упорной борьбы шведа и русского победителем остается Ратьков-Рожнов.

Мать мне рассказывала, что она вместе с старшей сестрой стояла на улице перед освещенным окном первого этажа того дома, где происходил последний, решительный бой между моим отцом и Ратьковым-Рожновым. Они не слышали слов, но видели, что отец горячо отстаивает свою позицию.

В результате победы Ратькова-Рожнова отец лишился почти всего своего состояния и уехал из Петербурга в небольшой уездный городок Боровичи, где он, конечно, был первым. Здесь его избирают уездным предводителем дворянства, и ему поручается обревизовать дела боровичского земства. В земстве были большие злоупотребления, и растратчики подкупили врача, обычно лечившего отца, чтобы он его отравил.

Об этом много лет спустя рассказал матери священник, которому о преступлении мужа в предсмертной исповеди рассказала вдова врача.

К освобождению крестьян отец относился положительно, так как

вместе с знаменитым мужиком, предпринимателем Кокоревым, понимал, что дворянам выгодно заменить «неблагозвучное наименование душевладельцы благозвучным — землевладельцы».

Конечно, перестать быть «душевладельцем» было не всегда приятно.

У отца был камердинер по фамилии Черный. Отец очень им дорожил, как толковым и честным слугой. В день опубликования манифеста об освобождении крестьян отец поздравил Черного с полученной свободой и сказал:

— Ты теперь будешь у меня служить как вольный человек, и я надеюсь, так же хорошо, как и крепостной.

— Нет, — ответил сухо Черный, — я больше лакеем быть не хочу и прошу ваше превосходительство немедленно отпустить меня.

Отец побледнел, сжал губы и, сдержав гнев, сказал:

— Ты свободен — уходи.

Черный ушел.

Об этом эпизоде мне не раз рассказывали бывшие дворовые и, видимо, считали Черного своего рода героем.

Мое детское сочувствие было всецело на стороне слуги, а не барина.

При рассказах об отце в моей душе постоянно подымалось какое-то чувство досады и отпора. Я, конечно, понимаю, что дети не ответственны за своих родителей, я знаю, что были сыновья рабочих — негодяи, вроде провокатора Малиновского, а дети потомственных дворян и аристократов — самоотверженные борцы за свободу трудящихся масс, как например: Петр Кропоткин, Софья Перовская и много других, имена которых красной кровью записаны в летопись революции. Но все же я предпочел бы быть сыном потомственного пролетария, а не потомственного дворянина.

С некоторым сочувствием к отцу я вспоминаю об одном эпизоде в чеховском духе.

Мой отец, гуляя однажды по Невскому в зимний солнечный день, вдруг остановился у одного из домов близ Аничкина моста и стал внимательно всматриваться в большую ледяную сосульку, свесившуюся из водопроводной трубы.

Какой-то солидный прохожий, увидя тоже солидного господина, что-то внимательно рассматривающего, остановился и стал тоже смотреть на сосульку.

Затем к ним подошло еще несколько солидных господ в высоких шляпах и в чинах не ниже статского советника, а отец все стоял и смотрел с тем же напряженным вниманием.

За статскими советниками потянулись коллежские и надворные, за ними мелкая чиновничья сошка и просто обыватели.

Образовалась большая толпа, молчаливая и серьезная, как мой отец, подошли и городовые и, подпав массовому гипнозу, тоже молча глядели в сторону сосульки.

Когда толпа выросла до таких размеров, что остановилось дви-

жение на Невском, отец ловким ударом трости сбил сосульку и с невозмутимым видом медленно пошел «своей дорогой».

Массовый гипноз исчез, толпа сначала ахнула, а потом загалдела.

Мне родственно насмешливо-презрительное отношение к стадному любопытству праздной толпы.

Мать моя, женщина не глупая и не злая, вышла замуж без любви и даже без влюбленности за человека с характером властным и всецело подчинилась ему. Детей у нее было шестеро, из которых один мальчик умер на первом году жизни, а остальные пять дожили до старости.

Обо мне, оставшемся на третьем году полусиротой, мать думала больше, чем о старших, выросших под надзором отца и бабушки. Кажется, и любила она меня больше, чем старших детей, из которых брата под конец жизни побаивалась, как побаивалась и отца.

Любовь свою ко мне она проявляла очень боязливо, так как вскоре после смерти отца попала под власть своей приживалки Лупандиной, которая называла ее теткой, но распоряжалась ею, как рабой, и не разрешала ей быть заботливой и нежной матерью.

Курносая, прыщеватая, стриженая, с папироской в зубах, Лупандина напоминала разгульного парня. Она поглощала огромное количество пива, бутылки которого покорно носила ей «тетка». К ночи она ежедневно была пьяна, и ее часто рвало . . .

Лупандину никто не любил, не любил и я. Особенно тяжелое чувство к Лупандиной появилось у меня после первой «трагедии любви», пережитой мною в возрасте лет семи.

У Лупандиной была собачка Мальчик, черный гладкошерстый откормленный кобелек с глуповатой острой мордой, которой уши (одно стоячее, другое висячее) придавали какое-то подхалимское выражение. Он постоянно юлил и «служил» около Лупандиной, выпрашивая кусочки сахару.

Моя неприязнь к Лупандиной переносилась и на Мальчика. Зато я сильно полюбил собачку Джойку, которую по моей настоятельной просьбе мамаша купила у каких-то двух мальчишек. У Джойки была курчавая шелковистая шерсть, черная с коричневыми подпалинами. Мордочка умная с большими черными печальными глазами.

При мальчишках она выделывала различные собачьи фокусы: танцовала на задних лапках, перепрыгивала через стул, но, как только они ушли, она забилась в угол и дрожала всем телом. Лупандина подошла к ней и хотела ее погладить, но Джойка глухо зарычала.

— У, противная собачонка, — воскликнула Лупандина, — даром деньги бросили за такую дрянь.

Когда все ушли из комнаты, я подошел к Джойке и поставил перед ней блюдце с молоком. Она продолжала дрожать и жаться в угол. Я начал говорить ей ласковые слова и, наконец, решился погладить. Она слегка отодвинулась, но не зарычала. Меня позвали «кушать чай».

Когда я вернулся, то увидел, что молоко выпито, и Джойка стоит

и приветливо помахивает пушистым хвостом. Мою ласку она на этот раз приняла с благодарностью, раза два лизнув мою руку.

На другое утро она смотрела на меня своими прекрасными, но печальными, полными внутренних слез, глазами восторженно, влюбленно. От этого взгляда мне стало как-то неловко, даже жутко.

С тех пор Джойка не отставала от меня, постоянно прижимаясь к моим ногам, и все с тем же влюбленным взглядом. Лупандина ненавидела Джойку и требовала, чтобы ее куда-нибудь подальше отправили, так как она держит себя с Володей, т. е. со мной, прямо неприлично.

Джойку отдали повару Кирилле, и он отвез ее в свою деревню Медведево, в нескольких верстах от нашей усадьбы Петровское. Но Джойка с оборванной веревкой на шее прибежала обратно и жалобно выла под моим окном.

Кто-то бросил Джойку в высохший колодец. Я услышал ее стон и сам стал плакать. Няня Марьюшка, жалея и меня и Джойку и ненавидя Лупандину, с опасностью для жизни спустилась в колодец и достала Джойку.

Она снова была у моих ног, любя меня сильнее прежнего. Но я и жалел ее, и стеснялся этой собачьей привязанности. Я не защищал ее, я не боролся против преследований Лупандиной. Мог бы протестовать слезами, просьбами и до сих пор чувствую вину за ее гибель. Тот же Кирилла как-то прикончил ее: не то застрелил, не то удушил.

Мой брат Константин Александрович был на семнадцать лет старше меня. В детстве я смотрел на него, как на какое-то высшее существо. Постоянно я слышал о его выдающихся способностях и научных успехах.

Двадцати трех лет он становится доцентом высшей математики в Институте путей сообщения. Затем после удачной защиты магистерской и докторской диссертаций избирается ординарным профессором Петербургского университета, продолжая читать лекции в Институте путей сообщения.

Читал он лекции и на Высших женских курсах и в целом ряде специальных высших учебных заведений.

Среди товарищей профессоров и среди студентов брат пользовался славой превосходного преподавателя, умеющего заражать слушателей любовью к такой, казалось бы, сухой науке, как высшая математика.

За пятьдесят лет своей научной и преподавательской работы он воспитал несколько поколений математиков.

В течение своей жизни я много встречал преподавателей, инженеров и вообще математически образованных людей, которые и мне выказывали особое внимание, когда узнавали, что я брат профессора К. А. Поссе.

Вряд ли и в настоящее время есть серьезные математики, которые

не учились бы по курсу «Дифференциального и интегрального исчисления» моего брата.

Брат был не только хороший математик, увлекающий и увлекающийся, но и хороший музыкант, тоже увлекающий и увлекающийся. Играл он на рояли вдохновенно, страстно. Было удивительно, как мог этот маленький и с виду слабенький человек проявлять такую мощь при исполнении симфоний Бетховена, своего любимого композитора.

Мать рассказывала мне, что с первых же дней зачатия, давшего жизнь моему брату, у ней появилось страстное желание играть на рояли, чего раньше совсем не было. В течение всей беременности она с утра до ночи играла, как безумная. После родов эта «причуда» сразу исчезла, и мать совершенно не влекло к роялю.

У меня не было музыкальных способностей, но слушая, как под могучими руками брата рояль пел, смеялся, рыдал, стонал, торжественно гремел, рассказывая что-то и жуткое, и сладкое об иной, неведомой жизни, мне страстно хотелось быть музыкантом. Но я хотел быть не только исполнителем, но и композитором. Творить этот прекрасный мир созвучий, мир чувств без жалких слов — какая радость!

В молодости брат увлекался и театром, не только как слушатель и зритель, но и как исполнитель. В Петровском и в Петербурге в нашей большой квартире в Саперном переулке брат устраивал домашние спектакли с самым разнообразным репертуаром, от комедий Островского, одного из любимых своих писателей, до трагедий Шекспира. Главные мужские роли играл он сам, а женские — моя старшая сестра Лидочка.

На меня почему-то особое впечатление произвела комедия Островского «Свои люди — сочтемся».

Мне было тогда лет шесть или семь, а между тем в моей памяти легко восстанавливается образ Липочки — Лидочки. Я вижу, как она вальсирует, повторяя: «раз, два, три, раз, два, три . . .», ускользая от разгневанной Аграфены Кондратьевны. Вспоминаю чувство неприязни к подлому Подхалюзину, забывая, что его играет мой брат.

Пьеса ставилась братом в редакции, измененной по требованию цензуры. Цензура не хотела мириться с безнаказанностью Подхалюзина, и по ее требованию на сцене появляется квартальный, который арестовывает Подхалюзина и ведет его в тюрьму. А Подхалюзин, не поддаваясь страху, заявляет:

— Значит, в Сибирь. Ну что же, и в Сибири люди живут.

По правде сказать, я был немного смущен и огорчен, когда на днях, просматривая новое издание сочинений Островского, я этой сцены не нашел. Из редакционных примечаний я только теперь узнал, что квартальный, к удовольствию автора, был убран со сцены в 1881 году.

Из трагедий Шекспира, поставленных братом, я помню «Отелло». У меня сохранилось воспоминание об испуге, когда брат с лицом, вымазанным черной краской, душил Дездемону — Лидочку.

На домашней сцене братом ставились и его собственные импровизации. В одной из этих импровизаций, носившей если не антирелигиозный, то антицерковный характер, представлен был кутеж монахов, плясавших и распевавших совсем не монашеские песни.

В спектаклях живое участие принимал товарищ брата, Александр Матвеевич Васильев. Он обладал недурным тенором, и ему брат как-то поручил исполнять роль Лючии в опере того же названия.

Васильев вместе с Лидочкой научили меня читать и писать. К Васильеву у меня было чувство недоброжелательное: мне казалось, что он обижает Лидочку, что она из-за него страдает. Я смутно понимал, что Лидочка очень любит Васильева, а он к ней относится и без любви, и без уважения.

Как-то Лидочка в комнате Васильева и в его присутствии показывала портрет какой-то очень красивой дамы и взволнованно спрашивала меня:

— Не правда ли, она поразительно красива?

Это была какая-то захудалая грузинская княжна, любовница Васильева.

Из товарищей брата меня больше всего интересовал Николай Николаевич Миклуха-Маклай, составивший себе громкое имя как путешественник. Я его в детстве часто видел, но лицо его помню смутно. Лучше запомнились многочисленные рассказы брата о его причудливых выходках, о его тяготении к опасным путешествиям, жизни среди дикарей и т. п.

В моей голове он ассоциировался с Робинзоном Крузо, и мне казалось, что он и был похож на Крузо, как того рисуют в детских книжках.

Брат любил его, но считал, что он растрачивает свою энергию и свои недюжинные способности в никчемных авантюрах.

Брат посмеивался над надеждами Миклухи включить в Российскую империю Новую Гвинею и другие тихоокеанские острова, населенные папуасами.

Миклухе в его планах не помогла ни его популярность среди папуасов, ни покровительство великого князя Константина Николаевича, выхлопотавшего ему правительственную субсидию для его тихоокеанских путешествий.

На свои папуасские увлечения Миклуха потратил не только субсидию, но и небольшой капитал своей матери. Умер он в 1888 году бедняком, разочарованным в своих надеждах присоединить Новую Гвинею к Российской империи.

Женат он был на австралийской англичанке. Она после его смерти осталась без всяких средств с двумя маленькими детьми. Брату, кажется, удалось выхлопотать ей пенсию. Пытался брат привести в порядок оставшиеся после Миклухи научные работы, но, как он мне говорил, ничего цельного и научно ценного в оставшихся рукописях не удалось найти.

Что не удалось брату, то удалось проф. Д. Н. Анучину, который

подготовил к печати дневник Миклухи-Маклая. Издан он был лишь в 1923 году.

У брата, когда он сделался профессором математики и деятельным членом Литературного фонда, оказывавшего помощь нуждающимся литераторам, собирались молодые и старые ученые, литераторы, музыканты.

Мне вспоминается устроенный братом вечер с участием приехавшего из-за границы гипнотизера Фельдмана. Это было в середине семидесятых годов. Гипнотические сеансы волновали интеллигентную публику почти так же, как сеансы спиритические с верчением столов и разговорами перестукиванием с душами умерших знаменитостей.

Гипноз, как теперь и простым смертным ясно, несомненно физиологическое или, если хотите, патологическое явление. Спиритизм же — шарлатанство, которое, однако, увлекало таких ученых, как зоолог Вагнер, автор «Сказок Кота-Мурлыки», химик Бутлеров и многих других.

Брат спиритизм высмеивал, а гипнотизм считал после сеанса Фельдмана вредным и опасным, если им пользуются для развлечения публики и для наживы гипнотизеров.

Фельдман, бледный бритый брюнет в синих очках, дал поразившее меня гипнотическое представление, в котором главная роль выпала на долю Корвин-Круковского, принявшего гостиную брата, по приказу Фельдмана, за роскошный тропический лес, перчатки за апельсины и т. д.

На этом вечере присутствовала и сестра Корвин-Круковского Софья Ковалевская, впоследствии профессор математики Стокгольмского университета.

Лицо женоподобного рыхлого Корвин-Круковского я хорошо помню, лицо же его знаменитой сестры ускользнуло из моей памяти, сохранившей лишь ее стройную, высокую фигуру в необычном для того времени гладком, коротком платье. Вспоминается, что и прическа ее была необычна по своей простоте.

Брат с большим уважением относился к Софье Ковалевской, но говорил, что мужчина с такими работами, как у ней, не сделался бы знаменитостью, а считался бы самым заурядным математиком.

Брат еще совсем молодым человеком женился на своей двоюродной сестре Эмилии Ивановне, дочери моего дяди Ивана Федоровича.

Такие браки по тогдашним церковным законам запрещались, и брату, чтоб повенчаться, пришлось дать большую взятку какому-то полковому священнику. Полковые священники пользовались какой-то особенной привилегией в смысле совершения всевозможных противозаконных действий: они могли повенчать и с родной сестрой.

Семейная жизнь, начавшаяся этим браком, была не из счастливых. Сначала тяжелые роды, мертворожденные дети, затем вечный страх за жизнь детей, родившихся живыми, смерть горячо любимой девочки Лизы, смерть способного юноши Вани, на которого брат воз-

лагал большие надежды, смерть взятого на воспитание подкинутого брату мальчика Миши...

Последним тяжелым ударом для брата была смерть горячо любимой им дочери Мили, чудесного нежного существа. Миля умерла во время тяжких родов на глазах брата. Ему было тогда уже под восемьдесят лет. С немым отчаянием склонился он над безжизненным телом любимой дочери.

У меня с братом и его женой, которую я, как и свою племянницу, звал Милей, отношения были хорошие, правдивые. Моя жизнь развивалась совершенно иначе, чем жизнь брата, убеждения у нас были тоже совсем разные, но это не мешало взаимной симпатии.

Брат всегда старался облегчить мою жизнь, когда я попадал в полицейский капкан. Так шло до февральской революции 1917 года.

С моей агитацией за прекращение войны и за углубление революции вплоть до коммунизма брат примириться не мог. Моих речей на митингах, моих лекций он не слышал, но ему о них говорили товарищи-профессора, он внимательно читал мои статьи в «Жизни для всех, которая тотчас после снятия военной цензуры определенно стала на сторону большевиков.

Кажется в мае 1917 года брат написал мне резкое письмо, в котором, так сказать, отрекался от родства со мной и вообще порывал со мной всякие отношения, так как я, по его словам, тащу Россию в пропасть.

Я с грустью принял это письмо к сведению, ничего на него не ответив.

В 1919 году во время одной из моих лекций в зале бывшей городской думы ко мне подошла старуха Миля и, обняв меня, просила, чтобы я пришел к брату.

— Почему ты не пришел к Костеньке (так мы все называли брата)? Разве ты не получил письма, посланного по адресу Луначарского с просьбою передать тебе? В этом письме он не только примирялся с тобою, но и с обычной своей искренностью писал, что в отношении войны и революции был прав ты, а не он.

Письма этого я не получал, но, разумеется, я тотчас же отправился к брату.

Какой он был и милый, и жалкий! И старец, и младенец. Из-за очков смотрели глаза, когда-то такие веселые, а теперь безнадежно скорбные.

Он плакал у меня на груди; я, сдерживая рыдания, гладил его по лысеющей голове, по щекам, покрытым седеющими волосами.

Умер он в Доме ученых в августе 1926 года. Смерть была легкая.

Пришло извещение, что ему назначена персональная пенсия. Это сообщение его радостно взволновало, и этого волнения не выдержало слабое старческое сердце. Держа в руках бумагу с извещением о пенсии, он поднялся с кресла и пошел к письменному столу, желая что-то

написать. Опустился на стул. Голова откинулась назад, раздался легкий и последний вздох.

Миля наклонилась над ним. Он был мертв. Она что-то крикнула и упала без чувств. Ведь они прожили вместе, худо ли, хорошо ли, почти шестьдесят лет.

Предвидя близкую смерть, брат просил, чтобы его зарыли в землю без всяких обрядов, которых он, как убежденный атеист, не признавал, без всяких церемоний, так как он их никогда не любил.

Так и было. Без обрядов, без церемоний, без цветов и даже без речей.

Меня в это время не было в Ленинграде. Если бы я был, я, вероятно, сказал бы над открытой могилой брата не речь, а несколько простых правдивых слов:

— Вы хороните человека, которого университет, Электротехнический институт и ряд других высших учебных заведений заслуженно почтили званием почетного члена. Вы хороните почетного члена Академии наук, вы хороните автора научных работ, которые ценятся не только русскими, но и заграничными учеными... Но все это не важно. Таких ученых, как мой брат, было и будет много, но я не знаю никого, кто был бы так правдив, искренен и скромен...

Миля пережила своего мужа только на три месяца.

Моя сестра Лидочка была на пятнадцать лет старше меня. Я уже говорил, что вместе с Васильевым она научила меня грамоте. Вообще, в детстве она уделяла мне довольно много внимания, стараясь до некоторой степени заменить мать, отстраненную Лупандиной.

Я любил слушать, как она рассказывала мне сказки в сумерки, когда из экономии не зажигали свечей.

Сильное неизгладимое впечатление произвела на меня сказка Андерсена о матери, которая, спасая жизнь своего ребенка, отдает неумолимой смерти не только свои прекрасные волосы, но и свои плачущие очи.

Еще более потрясающе подействовала на меня чья-то сказка «Буря». В ней рассказывается, как злая волшебница Буря преследует двух детей — мальчика и девочку. Мне передалось чувство неизбежности гибели, невозможности скрыться от всесильной злобы.

После несчастной любви к Васильеву и тоже неудачного увлечения доктором Второвым, который впоследствии женился на моей сестре Машеньке, Лидочка — ей было уже двадцать семь лет — обрекла себя на печальную участь старой девы.

Но это оказалось преждевременным. Молодой физик Иван Иванович Боргман посватался за мою младшую сестру Катеньку, тогда еще гимназистку. Она дала согласие, и брак должен был состояться тотчас же по окончании Катенькой гимназии. Но произошли какие-то недоразумения, и свадьба расстроилась.

Через несколько месяцев вместо Катеньки Иван Иванович женился на Лидочке. Это был брак без влюбленности, по разумному расчету, и он оказался едва ли не самым счастливым из всех многочисленных браков, которые мне пришлось наблюдать за мою долгую жизнь.

Лидочка была не слишком красивая, но миловидная шатенка с близорукими, но очень наблюдательными глазами. Одной из ее особенностей были необычайно сложные сны; их она обычно рассказывала горничной Ольге, когда та причесывала ее длинные, густые волосы. В детстве я прислушивался к этим рассказам с неменьшим интересом, чем к сказкам.

Эта снотворческая способность в высокой степени присуща и мне. Чем старше я становлюсь, тем больше я вижу снов, и тем сложнее они становятся. Это целые повести и даже романы, в которых наряду со мной принимают участие и те, которых я видел и знал, и совершенно незнакомые, нередко исторические личности прежних времен. Все мы живем, т. е. любим, страдаем, ненавидим, произносим длинные речи, участвуем в революционных боях и т. п.

Эта сонная жизнь несравненно богаче жизни действительной, но она очень утомительна. После наиболее сложных снов я просыпаюсь разбитым. Одно время я пробовал записывать свои сны, но это мне не удавалось. Творческое напряжение почему-то сразу гасило сонные впечатления.

И. И. Боргман, полурусский, полуфинн, среднего роста, худощавый, с лицом, на котором резко выделялись черепные кости, казалось, покрытые одной только кожей, в очках, и в молодости, и в старости походил на иностранного ученого. Нужды он никогда не знал, жизнь его слагалась очень удачно; прирожденный оптимист, он был всегда доволен и своей жизнью, и собою.

В ученом мире он достиг очень почетного положения. Был одно время ректором Петербургского университета. Как выдающийся профессор физики он был приглашен, вернее, назначен, преподавателем физики детей Александра III, сначала Николая и Георгия, а потом Ксении и Михаила.

Почти ежедневные поездки во дворец в течение многих лет, встречи с императором, императрицей, обучение их детей — все это мало льстило самолюбию Ивана Ивановича.

Никому, кроме Лидочки, он не рассказывал о своих дворцовых впечатлениях. Лидочка не любила молчать, и через нее я узнал много характерных черт из жизни Николая Романова.

Жизнью Николая Романова я интересовался. Ведь не только значительность, но и ничтожество лица, обладающего «самодержавной» властью, имеет историческое значение. Будь на месте Николая II человек с такими способностями и с такой могучей волей, какие были у Петра I, русская история конца XIX и начала XX веков была бы несколько иной, чем мы ее теперь знаем.

Совершенно отрицать роль личности в истории для тех, кому из-

вестно общественное творчество Ленина, невозможно. И надо помнить, что в социологии, как и в математике, приходится считаться с величинами не только положительными, но и отрицательными.

Александр III требовал, чтобы его дети относились к своим преподавателям почтительно. Обращаться к детям приказано было по имени и отчеству.

Как-то раз царевич Николай был особенно рассеян и все время смотрел на свои плечи, молчаливо приглашая посмотреть и своего учителя.

— Что с вами, Николай Александрович? — спросил Иван Иванович, — вы сегодня так невнимательны.

— Иван Иванович, — ответил Николай, — вы так интересуетесь вашими токами и лучами, а не замечаете нечто более важное: у меня на эполетах появилась новая звездочка, я сегодня произведен в поручики.

К моменту смерти Александра III Николай имел уже чин полковника, и в этом чине оставался всю жизнь, считая, что никто не имеет права произвести его в генералы.

В день восшествия на престол генерал Рихтер, занимавший какой-то высокий придворный пост, сказал Николаю:

— Ваше величество, вы могли бы теперь одеть мундир полного генерала.

— Прошу вас, генерал, не хлопотать о моей карьере, — резко ответил Николай.

Оставаясь полковником, Николай стал считать себя хозяином земли русской». Так он назвал себя во время всероссийской переписи в анкете на вопрос о профессии или занятии.

Во время какого-то важного совещания со своими министрами Николай напряженно смотрел в окно и, наконец, радостно воскликнул:

— Слава богу, улетела!

И затем, обращаясь с улыбкой к изумленным министрам, добавил:

— Я загадал, если ворона, сидевшая на том дереве, улетит, то Алексею будет лучше, и он поправится.

О политике учителям не разрешено было говорить с царскими детьми. Но на другой день после покушения 1 марта 1887 года на уроке арифметики, когда в комнате не было ни папаши, ни мамаши, Николай обратился к старому известному педагогу Евтушевскому с вопросом:

— Объясните мне откровенно, почему студенты хотели всех нас убить, почему они нас так ненавидят?

Растерявшийся педагог мог только подло ответить:

— В семье не без урода.

Из своих питомцев Иван Иванович считал более способным рано умершего Георгия, а о Николае предпочитал помалкивать даже в разговорах с Лидочкой.

Иван Иванович прожил с Лидочкой в полном мире и согласии почти сорок лет. Умер он, в 1914 году, за три месяца до мировой

войны. Похороны в противоположность похоронам брата были необычайно торжественные. Почетные дежурства студентов у гроба, большая толпа провожающих, тоже преимущественно студентов, множество венков, хвалебные речи у открытой могилы.

Лидочка свою любовную скорбь об умершем муже выразила в трогательном стихотворении, написанном на другой день после его смерти.

Она прожила еще двадцать лет и умерла почти совсем слепой на руках у своей дочери Верочки. Верочка относилась к матери с совершенно исключительной нежностью.

Ей в то время, как я это пишу, пятьдесят пять лет. Она занимает очень ответственную, но и плохо оплачиваемую должность препаратора в Институте экспериментальной медицины в отделе прививок против бешенства.

В постоянных думах об умерших родителях и об единственном сыне, погибшем в десятилетнем возрасте, она находит своеобразный смысл жизни.

В молодости она несколько напоминала Оленьку в рассказе Чехова «Душечка». Она всегда всех любила, и была всегда всеми любима. Такова она и теперь. Из всех моих многочисленных племянников и племянниц я теперь встречаюсь только с ней и встречаюсь, я сказал бы, дружески, если бы не сознавал, что слово дружба мало подходит к тем чувствам, которые Верочка вызывает у людей самых различных характеров и возрастов.

Моя сестра Машенька старше меня на одиннадцать лет. Умная, красивая, напоминавшая мне почему-то Ирину в романе Тургенева «Дым», Машенька семнадцатилетней девушкой вышла замуж за пожилого вдовца, отставного гусарского офицера Бачманова.

Бачманов, прокутивший большую часть своего состояния, хотел поправить дела свои выгодной женитьбой. Наметил красивую семнадцатилетнюю Машеньку с приданым в двадцать пять тысяч рублей.

Ожиревший, облысевший, надушенный и все же нечистоплотный, Бачманов был противен мне, несмотря на то, что постоянно привозил мне коробки с дорогими конфетами.

Противен он был и Машеньке. Она решительно отклонила его предложение. Это не понравилось нашей матери, считавшей Бачманова очень хорошей партией. За Бачманова стояли и три поповны, околачивавшиеся около нашего дома. Им Бачманов, вероятно, обещал денежную благодарность, если они уговорят Машеньку выйти за него замуж.

И Машенька в конце концов согласилась, согласилась «par dépit», из досады, из-за невозможности выйти замуж за того, в кого она была влюблена. Влюблена она была в морского офицера Страннолюбского, талантливого преподавателя математики на Женских педагогических курсах.

В Страннолюбского влюблялись курсистки, и он, женатый человек, имел много любовных историй. Влюбилась в него и Машенька, и эта

влюбленность усилила ее природную склонность к занятиям математикой. Вероятно, она бы ему отдалась, если бы не вмешалась жена Страннолюбского, пришедшая к Машеньке и указавшая, что муж ее ухаживает за всеми хорошенькими курсистками, нисколько их не любя. Сорвав цветок, он его бросает, оставаясь законным супругом законной супруги.

Машенька после этого посещения долго плакала и затем послала сказать Бачманову, что она готова выйти за него замуж.

Свадьба была очень пышная, венчались в так называемом Морском соборе (Николы морского), где дьяконом был брат поповен-приживалок. Я был «мальчиком с образом» и стоял около «молодых» во время венчания.

Ярко освещенная церковь, масса нарядных дам и мужчин в мундирах и фраках. Громовое пение хора «Исаия, ликуй...».

И рыдания, тяжелые рыдания «молодой» в белом атласном платье, с гирляндой флер-д'оранжей в роскошных волосах.

Машенька во время венчания так неудержимо плакала, что шафер все время поддерживал ее, чтобы она не упала.

В качестве «мальчика с образом» я ехал с новобрачными в карете после венца, был и в купе первого класса, в котором они ехали в деревню справлять медовый месяц. Бачманов, как старый кот, ластился к сестре, она с отвращением отстранялась от него.

Машенька прожила с Бачмановым недели две, а затем бежала от него, захватив большую часть своих денег.

Помню, она носила при себе морской кортик, может быть, подарок Страннолюбского, и говорила, что заколет Бачманова, если тот будет ее преследовать.

Машенька очень дружила со своей горничной Лизой, тоже очень красивой девушкой. Лиза одновременно с Машенькой вышла замуж за нашего лакея Павла, которому почему-то очень нравился я. Он ловил меня и целовал, прижимаясь к моим детским щекам своим плохо выбритым, колючим подбородком. Остро неприятное ощущение от этих поцелуев до сих пор оживает в моем сознании, когда я думаю о своем детстве.

У Павла от первого брака была дочь, девочка Люба, моя сверстница. Из ревности к покойной жене Павла Лиза ненавидела Любу и нещадно била ее, часто без всякого повода. Красивое лицо мачехи искажалось яростью, на гладко выстриженную круглую головку Любы сыпались удары кулаком. Она пригибалась под этими ударами с перекошенным от ужаса лицом, но не смела ни плакать, ни кричать.

— У, гнида, у, гадина, когда ты издохнешь! — шипела Лиза, такая ласковая со мной и с другими детьми.

Павел ревновал Лизу ко всем молодым мужчинам. Ревность вырывалась дикими выходками. Бежит Лиза с распущенными волосами, в изодранном платье, а за нею гонится он, крупный бритый мужчина, гонится, скверно ругаясь, с поленом в руках.

Убежав от Бачманова, Машенька начала хлопотать о разводе. До-

биться развода в то время было очень трудно, особенно, если одна из сторон противилась этому. Бачманов противился, прибегая ко всякого рода кляузам и доносам. Он, между прочим, донес, что мой брат незаконно повенчан на своей двоюродной сестре, и в консистории подымался вопрос о признании брака Костеньки недействительным.

В конце концов Бачманов, попавшийся в подделке векселей, был посажен в тюрьму, где и умер.

Машеньке к этому времени удалось уже развестись.

В борьбе за свободу она проявила много энергии. Ей в этой борьбе отчасти помогли те же поповны, которые усиленно уговаривали ее выйти замуж за Бачманова. Две из них за небольшое вознаграждение согласились выступить лжесвидетельницами в бракоразводном процессе.

В дореволюционное время лицу православного вероисповедания, все равно мужчине или женщине, можно было развестись, если доказана была физиологическая неспособность к брачному сожительству или установлено было свидетельскими показаниями «прелюбодеяние».

Бракоразводные дела рассматривались в духовных консисториях, где чиновники и попы требовали не только взяток, но и самых подробных описаний факта прелюбодеяния.

С этим грязным делом Машеньке пришлось возиться несколько лет. Ею за это время увлекались многие мужчины. Она выбрала одного из учеников брата, учителя математики Константина Матвеевича Гаркему.

Это был высокий костлявый человек, мало общительный, не то мрачно, не то пугливо смотревший из-под стальных очков, вдавленных в переносицу большого носа.

Вертясь среди профессорских жен и сестер, я слышал, как они уговаривали Машеньку «завести» этого мрачного субъекта, как заводят часы. Я видел, как Машенька решительно встала и, подойдя к Гаркеме, завела с ним математический разговор.

«Завод» удался. Гаркема стал постоянно бывать у нас в качестве неофициального жениха Машеньки.

На свободное сожительство Машенька не соглашалась, и приходилось ожидать формального развода. Гаркема, видимо, не выдержал двухлетнего воздержания и сделал роковой шаг, в результате которого заболел тяжелой болезнью.

Помню тревожную ночь. Гаркема, с которым я спал в одной комнате, всю ночь не ложился и ходил большими шагами из угла в угол, не давая мне заснуть. Рано утром он куда-то исчез.

Скоро выяснилось, что Гаркема, доехав на поезде до Любани, пошел по полотну железной дороги и положил свою голову на рельсы. Промчавшимся поездом ее отрезало.

Машенька, узнав об этом, долго истерично рыдала.

Это было первое самоубийство, с которым я столкнулся в своей жизни. Увы, оно не было последним. Мне пришлось впоследствии пе-

режить самоубийства более страшные людей гораздо более близких мне, чем был Гаркема.

Года через два после самоубийства Гаркемы Машенька, добившись формального развода, вышла замуж за железнодорожного врача Георгия Семеновича Второва, по происхождению уральского казака.

Венчались опять-таки в Морском соборе, но на этот раз Машенька уже не рыдала.

Второв, смуглый брюнет с черной окладистой бородой, говоривший всегда медленно, с расстановкой и потому внушительно, часто усмехавшийся, но никогда не смеявшийся, Машеньке несомненно нравился. Она прожила с ним неразлучно около сорока лет, претерпев немало горя и мук.

Через год после свадьбы у ней родилась девочка, названная Марусей. Второв не позволил Машеньке самой кормить Марусю, и была нанята кормилица.

Девочка хорошо развивалась и обещала быть красавицей. Кормилица после отнятия Маруси от груди уехала отдохнуть в деревню и через месяц вернулась в качестве няни. Она привезла с собой ту страшную болезнь, которая заставила покончить с собой Гаркему.

Маруся заразилась от своей бывшей кормилицы. Второву первому пришлось установить эту страшную беду.

Прогоняя кормилицу, он осыпал ее проклятиями и грозил убить, а Машенька беспомощно рыдала.

Мне тоже пришлось пережить эту драму, так как я в то время гостил у сестры, жившей с мужем в Бологом. Было тяжело постоянно слышать пугливые предостережения Машеньки, чтоб я не брал на руки Марусю и не целовала ее.

Болезнь, конечно, не ослабила, а скорее повысила привязанность матери к своей дочурке. Между тем на ослабевший организм Маруси набросился свирепый крупп и в несколько дней погасил ее жизнь. Когда маленький розовый гробик опустили в могилу, Машенька с истеричными рыданиями упала в могилу, и ее с трудом удалось поднять и увести.

Больше детей у Машеньки не было.

У Георгия Семеновича под старость развилась болезненная скупость, а в связи с ней дикая озлобленность против Машеньки за то, что она иногда помогала нуждающимся племянницам. Раз он даже стрелял в нее, но промахнулся. Он очень боялся, как бы после его смерти нажитый им капитал не достался Машеньке. Он написал завещание в пользу какого-то уральского кулака. Но ни Машеньке, ни кулаку воспользоваться второвским капиталом не пришлось. Октябрьская революция «погубила» все старые процентные бумаги, умелой «игрой» которыми Георгий Семенович нажил капитал, конфисковала и большой ящик, наполненный золотыми монетами.

Георгий Семенович не выдержал этого потрясения и умер в ноябре 1918 года.

Должен сознаться, что я обрадовался, узнав о его смерти. Обра-

И в свое время, раньше" я бы на него отказал: оно не соответст[вует] с действительностью — у меня мать не была такой"

довался и тому, что Машенька тоже потеряла свои акции и облигации. Я знал, что эта потеря не убьет ее.

Главной жизненной прицепкой у Машеньки в течение последних шестидесяти лет было преподавание математики. Это дело она страстно любила и выполняла превосходно.

После смерти Маруси Второвы переехали в Петербург, где Машенька сделалась преподавательницей математики в лучших петербургских гимназиях: Оболенской, Стоюниной, Таганцевой.

Брат умел увлекать студентов лекциями по дифференциальному и интегральному исчислению, а Машенька умела увлекать уроками алгебры, геометрии и тригонометрии.

В конце восьмого десятка лет она по шесть, а иногда и по восемь часов в день давала частные уроки городской бедноте и рабочим, большей частью бесплатно. Бывала благодарна, когда ей приносили коробку дешевых папирос или восьмушку махорки.

Табак был ее слабостью, эту слабость она не могла преодолеть. Не мог преодолеть эту слабость и мой брат. У них вообще было много общего. Брат прощал сестре все ее недостатки, которых, конечно, было не мало, за ее необычайную трудоспособность.

В последний год перед смертью он не раз говорил, что Машеньку следовало бы провозгласить героем труда.

У Машеньки, как и у брата, до глубокой старости было то, что Некрасов называл «привычкой к труду благородною».

род. в 1854 Умерла Машенька 13 января 1933 года, не дожив до восьмидесяти лет одного месяца. Последние полгода она жестоко страдала от гангрены ноги. В больнице, куда ее перевели для операции, у ней отнялась левая рука. Врачи отказались ампутировать гангренозную ногу, опасаясь смерти во время операции. Впрыскивали морфий. Заснула и не проснулась.

Страдания не обезобразили ее. Большой великолепно вылепленный череп, покрытый седыми гладко выстриженными волосами.

Правильные крупные черты благородного лица, казалось, требовали увековечения посмертным гипсовым снимком. Но ни маски, ни фотографии.

Никаких обрядов, никаких церемоний. Некрашенный гроб опущен в бедняцкую могилу на бедняцком кладбище.

За гробом ее шло не более десяти человек. Но благодарная память о ней будет жить во многих сотнях, вернее тысячах, ее учениц и учеников.

Жизнь ее была не только скорбной и трудной, но и трудовой, а потому плодотворной.

(т.е. род. в 1857 г.?)

Моя младшая сестра Катенька была старше меня на семь лет. Я ее хорошо помню высокой, стройной, с красивыми чертами лица, совершенно не умевшей кокетничать, но умевшей иногда довольно зло подшутить над важными особами, бывавшими в нашем доме.

Гувернанткой к ней была приглашена веселая француженка Клара,

О так ли это было — спорно о байке, я, увы, не поговорил, но твердо, ясно помню, что обратил его внимание на это высказывание Шумахера (я приобрел этот том Шумахерских сборников у П. Е. Ковалевского). Отец сказал мне (примерно): "Как я жалею, что не знал этого высказывания Шумахера"

Я, зная, что Ник. Берн. был скорее хорош собою, "на вид", твердо запомнил это высказывание.

почти совершенно не знавшая русского языка. За Кларой приударял пожилой сановник, иногда приезжавший к нам в гости. Он любил говорить высокопарным слогом, часто начиная свои речи со слов:

— Я, как истинный сын отечества . . .

Катенька подучила Клару сказать сановнику, когда услышит слова «сын отечества»:

— Какой вы сын отечества, вы просто сукин сын.

Долго учила Катенька свою гувернантку этим мудреным и непонятным для француженки словам, но все же научила. И вероятно „Клара" не знала смысла этой фразы.

Произошел невероятный скандал, когда Клара с милой улыбкой прервала патриотическую речь сановника и пролепетала:

— Какой ви син отецества, ви просто сюкин син.

После разрыва с И. И. Боргманом Катенька вышла замуж по любви серьезной и искренней за молодого учителя математики Василия Бернгардовича Струве.

Василий Бернгардович был старшим из шести братьев Струве, внуков знаменитого астронома Василия Яковлевича Струве, пользовавшегося мировой известностью. В. Я. род. в 1854 в Иркутске, в. время службы отца в Сибири.

Почетное научное имя в астрономии составил себе и один из сыновей Василия Яковлевича — Отто, директор Пулковской обсерватории. См. его воспоминания.

Другой сын Василия Яковлевича — Бернгард, отец мужа Катеньки, пошел не по астрономической, а по административной линии. Был сначала астраханским, а затем пермским губернатором. Из губернаторов ему пришлось уйти после сенаторской ревизии, обнаружившей массу злоупотреблений. В этих злоупотреблениях был виноват не столько Бернгард Васильевич, сколько его жена, урожденная баронесса Розен, типичная помпадурша. Она управляла и мужем, и губернией, брала взятки не хуже гоголевского городничего, разъезжала по городу с нагайкой в руках в сопровождении полицмейстера и т. п. Мой дед кончил в 1847 г. И. Александр. Лицей, 15-ым выпуска.

В ранней молодости она, по словам одного из ее тогдашних поклонников, была «нежным, воздушным существом» и даже идеалисткой. К старости, по словам того же ее поклонника, она превратилась «в печку и стерву». Не высказывание ли это Шумахера, поэта. Напечатано

Я ее помню, когда она была необычайно толстой барыней, льстивой и хитрой. Нос в одном из шуточных сборников после 1900 г.

Из шести сыновей Бернгарда Васильевича трое: Василий, Михаил и Петр были рыжеватые блондины. Трое других Федор, Николай и Александр были выраженные брюнеты. И блондины, и брюнеты — малые способные. Но способности у них были характера очень различного.

Красавец Николай,x) начавший делать карьеру в качестве генерального консула в Канаде, запутался в каких-то денежных делах и сошел на-нет. Нет: Кажется застрелился из за художеств дела. В 1912 г.

Федор, скорее уродливый, чем красивый, с культяпыми ногами, попал в тюрьму за подделку векселей. Сентябрь 1895 г.)

x) Его старшая дочь, Ирина (род. в ...), моя двоюродная сестра, бывшая замужем за Леоп. Харлампиевичем Ревеллиоти (мы с ней прожили в Париже „бок о бок", с 1919-1920 г. по ... время — апрель 1974 г.) Как-то, увидев меня у нас в квартире (примерно ок. 1950 ...) сказала примерно „Как вы похожи на моего отца"...

x) Не знаю: нелепо, но это так, с отцом о «деле Саши» только не поговорил, а отец был от Струве — от себя в разговорах не [illegible], но знаю, что «деле Саши» был [illegible]

Александр многие годы проявлял прямо виртуозность в различных видах жульничества. У него было, казалось, все для того, чтобы выковать себе счастливую жизнь и завоевать общественное уважение: здоровье, красивая наружность, хорошая фамилия, университетское образование, прекрасное знание языков, удачная женитьба на девушке красивой, умной, образованной, одной из лучших преподавательниц Петербурга. И сам он был преподавателем, переводчиком, сотрудником «Образования».

Но все это меркнет перед целым рядом обманов, мошенничеств, крупных и мелких краж. Какая-то невероятная психологическая нелепость! И ко всему этому акробатская способность выкручиваться и, нырнув в жульнический омут, выплывать на поверхность с видом порядочного человека.

В нашей семье часто с тревогой и скорбью говорили о «художествах» Александра Бернгардовича.

Из «художеств» высшей марки мне памятна история с золотыми медалями, которые он, как преподаватель Первого коммерческого училища, собрал для выдуманной им училищной выставки у золотомедальников нескольких выпусков. Медали были проданы, а деньги истрачены Александром Бернгардовичем на кутежи.

Из «художеств» низшей марки родных особенно огорчила кража золотых часов у проститутки. Проститутка узнала клиента-вора, встретив его на Невском, и задержала при содействии городового. При задержании он назвался Петром Бернгардовичем.

Братья усиленно хлопотали, чтобы замять это дело. Совершенно увильнуть от тюрьмы Александру Бернгардовичу не удавалось, но «садился» он на короткое время и выходил как ни в чем не бывало.

Летом 1917 года он разъезжал по Уралу, читал экономические лекции, пропагандировал заем свободы, выпускавшийся Временным правительством, собирал вступные взносы и принимал подписку на какую-то «Библиотечку свободы», якобы издававшуюся по распоряжению не то Временного правительства, не то Исполнительного комитета советов Р. С. и К. Д.

Не знаю, поступали ли деньги, получаемые им по займу свободы, в государственное казначейство, но деньги несуществовавшей «Библиотеки свободы» несомненно являлись премией за изобретательность «известного экономиста».

Летом 1927 года я в «Красной Татарии» читал сообщение о лекции приехавшего из Москвы тов. Струве на тему: «Учит ли религия добру?». Если это — Александр Бернгардович, то религия добру его во всяком случае не научила, а может ли он научить добру — об этом судить не решаюсь. x)

Михаил Бернгардович ни в каких «художествах» замечен не был и, прослужив много лет в переселенческом управлении, умер в чине действительного статского советника.

Самый младший из братьев Струве Петр Бернгардович несомненно принадлежит к числу личностей исторических и парадоксальных. x)

x) Как-то раз сказал, что это был брат, сыгравший в его жизни большую роль: он был старше отца на 16 лет (род. в 1854

x) Почему — парадоксальных?
Графом Константином (сл. Саввой, р. в 1901, + ок. 1947) с кот. встречался в Сибири у Колчака! См. стр. 33

Мой жизненный путь не раз сближался и скрещивался с жизненным путем Петра Бернгардовича. Его характеристику я дам в других главах моих воспоминаний.

Василий Бернгардович тотчас после женитьбы на Катеньке уехал в Одессу преподавателем гимназии, откуда вскоре перебрался в Петербург, где сделался лектором немецкого языка в Лесном институте. Здесь он и моя сестра жили в дружеском общении с семьями многих ученых.

Через несколько лет Василий Бернгардович был назначен инспектором Николаевского сиротского института. В огромной инспекторской квартире часто собиралась избранная петербургская интеллигенция, горячо обсуждавшая вопросы научные, литературные и особенно педагогические.

Быстро поднимаясь вверх по служебной лестнице, Василий Бернгардович сделался директором московского Межевого института.

Умер он незадолго до начала мировой войны в Ленинграде, где во время командировки заболел крупозным воспалением легких.

Жизнь Катеньки, в молодости счастливая, ясная, под старость затуманилась и окончилась трагически. Первый удар был нанесен смертью ее второй дочери Кати, умершей от брюшного тифа, не достигнув шестнадцати лет.

Я помню, как моя сестра поникла, повторяя шопотом: «Этого не может быть, этого не должно быть», когда я, следивший за угасающим пульсом милой девочки, опустил ее похолодевшую руку и тихо промолвил: x) Разве Саша умер 17-ти лет? Умер в 1912 г.?

— Скончалась... В год смерти Магдал. Мих. Латкиной, тетки матери моей.

Вслед за Катей ушел из жизни и единственный сын Катеньки семнадцатилетний Саша,x) юноша исключительно способный, исключительно красивый, лицом несколько напоминавший Байрона.

После Октябрьской революции для Катеньки, больной старухи, начались годы тяжелых лишений. В 1919 году я случайно встретил Катеньку в Киеве, где она жила у своей младшей дочери Наташи,x) ожидавшей рождения ребенка. x) Наташа Калмыкова ум. в Москве около 1970 г.

Не щадя слабых остатков старческих сил, она проводила бессонные ночи у постели больной дочери, а затем у колыбельки своего последнего внука.x) Ей приходилось быть и нянькой, и кухаркой, приходилось стоять в очереди, чтобы достать для ребенка молоко. Все это она делала просто, без жалоб, думая исключительно о детях и внуках.

x) Это Вася Похоронов, сын Наташи от 1-го брака.

В 1920 году она с дочерью и зятем уехала в Крым, где в то время министром иностранных дел был Петр Бернгардович Струве.

Мне неизвестно, знал ли Петр Бернгардович, что в Крыму заканчивает свою жизнь вдова его любимого+) брата,x) но я знаю, что моя любимая сестра, сознав, что она не в силах больше помогать ни детям, ни внукам, решила порвать тонкую нить своей старческой жизни. Ночью, обманув бдительность сиделки, она убежала из больницы и бросилась в море. +) Да. Отец оч. любил „дядю Васю", помню это в разг[illegible].

На другое утро труп ее нашли у самого берега. Вероятно, она

x) Моя сестра... : Увы, эта книга Поссе попала в мои руки (удалось прочесть лишь в 1974 г., в апреле, но имел ее задолго до этого) [illegible] давно, но с отцом о ней я не говорил. Но твердо помню, что, когда

умерла от разрыва сердца в тот самый момент как бросилась в море. Это было в Судаке летом 1920 года.

Узнав об этой трагической смерти, я вспомнил то радостное и горькое, что мы с сестрой переживали вместе, и было мне тяжело и скорбно . . .

См. стр. 31: брат рассказывал, что встретил в Ново-Николаевске ок. 1918-1920 г. и что он был заботлив и внимателен к нему, с ним, всячески поддерживал его, а „Котя" = о. Савва только что перенес сыпной тиф, прослужив у Колчака. Его вывез из Сибири следующий за ним брат, Лев (р. в [illegible] 1902, ум. в [illegible] в 1929)

II. ЗАРОЖДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ

Болезнь и выздоровление. — Из города в деревню. — Учитель-нигилист. — Радость познания. — Пушкин и Некрасов. — Нелегальные брошюры. — Атеизм. — «Что делать?» — Детская клятва об уплате долга народу. — У революционеров. — Прорыв в дружеских отношениях. — Перед Петропавловской крепостью. — Последняя встреча с другом-учителем. — В гимназии Бычкова. — Развратный директор. — Во враждебном окружении. — Среди воришек. — Опереточный учитель. — В училище Гавловского. — Учитель славянофил. — Русско-турецкая война. — Патриотический гипноз и освобождение от него. — Схватки «Народной Воли» с самодержавием. — Процесс Веры Засулич. — Покушение Мирского. — Александр II. — Покушение Соловьева. — Генерал Гурко и профессор Менделеев. — Лорис-Меликов. — Казнь Младецкого. — 1 марта 1881 года.

В детстве я часто болел, болел опасно. От детских болезней, особенно от тяжелого крупозного воспаления легких, когда я был на волосок от смерти, осталось воспоминание скорее радостное, чем печальное. Во время болезни меня ласкали, жалели, одним словом — любили. Кроме того, наиболее тяжелые моменты болезни переживал я в бессознательном состоянии, и тем ярче в сознании выступали радостные моменты выздоровления. Свежий воздух, зелень сада, залитого солнцем, зигзаги ласточек и тихая радость на душе — вот одно из воспоминаний выздоровления, когда меня в летний день в первый раз вынесли на балкон.

Зиму мы проводили в Петербурге, а лето в Петровском. Переезды из города в деревню были для меня большим событием. С поезда сходили рано утром на небольшой станции Угловке. В вагон еще на ходу врывался повар, он же управляющий, Кирилла, брал меня на руки и совал мне желтое пасхальное яйцо.

От Угловки до Петровского было всего восемь верст, но мне этот путь казался длинным и даже опасным. Ехать приходилось по весенней, размытой дождями дороге, на розвальнях, которые постоянно бухались в глубокие лужи, обдавая нас холодными брызгами. В двух верстах перед Петровским мы останавливались у небольшой речки Талки, где нас ожидала семья кузнеца Александра. Один за другим подходили христосоваться: сам Александр, высокий, худой мужик, с красивым энергичным лицом, жена его, маленькая, миловидная женщина, дед-столяр с шапкою седых, уже пожелтевших золос, перевязанных тонким ремешком, и шесть молодцов-сыновей в красных кумачевых рубашках. Все шесть были крестниками моей матери.

В Петровском я тотчас по приезде обегал все любимые уголки и

обменивался зимними впечатлениями с маленькой поповной Верочкой, тоже мамашиной крестницей.

Петровское моя мать продала когда мне было девять лет. Последнее лето в Петровском я провел со своим первым и самым лучшим другом Михаилом Егоровичем Державиным. Хорошо помню нашу первую встречу. Это было еще в Петербурге. Я вернулся от обедни в Греческой церкви, куда меня водила моя няня. Торжественность архиерейской службы произвела на меня сильное впечатление, и я побежал в гостиную, чтобы рассказать, как вели под руки архиерея... и остановился сконфуженный. В гостиной сидел какой-то незнакомый господин и о чем-то разговаривал с мамашей. Господин протянул мне свою большую костлявую руку, покрытую веснушками и рыжеватыми волосами. Руки его неловко высовывались из коротких рукавов черного сюртука. Лицо некрасивое, скуластое, в веснушках, жиденькая бородка, короткий, как бы срезанный нос и большой лоб с закинутыми назад русыми волосами.

Вспоминая это лицо, я вижу теперь, что Державин был очень похож на Белинского. Он улыбнулся мне своими добрыми голубыми глазами, а я начал, краснея и путаясь, рассказывать обо всем, что видел в церкви. Михаил Егорович внимательно слушал и продолжал ласково улыбаться.

Мне было грустно и жутко от Марьюшки переходить к Михаилу Егоровичу, но скоро я к нему привязался гораздо сильнее, глубже и разумнее, чем к Марьюшке.

Очень быстро он вызвал у меня радость познания. Я начал проникать в жизнь природы. Мы гуляли по лесам и полям, беседуя о деревьях, цветах, животных.

Михаил Егорович только что тогда познакомился с еще совсем молодой теорией Дарвина и передавал ее мне с воодушевлением и вдохновением. Врезалась в память одна наша дружеская беседа об эволюции мира. По окончании ее мы с волнением пожимали друг другу руки. Еще и теперь как будто ощущаю, как моя крохотная ручонка скрывалась в его огромной костлявой руке. Я весь горел от волнения.

Кроме естествознания, Михаил Егорович знакомил меня с историей. Мы читали Маколея и Костомарова. Занимались и русской литературой, но к Пушкину Михаил Егорович относился отрицательно и утверждал, что какой-то теперь совсем забытый поэт Мартов выше автора «Полтавы» и «Медного всадника».

Некрасову Михаил Егорович не мог простить его стихотворений в честь Муравьева вешателя и «спасителя царя» Комиссарова. Не нравилась ему и религиозная настроенность Некрасова, проявившаяся в таких стихотворениях, как «Тишина» и «Влас». Михаила Егоровича в стихотворениях Некрасова возмущало многое, что восхищало Достоевского. Барская жизнь Некрасова казалась Михаилу Егоровичу недостойной певца крестьянской нужды. С одобрением отзывался он о карикатуре, на которой Некрасов был изображен в роскошном кабинете с сигарою во рту. Под рисунком стояли слова:

«Кому на Руси жить хорошо».

Некоторыми произведениями Гоголя, в особенности «Ревизором» и первой частью «Мертвых душ» Михаил Егорович восхищался. Он их читал мне вслух. Слушал я их со вниманием из уважения к любимому учителю, но они в то время мало говорили моему уму и сердцу. Мало говорили и революционные брошюры, вроде «Сказки о четырех братьях» и «Хитрой механики».

Давая мне прочесть нелегальную повесть «Работница», он отметил несколько страниц, которые просил меня не читать. Во мне боролось желание исполнить просьбу друга-учителя с любопытством, вызванным запрещением. Запрещенные места я не читал, но как-то невольно проглядывал, и помню, что там говорилось о насилии, совершенном барином над молодой крестьянкой.

Почему Михаил Егорович запретил мне читать это место, я тогда не мог понять. Половой жизнью я в то время еще совершенно не интересовался. Михаил Егорович, видимо, желал меня постепенно подготовить к простому и в то же время научному пониманию этой жизни. На уроках естествознания он рассказывал о значении цветочных тычинок и пестиков, о любовной жизни насекомых и птиц, но к рассказу о половой жизни людей, видимо, не решился перейти.

Из романов он больше всего ценил «Что делать» Чернышевского, но мне его не читал. Лишь как-то раз рассказал о Рахметове, который, чтобы приучить себя к боли и приобщиться к народным страданиям спал на острых гвоздях, ранивших его тело. На меня этот рассказ произвел очень большое впечатление.

Из критиков Михаил Егорович ценил Добролюбова и Писарева, Белинский был ему дорог, кажется, только за его знаменитое революционное письмо к Гоголю. Это письмо мы вместе несколько раз читали, и оно на меня производило большое впечатление.

Своих атеистических воззрений Михаил Егорович от меня не скрывал, и вначале это меня пугало. По вечерам я молился богу, чтобы он простил Михаилу Егоровичу его неверие, так как он все же очень хороший человек и очень любит Христа. Христа Михаил Егорович ценил, действительно, очень высоко, так как находился под влиянием модной тогда книги Ренана, которую с трудом читал по-французски.

В конце концов, и я перестал верить, но Евангелие читать любил, нагорную проповедь знал наизусть и очень интересовался историей религиозных учений.

Как революционный народник, Михаил Егорович много рассказывал мне о страданиях народа, об издевательствах помещиков над крепостными крестьянами, о тяжелом труде фабричных рабочих и т. д.

Запомнился рассказ его о помещике, заставлявшем крестьянку кормить грудью щенят. Муж этой крестьянки не стерпел обиды и размозжил головы щенятам, за что был засечен розгами.

Я заражался его настроением, и помню, как-то во время прогулки на лодке по Валдайскому озеру, около которого мы жили после продажи Петровского, я дал Михаилу Егоровичу детскую клятву, что

отплачу свой долг народу и отдам все свои силы на его освобождение.

Потихоньку я продавал подаренные мне книги в роскошных переплетах букинистам, а деньги отдавал Михаилу Егоровичу на дело освобождения народа.

Как-то раз зимою он взял меня на собрание своих друзей революционеров. Помню мужчин с длинными волосами и женщин коротко остриженных. Все курили, бросали папироски в распиленный череп. У меня кружилась голова от дыма, и я робко прижимался к Михаилу Егоровичу.

Михаил Егорович занимался со мною около двух лет. Мои родные видели, что мое умственное развитие идет необычайно быстро, и это их радовало, но они испугались, когда заметили мою попытку распропагандировать нашу прислугу.

К пропаганде Михаила Егоровича внимательно прислушивалась одна только горничная Лиза, что вызывало бешенство ее мужа. Павел написал Лизе ругательное письмо, адресовав его «Елизавете Алексеевне Державиной». В «девичьей» над этой выходкой Павла очень смеялись, а меня она почему-то смутила и обидела.

В наших дружеских отношениях с Михаилом Егоровичем был только один прорыв. Как-то раз мы ходили с ним за грибами. Грибов не нашли, от скуки и досады я расшалился и стал бросать корзинкой в Михаила Егоровича. Он несколько раз останавливал меня и, наконец, рассердившись, сказал:

— Если ты еще раз бросишь, я выдеру тебя за уши.

Эта неожиданная угроза лишь подстрекнула меня. Корзинка вновь полетела в Михаила Егоровича, он схватил меня и чрезвычайно больно выдрал за уши. Я присмирел, но обида в душе осталась навсегда.

Из сестер к революционной агитации моего учителя внимательно прислушивалась сестра Лидочка. Она встречалась с ним и после того, как в 1874 году ему было «отказано», а меня отдали в гимназию Бычкова.

Только один раз он зашел в гимназию во время большой перемены, чтобы повидать меня. Я стал ему рассказывать о своих успехах, о получаемых мною пятерках и вдруг остановился, уловив печальный и как бы укоризненный взгляд друга-учителя.

— Неужели, Володя, тебя интересуют отметки? Помнишь, мы с тобой говорили, не нужно искать ни похвал, ни наград, и ты со мной соглашался?

Раздался звонок, извещавший об окончании перемены, и мы молча пожали друг другу руки, он — печальный, я — смущенный.

В 1876 году Лидочка сказала мне, что Михаил Егорович арестован и посажен в тюрьму за революционную агитацию среди петербургских рабочих. Лидочка говорила мне, что он сидит в Петропавловской крепости, и я стал смотреть со смешанным чувством страха и благоговения на высокий золоченый шпиц ее собора и на приземистые темно-красные стены каземата.

В 1877 году особым присутствием сената Державин был приговорен к тюремному заключению. Арест и тюрьма прервали его занятия в Медико-хирургической академии, студентом которой он был, когда начал давать мне уроки.

Мы еще раз с ним увиделись в конце восьмидесятых годов в Петербурге. Я в то время был близок к молодым народовольцам и мучился вопросом, следует ли прибегать к террору или нет.

Михаил Егорович усталым, больным голосом — у него была чахотка в последнем градусе — мало убедительно доказывал мне, что к террору прибегать ни в коем случае нельзя.

— Я, — говорил он, — революционный инвалид. Работаю земским врачом, и у меня порвались связи со старыми товарищами. Нет у меня связей и с революционной молодежью. Но мои убеждения не изменились. И теперь, как прежде, я думаю, что только революционное движение трудовых масс, сознательных, просвещенных, может создать жизнь свободную и счастливую.

Чтобы развлечь Михаила Егоровича, я повел его в Мариинский театр на «Евгения Онегина». Он все время скучал, и в антрактах выражал изумление, как такую нелепость могут слушать и смотреть интеллигентные люди.

— Впрочем, — с усмешкой добавлял он, — только интеллигентов и могут интересовать глупые барские романы и глупые барские дуэли.

Гимназия Бычкова считалась образцовой. Вероятно потому с учеников, в особенности пансионеров, брали много дороже, чем в гимназиях казенных.

Директор, Федор Федорович Бычков, имевший чин действительного статского советника, считался хорошим педагогом-математиком: его алгебраический задачник выдержал бесчисленное число изданий. Высокий, длинный, с маленькой головкой, откинутой назад, был он похож на жердь в вицмундире. Обычно важный, иногда он бывал с учениками чрезвычайно нежен.

Когда меня Лидочка привела к нему в кабинет, чтобы узнать о результате моих вступительных экзаменов, он меня ласково поманил к себе, посадил на свое острое, жесткое колено и, обняв левой рукой, стал показывать правой ведомость с полученными мною отметками. Мне эта ласковость почему-то не понравилась, и когда мы вышли из гимназии, я спросил Лидочку:

— Почему он такой противный?

— Совсем не противный, он очень добрый, — отвечала Лидочка.

Впоследствии сделалось известным, что Бычков в некоторых отношениях человек ненормальный и для удовлетворения своей болезненной склонности пользуется учениками, живущими в его пансионе. Об этом знали ученики и преподаватели, но не хотели «выносить сор из избы».

Правда, перед его приходом на урок на черной классной доске мелом писали: «Педераст!». Бычков прочитывал надпись и хладнокровно замечал:

— Сотрите эту глупость.

Отец одного из учеников донес о проделках директора прокурорскому надзору, печать угодливого молчания была сломана. Бычков был арестован, его судили судом присяжных, разумеется, при закрытых дверях, и сослали в каторжные работы. Говорили, что каторга была заменена ему ссылкой, из которой он бежал за границу. У него нашлись влиятельные покровители. Достаточно указать, что родной брат его А. Ф. Бычков был директором Публичной библиотеки.

Я покинул не слишком для меня гостеприимные стены бычковской гимназии за несколько лет до ареста ее директора.

Михаил Егорович так хорошо меня подготовил, что я мог бы поступить в третий класс, соответствующий пятой группе нынешних школ. Но и во втором классе, куда меня приняли, я был самым младшим. Мне, ведь, было только десять лет. Был я самым младшим и в то же время несравненно более развитым, чем мои классные сотоварищи.

Великовозрастные купеческие сынки — их было немало в дорогой частной гимназии — меня сразу не взлюбили. Наивный мальчуган, я пробовал говорить о служении народу, о борьбе за свободу, пробовал разъяснить нагорную проповедь, а мне отвечали скверными ругательствами и колотушками. Издевательства переходили прямо в пытки: выдергивали волосы на голове, всаживали в тело булавки, плевали в лицо и т. д.

Михаил Егорович не раз предупреждал меня, что нельзя жаловаться на своих товарищей, и, верный его заветам, я выносил издевательства, не рассказывая о них даже дома. Иногда за меня заступался Овцын, самый великовозрастный и самый неспособный из учеников, а способный и маленький Митя Граве, бледный мальчик с черными кудрявыми волосами, злорадно посмеивался, втихомолку подзадоривая хулиганов.

Об истязаниях, наконец, узнали дома. Дети двух гостинодворских купцов Демин и Офросимов затащили меня под ворота того дома, где я жил с матерью и сестрами, связали мне сзади руки башлыком, повалили на землю и стали методически бить по спине медными наугольниками своих щегольских портфелей. На этом веселом занятии их настигла Лупандина, возвращавшаяся домой, стремительно бросилась на истязателей и несколькими ловкими ударами обратила их в бегство, а меня освободила. В этот момент я почувствовал, что она все же «своя».

По настоянию Лидочки меня взяли от Бычкова. Истязания не прошли даром для моего организма, подорванного многочисленными болезнями. Я сделался чрезвычайно нервным, начал страдать мучительной бессонницей.

Почти на целый год я был освобожден от обязательных занятий, много читал, почти исключительно беллетристику. В своем умственном развитии я шел не вперед, а назад. Были у меня товарищи, два воспитанника военной гимназии. В гимназии незадолго перед тем ли-

беральный военный министр Милютин переименовал кадетские корпуса. Не знаю, стали они от этого лучше или хуже.

У меня от дружбы с военным гимназистом Колей Чевакинским сохранилось воспоминание, как секли его товарищей за нарушение военно-школьной дисциплины. Другой военный гимназист заинтересовал меня, главным образом, своими воровскими проделками: он воровал все, что ему попадалось под руку. Как-то раз он украл двенадцать модных тогда трещеток «кри-кри».

— Всюду можно что-нибудь украсть, — говорил он мне.

И, действительно, даже в мануфактурном магазине, куда мы зашли по поручению моей матери, он утащил ручку от пера и механический карандаш.

Вообще, воровство среди моих тогдашних товарищей было очень распространено, и я был очень близок к тому, чтобы из товарищеской солидарности начать тоже воровать.

Летом мне взяли воспитателя, полную противоположность Державину. Это был студент математического факультета, интересовавшийся гораздо больше опереткой, чем математикой и вообще какой бы то ни было наукой. Напевал он модные опереточные песенки, и у меня до сих пор звучит в ушах:

Peu polie, très jolie!

Особенно он увлекался знаменитой опереточной примадонной Жюдик, кружившей головы легкомысленной петербургской молодежи.

Когда я к нему обращался с каким-нибудь пытливым вопросом, он в ответ сердито бурчал:

— Какого вам нужно еще рожна?

Часто выпивал, и раз на балу в нашей квартире принял штофное кресло за сиденье в уборной.

На этом закончилась педагогическая карьера Михаила Ивановича Торубаева. Я его с тех пор не видел, но слышал, что он, зайдя в нашу кухню с черного хода, когда в ней никого не было, пытался утащить медную кастрюлю, но был пойман с поличным.

Человек он был не злой и даже добродушный, лучше многих, добившихся высоких чинов и отличий.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, меня отдали в частное реальное училище Гавловского, которое, кажется, тоже считалось образцовым, как и гимназия Бычкова.

В училище Гавловского было несколько недурных преподавателей. Я интересовался уроками истории у Кичина, юриста по образованию, впоследствии, кажется, довольно видного судебного деятеля, и уроками словесности у Афанасьева. Они меня выделяли из всех других учеников, удивляясь моему раннему развитию.

Мне особенно памятен успех моего сочинения на тему: «Соха да борона сами не богаты, а весь мир кормят». Эту тему Афанасьев выбрал специально для меня, дав другим ученикам менее ответственные темы.

Продумывая тему, я вспомнил народнические беседы с Михаилом Егоровичем. Сочинение я закончил пословицей: «Без пахотника не было бы и бархатника». О том, что «бархатника» создает не только труд, но и невежество «пахотника», я вряд ли написал. Во всяком случае Афанасьев был в восторге.

Одним из воспитателей у Гавловского был американец, про которого рассказывали, что он раньше служил на плантации надсмотрщиком над негритянскими рабами. Я его терпеть не мог, и он меня точно также.

Состав учеников у Гавловского был еще хуже, чем у Бычкова. Но я от этого уже почти не страдал. Шел я первым, и первым перешел в четвертый класс. Окончание реального училища не давало права поступать в университет, и мои родные на семейном совете решили взять меня от Гавловского, учить латинскому языку и подготовить в классическую гимназию.

Пригласили для этого очень корректного, очень лойяльного кандидата историко-филологических наук Ивана Алексеевича Козеко, одного из любимых учеников известного славянофила профессора Бестужева-Рюмина.

Занятия с ним происходили во время русско-турецкой войны 1877—78 года. Козеко был настроен очень патриотично. Мечтал о завоевании Константинополя и восстановлении православного креста на Софийском соборе, превращенном турками в мечеть.

Патриотизмом он на время заразил и меня. С большим волнением следил я за ходом военных действий, торжествующе заносил в свой дневник сообщения о победах русских войск, особенно восторгаясь отвагою белого генерала Скобелева. Искренно скорбел при сообщениях о повторных поражениях русских под Плевной, которую защищал Осман-паша. Про Осман-пашу рассказывали, вероятно, чтоб смягчить впечатление о русских неудачах, что он совсем не турок, а французский генерал Базен.

Штурмы Плевны стоили жизни многим десяткам тысяч русских солдат. Взять ее удалось лишь после правильно организованной осады. Осман-паше не удалась попытка прорваться сквозь кольцо русских войск, и он сдался со всей своей армией. Это было в конце ноября 1877 года.

На улицах хорошо одетые господа целовались, поздравляя друг друга с победой. Вечером мы ходили с Иваном Алексеевичем по ярко иллюминованным улицам Петербурга. По Невскому медленно двигалась сплошная толпа, гремели оркестры, пели гимн, кричали «ура», качали «героев».

Козеко сиял и говорил мне:

— Воспоминание об этом ликовании нашего непобедимого великого народа будет сопровождать вас всю жизнь.

Но у меня как раз в этот вечер начался перелом и ожило воспоминание о народнических заветах Михаила Егоровича. Среди ликующей толпы сделалось мне тоскливо.

«Они здесь ликуют, — думал я, — а вокруг Плевны лежат десятки тысяч изуродованных трупов».

Придя домой, я вынул из стола свой патриотический дневник и разорвал его на клочки. Вместе с ним на клочки был разорван и мой патриотизм и при том раз навсегда.

От внешней войны мой интерес повернулся к борьбе внутренней, борьбе если не народа, то за народ. Небольшая скромная фигура девушки, стрелявшей в опричника Трепова, заслонила фигуру белого генерала.

Сильно волновался, читая знаменитую речь защитника Веры Засулич Александрова, ликовал при известии об ее оправдании и своим ликованием заразил даже спокойного и умеренного Козеко.

Случайно я находился во Владимирской церкви в тот момент, когда туда хлынула толпа молодежи в косоворотках и пледах, требуя от священника, чтобы он служил панихиду по студенту, убитому во время стычки с жандармами, пытавшимися арестовать оправданную Засулич в момент выхода ее из окружного суда. Среди этой возбужденной, волнующейся толпы, так странно протестующей панихидой, было мне и жутко, и радостно.

За схватками «Народной Воли» с чудовищным самодержавием я следил с огромным интересом. Меня привлекала дерзкая смелость и ловкость, с которой два народовольца среди бела дня на людной улице убили грозного шефа жандармов генерала Мезенцева и сумели скрыться от преследования на своем революционном рысаке.

Радостно волновали меня рассказы, как князь Кропоткин тоже среди бела дня на глазах у стражи был освобожден из тюрьмы.

Мне было досадно, что не удалось смело задуманное покушение на генерала Дрентелена, заменившего убитого Мезенцева на посту шефа жандармов. Покушался на Дрентелена молодой народоволец Мирский. Верхом на хорошем скакуне Мирский на Невском догнал карету, в которой ехал Дрентелен, и на скаку выстрелил. Пуля пробила окно кареты, но Дрентелен остался невредим. Мирскому удалось ускакать от погони и скрыться.

Сначала он скрывался в читальном зале Публичной библиотеки, а затем уехал в деревню к своему другу Семичеву, где в конце концов и был арестован. Арестован был и Семичев.

Мне этот эпизод потому особенно памятен, что Семичев — мой двоюродный брат. Моя бабушка с материнской стороны — урожденная Семичева. Сестра Лидочка, хранительница наших семейных легенд, рассказывала мне, что Семичевы по какой-то линии происходят от арапа Петра Великого, Ганнибала.

Я вспоминаю Семичева уже после того, как он выпущен был из тюрьмы или крепости и отдан под надзор полиции в своем небольшом имении Новгородской губернии. Очень смуглый, с черными, слегка вьющимися волосами, с окладистой бородой, большими печальными глазами, он беспрестанно сосал папироску, был мало разговорчив и как будто носил в себе какую-то тяжелую тайну.

Дрентельн

После убийства Мезенцева и покушения на Дрентелена во многих местах Петербурга были установлены казачьи пикеты. Казаки сопровождали и кареты сановников, между прочим, тогдашнего министра народного просвещения графа Дмитрия Толстого. Петербургские обыватели уверяли, что Толстой получил от революционеров письмо со словами:

Не тревожь ты казаков,
Мы не стреляем в дураков.

Настоящие революционеры думали иначе. Дмитрия Толстого они считали мерзавцем, но отнюдь не дураком. Если они в него не стреляли, то потому, что решили направить все силы на убийство царя.

Я им желал успеха, хотя во время русско-турецкой войны относился к царю если не с любовью, то с некоторой симпатией. Я его несколько раз встречал в Летнем саду, где он часто по утрам гулял со своей дочерью, Марией Александровной, в сопровождении огромного породистого пса.

Высокий, стройный, с красивым лицом, обрамленным слегка поседевшими бакенбардами, царь просто и спокойно смотрел своими выпуклыми глазами. Он поминутно прикладывал руку к козырьку своей белой фуражки с красным околышем, отвечая на поклоны встречных прохожих. Дочери его было тогда лет пятнадцать. Мне запомнились ее длинные распущенные каштановые волосы и черная бархатная кофточка. Александр тогда, видимо, не особенно боялся покушений, несмотря на выстрел Каракозова в том самом Летнем саду, где он теперь так беспечно гулял. Возможно, он верил, что его, как «помазанника божия», охраняет «рука всевышнего». В этом его уверяли приближенные, это ему внушалось торжественным пением гимна «Боже, царя храни», оперой «Жизнь за царя» и т. п.

Целый ряд неудачных покушений на его жизнь мог подкреплять его мистическую веру в свою неуязвимость.

После покушения Каракозова в него в Париже стрелял, взобравшись на дерево, поляк Березовский, несколько выстрелов на близком расстоянии дал по нему Соловьев 2 апреля 1879 года, а он оставался невредим.

Старуха Лупандина, мать мамашиной «владычицы-приживалки», жила в здании Главного штаба в квартире генерала Левицкого, и ей пришлось видеть из окна, как царь бросался из стороны в сторону, уклоняясь от пуль Соловьева. Видно, что абсолютной веры в «промысел божий» у Александра все же не было. Он знал русскую пословицу, что «береженого и бог бережет».

За выстрелом Соловьева последовал целый ряд грандиозных покушений, из которых особенно потрясающее впечатление произвела попытка уничтожить всю царскую фамилию взрывом Зимнего дворца.

Служились благодарственные молебны за спасение царя от грозившей ему опасности, улицы украшались флагами, как и в праздничные дни. Известный провинциальный актер Андреев-Бурлак не без юмора рассказывал об одном из таких «спасительных» торжеств.

Пришлось ему как-то переночевать в швейцарской за неимением в гостинице свободных номеров. Рано утром его будит дворник и просит подняться с ящика, на котором артисту была устроена постель.
— В чем дело? — спрашивает Андреев-Бурлак.
— Да флаги велели развешивать. Опять промахнулись, — недовольным голосом отвечает дворник.

Этот дворник в «промысел божий», видимо, не верил.

Для охраны царя был мобилизован весь полицейско-жандармский аппарат. Для руководства беспощадной борьбой с крамольниками облекались диктаторской властью генералы, заслужившие славу героев-победителей в русско-турецкой войне: Гурко, Тотлебен, Лорис-Меликов.

Гурко считал одним из рассадников крамолы Петербургский университет и решил его разнести.

Ректором университета в то время был профессор ботаники, академик Фаминцын. Этого высокого, худощавого старика с умным, серьезным лицом ученого я часто встречал в доме его друга П. П. Храповицкого. Фаминцын, отдававший все свои умственные силы научным работам, мало интересовался политикой. Тем не менее он был арестован и посажен в предвариловку, как фамильярно называли дом предварительного заключения.

«Просидел» он, кажется, только несколько дней. Не помню, до ареста или после ареста Фаминцын получил приказ генерала Гурко явиться к нему. Приказ был получен во время заседания университетского совета. Фаминцын собрался тотчас ехать.
— Постойте, — сказал знаменитый химик профессор Менделеев, — я поеду с вами. Одному вам с ним не справиться.

О том, что произошло в кабинете у Гурко, рассказывали мне и мой брат, и Храповицкий.

Вошедших профессоров генерал встретил фельдфебельским криком. Смущенный Фаминцын молча слушал, как Гурко кричал, что сам придет в университет и не только студентов, но и профессоров согнет в бараний рог.

Сначала молчал и Менделеев. Но затем, тряхнув своей львиной головой, стал тоже кричать своим басом с характерным для него оканьем. Кричали оба, но скоро голос генерала стал ослабевать, и слышны были только менделеевские громы:
— Как вы смеете мне грозить?! Вы кто такой? Солдат и больше ничего. В своем невежестве вы не знаете, кто я такой. Имя Менделеева навеки вписано в историю науки. Знаете ли вы, что он произвел переворот в химии, знаете ли вы, что он открыл периодическую систему элементов? Что такое периодическая система? Отвечайте.

О периодической системе Гурко, вероятно, не имел понятия. Это его смутило. Свидание закончилось торжеством науки. Энергичным жестом распахнув двери кабинета, Менделеев спокойно, но внушительно сказал, обращаясь к Фаминцыну:
— Пойдемте. Он теперь не пойдет разносить университет.

После взрыва в Зимнем дворце царское правительство решило попытаться сблизиться с умеренно-либеральными кругами русского общества. Министром внутренних дел с диктаторскими полномочиями был назначен граф Лорис-Меликов, считавшийся либералом.

Народовольцы встретили этого либерала террористическим актом. В него стрелял Младецкий. Пистолет, кажется, был заряжен картечью, которая пробила шинель графа, но его не ранила. Ходил слух, что Лорис-Меликов носил на груди панцырь.

Арестованный Младецкий был предан военному суду и через несколько дней после покушения публично повешен на Семеновском плацу. На казнь его везли через весь город в открытой колеснице. Когда колесница проезжала мимо Медико-хирургической академии, Младецкий будто бы ей поклонился. Либералы этим поклоном возмущались, считая, что Младецкий этим поклоном как бы донес на академию, бывшую и без того на худом счету у правительства, так как она воспитала многих революционеров.

Смотреть на казнь пришло множество народу. Было и несколько гимназистов из Второй гимназии, где я тогда учился. Один из них, рыжий веснущатый Граве, отдаленный родственник того Граве, с которым я учился у Бычкова, с каким-то сладострастным смешком рассказывал о процедуре казни.

По его словам, когда Младецкого палач подвел к виселице и набросил на голову белый капюшон, какая-то молодая женщина, стоявшая в толпе, сжала свои руки так, что хрустнули кости, и прошептала своему спутнику, тоже взволнованному зрелищем казни:

— Это ужасно. Надо отомстить.

— Мне, — добавлял Граве, — хотелось указать на этих несомненных товарищей преступника какому-нибудь полицейскому, чтобы он их арестовал, но они успели скрыться, пока я смотрел, как качался на виселице казненный злодей.

С этого времени Граве сделался мне омерзителен.

Находились либералы, которые ставили Лорис-Меликову в особую заслугу, что покушение Младецкого не изменило его решения побудить царя дать русскому народу нечто вроде конституции. Чуть ли не накануне подписания царем указа об этой куцой конституции, не дававшей народу ни земли, ни воли, грянуло «первое марта». Я шел по Невскому в фотографию Шапиро, чтобы купить портрет Федора Михайловича Достоевского. Когда я проходил по мосту через Екатерининский канал, в правой стороне раздался оглушительный взрыв. Не успел я дойти до конца моста, как раздался второй взрыв. И таково уже было тогда настроение, что я тотчас подумал: опять покушение на царя.

В самой глубине души слабый и неуверенный голос говорил: «Хорошо, если бы на этот раз удалось». Но голос, более сильный и уверенный, возражал: «Все равно, ничего из этого не выйдет, будут лишь новые казни, новые жертвы».

По Невскому пробежала как бы нервная дрожь.

— Покушение... Бомбы... Ранен... Невредим... Слава тебе, боже... Злодеи... — перебрасывались отрывочные слова.

Толпились почему-то около газетчика, который уже знал о бомбе Рысакова, разбившей карету, но не знал еще о бомбе Гриневицкого, убившей царя.

Какой-то старик-военный, убедившись из слов газетчика, что божий промысел снова отвел руку злодея от своего помазанника, снял фуражку и несколько раз перекрестился, смотря на Казанский собор.

Когда я подходил к тому дому на Фонтанке, где была квартира моего брата, у которого я жил, появились уже первые траурные листовки с извещением о мученической смерти царя-освободителя.

Листовки расхватывали нервными, дрожащими руками, читали молча. Город как будто замер в ожидании чего-то еще более страшного, еще более трагичного.

Для меня этим более страшным и более трагичным была публичная казнь пяти народовольцев.

Помню это весеннее утро, когда со всех сторон к Семеновскому плацу, где воздвигнута была виселица, бежали дворники, кухарки и другие простые люди, таща с собою табуретки, скамейки и стулья, чтобы лучше видеть редкую казнь.

В гимназии, за исключением двух-трех человек, все одобряли казнь. Находились и такие, которые говорили, что злодеев мало повесить, их следовало бы медленно замучить.

Не встречал я сочувствующих народовольцам, жалеющих их и среди деревенского люда. Мои знакомые крестьяне очень осторожно, правда, говорили, что, наверное, царя убили баре, обозленные тем, что он дал волю и хотел дать землю. Таково же было настроение и у большинства петербургских рабочих.

Мне памятен день коронации Александра III. По Невскому шла тогда огромная толпа «мастеровых», как обыкновенно называли фабрично-заводских рабочих, и пела громко, но фальшиво, «Боже, царя храни».

Все встречные поспешно снимали шляпы и фуражки, я не снял, и один из мастеровых, пустив скверное ругательство, злобно сбил с моей головы фуражку ударом кулака.

Трудовой русский народ не понял, кто и во имя чего убил царя, но он понял, что царь может быть убит, несмотря на молебны всех попов и на охрану всех полицейских. Это имело известное значение для повышения народной сознательности.

III. УЧИТЕЛЯ И ТОВАРИЩИ

В казенной гимназии. — Необычайный законоучитель. — Учитель-комик. — Теорема Поссе. — Педагоги из сумасшедшего дома. — Человек в футляре. — Агафонов и Храповицкий. — Семья Храповицких. — Интеллигентные монахи. — Натурщик для Иуды Искариотского. — Из пастухов в архиереи. — Богдановский. — Отмененная дуэль. — Ученая женщина. — Маленький человек с большим апломбом. — Опасная шутка. — Судьба Сережи Образцова. — К. П. Пятницкий. — Обманутые надежды семинарского философа.

В 1878 году меня отдали во Вторую петербургскую гимназию. В то время в классических гимназиях главными предметами считались древние языки: латинский и греческий. А русский язык, история, география, физика отодвигались на задний план, как предметы второстепенные.

Греческому языку меня Козеко совсем не учил, с латинским языком ознакомил в объеме двух первых классов, так что я мог попасть только в третий класс, отстав от своих бывших товарищей по гимназии Бычкова на целых три года, и отчасти поэтому у меня с самого начала появилось резко оппозиционное отношение ко всем гимназическим порядкам.

Вторая гимназия должна была бы называться первой, так как она была старейшей в Петербурге. Она гордилась многими из своих воспитанников, в том числе А. Ф. Кони. Окончил ее с золотой медалью и мой брат, он вспоминал о ней с чувством признательности.

Я пробыл в ней шесть лет и получил в ней «аттестат зрелости». Никакой признательности к ней не чувствую, вспоминаю о ней с полудосадой, с полуотвращением. Почти все, что я приобрел за эти шесть лет, я приобрел независимо от гимназии и даже несмотря на гимназию.

Из учителей с хорошим чувством вспоминаю лишь о законоучителе протоиерее Дмитрие Тихомирове, который одновременно был профессором богословия в Медико-хирургической академии, впоследствии преобразованной в академию Военно-медицинскую.

Он мало считался с официальной программой: на уроках катехизиса разбирал тревожные вопросы общечеловеческой морали, историю церкви превращал в историю христианства. Говоря о жизни Христа, он знакомил нас с еретическими взглядами Штрауса и Ренана. В основу морали он клал правдивость и так же, как атеист Михаил Егорович, особенно настойчиво советовал никогда не лгать, ибо ничто не принижает так человека, как ложь. Старался примирить науку

с религией — попытка тщетная, но для меня в то время все же очень интересная.

Меня он очень любил и ценил, считая лучшим своим учеником. На экзамене он меня отстоял от нападок епархиального ревизора, видного черносотенного протоиерея, которому почему-то очень хотелось меня срезать. На все вопросы отвечал я обстоятельно и бойко. Пришлось, между прочим, объяснять значение таинства крещения.

— А скажите-ка лучше, — прервал меня ревизор, — каким свойством отличается освященная крещенская вода?

Я недоуменно молчал.

— Как же вы не знаете таких простых вещей, молодой человек? Она никогда не портится, сколько бы ни стояла, никогда не портится... Вижу по глазам, что вы этому не верите. Не верите?

— Не верю, — сказал я.

— Прекрасно-с!.. Вы, видно, из таковских, которые ничему теперь не верят.

— Я тоже не верю, — вмешался отец Дмитрий, — православная церковь не знает догмата о нетленности крещенской воды.

Ревизор что-то сердито буркнул, поднялся с кресла и демонстративно вышел из зала.

Краска негодования, а, может быть, и стыда, залила лицо Тихомирова. Верил ли он в догматы православной церкви и мог ли он без «лжи» оставаться православным священником?!

Тогда я не задавался этим вопросом, — вернее, отгонял его от себя, потому что «батюшка» мне нравился, и на уроках его я отдыхал от гимназической казенщины.

Как теперь вижу этого старого ученого священника с жидкими прядями седых волос на лысеющей голове, с широким, некрасивым, но умным лицом, хорошее, серьезное выражение которого не мог испортить даже красный нос.

При выпуске наш класс поднес ему благодарственный адрес, под которым подписались и все иноверцы: лютеране, католики, евреи. Прощание было очень трогательное, батюшка прослезился, и со всеми, в том числе и евреями, обменялся христианским троекратным поцелуем.

Эта демонстрация обидела других учителей, в особенности нашего классного наставника, латиниста Осипа Осиповича Кенига. Этот типичный баварский немец, составленный из бочек и бочонков различных размеров, был комиком поневоле. Я никогда не видел его смеющимся и даже улыбающимся, но он вызывал неудержимый смех своею комичною серьезностью.

Приготовишки прозвали его «пушкой». Когда Кениг громоздко прокатывался на своих ногах-бочках по гимназическим коридорам, пискливые голоса из разных углов кричали вдогонку:

— Пушка, пушка!

Кениг багровел от гнева и грозно заявлял:

— Ну, знаэтэ, помолчитэ-ка лучше, а то если эта пушка выстрелит, вы все вылетите из гимназии.

Взрослые ученики называли его «иностранной швиньей», потому что он как-то на уроке, приводя какой-то пример из римского права, сказал:

— Если иностранная швинья заберется на чужой участок, то считается собственностью его владельца.

Латинскую грамматику он обосновывал математикой. Для всех правил у него были алгебраические формулы и геометрические теоремы. Винительный падеж, по его мнению, объяснить можно было только при помощи высшей математики.

Однажды, когда я отвечал, стоя у классной доски, Кениг заметил, что для пояснения условных предложений есть алгебраические выражения, но нет выражения геометрического. Тогда я, полушутя, полусерьезно, заметил:

— А смежные углы?

Кениг минуту помолчал, а затем недовольным голосом сказал:

— Ну, вы, Поссе, слишком быстро хотите делать открытия. Такие вещи легко не даются. Садитесь!

На другой день Кениг пришел в класс как-то особенно торжественно и, сев на кафедру, внушительно провозгласил:

— Поссе! Вы сделали большое открытие. Я много думал над вашим указанием о смежных углах, как выражении условных предложений, и пришел к заключению, что это — верно, точно и красиво. Одно основание, взаимная зависимость и обусловленность. Угол А уменьшается, тогда настолько же увеличивается угол В. То же и в условных предложениях.

С тех пор выражение условных предложений смежными углами в грамматике Кенига фигурировало, как грамматическая теорема Поссе, и я до конца курса неизменно получал по латыни пять.

Огорчал Кенига мой неудержимый смех. Иногда он подходил ко мне и укоризненно говорил:

— Поссе, ваша улыпочка мне фофсе не нравится, — а я давился, стараясь удержать взрывы смеха. И как было не смеяться, когда, например, Кениг, возмущенный давлением начальства в пользу какого-нибудь лодыря из влиятельной семьи, гневно восклицал:

— Ну, знаэтэ, мне надоели эти маленькие протеже, нэт, нэт, я нэ позволю себя изнасиловать. Директор, инспектор и Соков — все это одна шайка . . .

И вдруг, испугавшись собственных слов, пониженно робким голосом, озираясь по сторонам:

— Я ничего не сказал, слышите, так и знайте, я ничего не сказал.

Все же спасибо ему за этот смех, — всех остальных преподавателей не за что было благодарить.

Тупые, невежественные, пьяные, хрюкающие, полоумные и прямо безумные. Учитель словесности Курганович дослуживал до пенсии и не утруждал себя преподаванием. Целый час просиживал он на

кафедре, не произнося ни слова, а только хрюкая, вследствие какой-то ненормальности в горле. Ученики устроили своеобразный спорт, стараясь наивозможно точнее отметить крестиком каждое крюканье.

Математик Стеблов приходил на уроки пьяный. Историк Свирелин продолжал преподавать, будучи уже болен прогрессивным параличом, и был увезен в сумасшедший дом только тогда, когда объявил себя богом, а директора открыто назвал мошенником, за бесценок купившим у Лебедева авторское право на ходкие учебники географии, в которой он ни бельмеса не понимал.

О директоре Свирелин сказал сущую правду, но подобная смелость не свойственна людям в здравом уме.

Хуже всех был учитель греческого языка А. И. Давиденков. Существо в высшей степени безобразное: на коротких, тонких ногах маленькое туловище в вицмундире, на туловище большая голова с огромным мясистым носом, впалыми щеками землистого цвета со скудной растительностью. Из-под очков не смотрели, а торчали неподвижные свинцовые глаза. Глухой замогильный голос. На уроках у него царила мертвящая скука. В этой скуке была своеобразная сила, она умерщвляла интерес, появлявшийся у меня и у некоторых товарищей к великим писателям древней Греции: Гомеру, Софоклу, Ксенофонту, Демосфену. Давиденков заставлял их читать в классе строчка за строчкой исключительно для грамматического разбора, для заучивания склонений и спряжений.

Мы с Давиденковым не взлюбили друг друга. Он ко мне всячески придирался и пытался читать нотации, чего я совершенно не выношу. В отместку я старался досаждать ему, и раз, когда он получил какой-то орден, подговорил товарищей качать его, как отмеченного царской милостью.

Когда несколько дюжих рук схватили его тщедушное тело, он в ужасе захрипел, выпучив свои оловянные глаза. Мне стало жаль его, и я остановил качание.

Давиденков был футлярный человек, но футляр у него был иной, чем у известного чеховского героя. Несмотря на свою безобразную наружность и полную бездарность, Давиденков в конце концов добился полного благополучия. Сделался директором Второй гимназии, получил генеральский чин, обзавелся семьей, купил в Финляндии дачу. Таковы были «творцы» нашей умственной зрелости.

Когда перед выпуском мы выбирали девиз для выпускной группы, на которой сверху были помещены портреты директора, инспектора и преподавателей, а внизу портреты учеников, то я предлагал взять несколько измененные слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» Гоголя:

«Что они с нами делают? Они льют нам на головы холодную воду!»

Мое предложение было, конечно, отвергнуто, и на группе красовались знаменитые слова Некрасова:

Сейте разумное, доброе, вечное, —
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

Увы, большинство моих товарищей было так же мало способно сеять разумное и доброе, как и наши преподаватели, лившие нам на головы холодную воду.

Вообще гимназическая среда была мне чужда и даже враждебна, но все же она выделила двух друзей, друзей моих на долгие годы, Александра Храповицкого и Валерьяна Агафонова.

Люди совсем разные и на меня не похожие, но через меня подружившиеся. Храповицкий был породистый, дородный малый, выраженный блондин с ярким румянцем на щеках круглого девичьего лица. Тонкий нос с горбинкой, серые ясные глаза, всегда смотрящие на собеседника прямо, просто и смело. Очень способный, но не талантливый, все воспринимал легко, но ни к чему не привязывался, ничем не увлекался.

Агафонов был высокий брюнет с подвижным лицом, с тонкими поджатыми губами, на которых постоянно играла насмешливая улыбка. В противоположность Храповицкому, прирожденному первому ученику, всегда по всем предметам получавшему пятерки, и окончившему гимназию с золотой медалью, Агафонов учился плохо, оставался на второй год и, наконец, был исключен за неспособность. Звали мы его Агашкой.

Храповицкий прошел жизненный путь честным земским деятелем, ничем особенно не выделяясь. Агафонов же добился профессуры и занял заметное место в областях научной, литературной, общественной, и его перу принадлежит несколько книг.

В гимназии я больше ценил Храповицкого, чем Агафонова. Любил обоих.

К Агафонову, сыну многосемейного смотрителя училища глухонемых, я ходил редко. В семье же Храповицкого, сына фактического директора Крестьянского банка, бывал очень часто, иногда подолгу жил. Сделался «своим», привязался к отцу, народнику-славянофилу, и к матери, умной, доброй и очень остроумной женщине.

Три брата «Матреши», как я шутя называл своего товарища Сашу Храповицкого, меня очень интересовали, но сблизиться дружески с ними не мог.

Старший, Владимир, с виду придурковатый, был ученым ботаником, второй, Борис — дельный инженер, третий, Алексей, внешне блестящий, резкий, самолюбивый и тщеславный, еще на гимназической скамье поставил себе целью сделаться всероссийским патриархом и на полях учебника русской истории Иловайского поносил царя Алексея и восхвалял патриарха Никона.

Правнук со стороны отца знаменитого секретаря Екатерины II, внук какого-то видного генерала со стороны матери, Алексей Храповицкий выбрал карьеру монашескую.

Окончив гимназию с золотой медалью, он поступил в духовную

академию, и уже на втором курсе, двадцатилетним юношей, постригся в монахи. По окончании академии быстро пошел в гору и вскоре сделался самым молодым и самым популярным архиепископом.

Имя «Алексей» при пострижении он переменил на «Антония» и злился на меня, когда я его попрежнему называл Алешей. Жил он скромно, строго придерживаясь монашеских обетов, но в беседах с инакомыслящими был чрезвычайно резок и даже непристоен. Любил рассказывать циничные анекдоты и оправдывал эту любовь своею ненавистью и презрением к плотским утехам.

С ним я часто подолгу спорил и ставил в упор вопрос:

— Неужели вы, умный, образованный человек, искренно верите, что Христос вознесся на небо и что просфора и вино превращаются в его плоть и кровь?

— Я не могу сомневаться, — отвечал Антоний, — если бы я усомнился, то мне бы не оставалось ничего другого, как броситься с Литейного моста в Неву вниз головой.

Умным назвать Антония было нельзя, но было бы несправедливо отказать ему в некотором остроумии. Ум и остроумие — вещи разные.

Как-то раз мать его, старуха Наталья Петровна, рассказывая о какой-то великосветской барышне, заметила:

— А ты знаешь, Антоний, какой она оказалась либералкой?

— А что, родила? — быстро спросил Антоний.

Как-то за торжественным обедом родственник Храповицких генерал-лейтенант Кренке задал Антонию шутливый вопрос:

— Почему «митро-палит», а не «митро-стреляй»?

— А почему, ваше превосходительство, «ду-рак» . . . — здесь Антоний сделал длительную паузу и, спокойно смотря в глаза ошарашенного генерала, пониженным голосом закончил: — . . . а не «ду-рыба»?

Рекордное остроумие Антоний показал уже будучи архиепископом. Обер-прокурор предлагал синоду возвести в епископский сан малограмотного монаха Варнаву. Кто-то из членов синода стал возражать; тогда дано было понять, что этого желают императрица и Распутин.

— Ну, что же, — сказал Антоний, — мы готовы и черного борова сделать епископом, раз они этого желают.

Одно время Антоний читал религиозные лекции в Соляном городке. Находились интеллигенты, которые этими лекциями восторгались. Заинтересовался ими и знаменитый художник И. Е. Репин. Прослушав одну из лекций, он сказал своей приятельнице, баронессе Икскуль:

— Не понимаю, почему восторгаются Антонием Храповицким. Чиновник в рясе и больше ничего.

Около Антония, когда он был молод, группировалась монашеская интеллигенция (была и такая!). В ее среде был один еврей, крестившийся и постригшийся в монахи под влиянием религиозно-нравственных бесед с Храповицким.

Рыжий, горбоносый, он мне казался подходящим натурщиком для изображения Иуды Искариотского. Я как-то раз застал его в роли

карточного банкомета среди светской молодежи, собравшейся в доме Храповицкого.

Поймав мой изумленный взгляд, монах пробормотал:

— Почему не позабавиться?

Наиболее искренним мне казался высокий, худой, черноволосый, видимо больной чахоткой, Михаил Грибановский, умерший довольно рано в сане архиепископа таврического. Я с ним часто беседовал и никак не мог понять, почему этот простой, добрый и неглупый человек постригся в монахи и, не будучи, как мне казалось, карьеристом, сделал блестящую духовную карьеру.

Вот простодушного Мещерякова я хорошо понимал.

— Я — сын крестьянина, — рассказывал он мне во время одной из прогулок по Ватагинскому парку в имении Храповицких. — Как бедному мальчугану, мне приходилось пасти коров, а в душе росла мечта о силе и славе. Около нашей деревни в усадьбе жил генерал, а через деревню в карете, запряженной четверкой лошадей, не раз проезжал архиерей. В мечтах своих я видел себя то генералом, то архиереем. Выбрал я карьеру духовную, а не военную, ибо человеку простого звания сделаться архиереем легче, чем генералом.

Ко мне он относился почему-то с большой симпатией, несмотря на то, что я не скрывал от него своего атеизма.

Он попросил меня притти на его пострижение в монахи в Александро-Невскую лавру. Я пошел из любопытства, но любопытного ничего не было. Комедия достаточно нелепая. Светского имени Мещерякова я не помню, при пострижении его назвали Серафимом.

Впоследствии я слышал, что он сделался архиереем и ездил в карете, запряженной четверкой лошадей.

Из гимназических товарищей у меня сохранились хорошие отношения кроме Храповицкого и Агафонова еще с Александром Богдановским, сыном известного в свое время профессора хирургии, и Сережей Образцовым, сыном протоиерея, настоятеля Смоленского кладбища.

Богдановский, долговязый блондин, рано отрастивший бородку и длинные хохлацкие усы, просто и весело смотрел на жизнь своими голубыми глазами, добродушными и бесстыжими. Рефлексия его не разъедала. Без всяких сомнений и терзаний он безудержно предавался легким «любовным утехам», но грязь как-то не приставала к его душе. Меня он почему-то очень любил и нежно называл «Поськой». Мне он тоже нравился своею примитивностью и непосредственностью. Я с ним довольно часто встречался в различные периоды жизни, и ни разу ни в гимназии, ни после гимназии мы с ним не повздорили. Сколько раз своим открытым смехом он сгонял с моей души тревогу и тоску. Но раз он рассмешил меня своими слезами.

Вскоре по окончании гимназии он столкнулся, как соперник, при ухаживании за одной красивой барышней с каким-то офицером. Дело дошло до вызова на дуэль. Секундантом пригласил он меня. Я согла-



В. А. Поссе (стоит) с В. К. Агафоновым и А. П. Храповицким (1885 год).

сился с тем, чтобы помешать дуэли. Ознакомившись с обстоятельствами дела, я убедился, что поединка избежать легко. Но мне захотелось попугать приятеля. Накануне «решительного» дня он ночевал у меня. Когда мы улеглись, я начал спрашивать, как мне действовать в случае несчастного для него окончания дуэли. Богдановский дрожащим от волнения голосом просил о своей смерти сообщить сначала одному только своему крестному отцу, проф. Сорокину, который сумеет осторожно подготовить родителей к печальной вести, сделал много и других «предсмертных» распоряжений, свидетельствовавших что у него доброе и любящее сердце.

Смолкли. Я стал уже засыпать, как вдруг слышу странные звуки в роде отдаленного лая собаки. Приподнимаю голову и соображаю, что это рыдает Богдановский.

— Что с тобой?

В ответ особенно нежный, расслабленный голос:

— Поська, жить хочется, так хорошо жить. Жалко себя, невыносимо жалко.

Я весело рассмеялся,

— Полно тебе. Никакой дуэли не будет. Не умрешь. Жизнь тебя любит.

Богдановский учился сначала в Харьковском университете, потом в Вюртембергской агрономической школе. Пробовал осесть на землю, но скоро бросил эту затею. Служил в разных ведомствах, но старался приткнуться к живому делу — переселениям, землеустройству, горному делу и т. д. Сотрудничал в журналах, не претендуя на писательское звание. Лет пять тому назад встретился я с ним в Одессе. Он носился с мыслью устроить около Одессы образцовую сельскохозяйственную артель. В густых волосах и длинных усах блестели серебряные нити, но выглядел попрежнему молодым и жизнерадостным.

Вспомнив Александра Богдановского, невольно вспоминаю и сестру его Веру.

Когда она училась в Смольном институте, где шла первой ученицей, то казалась и внешне, и внутренне бесцветной: мы с Храповицким прозвали ее «салакушкой». Но по окончании института и Высших женских курсов она расцвела и развернулась в исключительно интересную женщину. Специализировалась по химии, написала несколько ценных работ, ездила совершенствоваться за границу, готовилась быть профессором химии.

Было в ней что-то общее с братом.

Говорили мы с ней как-то о нашумевшем в свое время парижском процессе бандита Прадо, отличавшегося большой жестокостью и окончившего жизнь на гильотине. На процессе выяснилось, что в Прадо влюблялись женщины «из хорошего общества». Среди них была интеллигентная американка, утверждавшая, что она почувствовала высшую радость жизни в тот момент, когда ее рука коснулась мощных и упругих мускулов Прадо.

— Как я ее понимаю, — сказала Вера. — Я сама думаю, что именно в прикосновении к мощным мускулам, а не в научных изысканиях высшая радость жизни.

В нее был влюблен один наш товарищ по гимназии. Парень не глупый, но с виду тщедушный.

Вера его ухаживания отклонила и совсем еще молодой вышла замуж за богатого, старого химика, известного своими изобретениями. Он устроил для нее на Урале образцовую химическую лабораторию, работами в которой она надеялась создать себе европейское имя. Но ей удалось проработать, если не ошибаюсь, меньше года.

Изготовляя какое-то новое, сильно ядовитое вещество, она поранила разорвавшейся колбой руку и умерла от отравления.

Сережа Образцов был маленький человек с маленькой головой и кувшинным рылом, которое, когда у него под подбородком выросла мочалистая бородка, стало походить на козлиную морду.

Был он на редкость неспособный к ученью, в особенности к математике, но каким-то чудом кончил гимназию и даже добрался до последнего курса университета по естественному отделению физико-математического факультета. Кончить университета не смог, но держал себя так, как будто был оставлен при университете для занятия профессорской кафедры.

Брал апломбом. С людьми известными и солидными держался за панибрата. Всех похлопывал по плечу, хотя для этого иногда приходилось становится на цыпочки. Одного известного профессора, про которого говорили, что он берет не столько талантом, сколько усидчивостью, Сережа похлопал и, добродушно улыбаясь своей козлиной мордочкой, сказал: «Эх вы, вечный труженик, никогда творец». В этот момент Сережа чувствовал себя Петром, а пораженный сережиной наглостью профессор выглядел Тредьяковским.

Ко мне Сережа крепко прицепился, как только я догнал его в четвертом классе, где он застрял. Вошел, как свой, в нашу семью, ездил каждое лето в наше имение Кемцы, которое моя мать купила года через три после продажи Петровского.

В первый раз ехали мы вместе. Было нам тогда лет по четырнадцати.

Вышли вечером на станции Березайке, откуда до Кемец двадцать семь верст. Наняли парную подводу и покатили.

Возница наш, серенький мужичок, посматривал на нас боязливо. Одеты мы были в черные макинтоши с остроконечными капюшонами, которые надвинули на головы, когда въехали в темный сосновый лес.

Боязливость возницы подстрекнула нас, и мы стали говорить всякий вздор о нашем дяде-лешем, который давно просил притащить к нему православного мужичка, чтобы испробовать крови христианской, о сестрах-русалках, которые не прочь пощекотать православного, и т. д. Сережа при этом прекрасно использовал свой апломб. Мужичок трясся от страху и поминутно крестился, но все же попытался нас устрашить.

— Вот, схвачу топор, да тяпну по вашим башкам, — узнаете тогда лешего.

— Попробуй только тронуть топор, — у тебя рука сейчас отсохнет! — закричал Сережа.

И мужичок, как ужаленный, отдернул руку, затем перекрестился широким взмахом руки и, бросив вожжи, соскочил с козел своего самодельного тарангаса. Скрылся в лесу и оттуда закричал благим матом:

— Караул!

Я схватил вожжи, остановил лошадей, и мы начали в два голоса звать возницу, убеждая не бояться, так как мы просто шутили и никаких леших и русалок не знаем. Мужичок не поддавался на наши увещания и снова благим матом заорал:

— Караул!

Тогда я крикнул:

— Ну, тогда оставайся здесь с лешим, а мы поедем дальше.

Это подействовало, он взобрался на козлы, и мы поехали дальше. Молчали. Проехали лес, наконец въехали в деревню, уже уснувшую.

Наш возница быстро соскочил с козел, бросился к первой избе и стал стучать в окно кнутовищем. Мы поняли, что он хочет отдать нас на суд деревни, а это могло окончиться для нас очень плохо. Хорошо, что в избе спали крепко и никто не высовывался в окно.

Я крикнул:

— Полезай на козлы, а то сейчас укатим, останешься без лошадей.

Возница минуту поколебался, потом щелкнул кнутом, вскочил на козлы, и мы благополучно проехали спящую деревню.

В Кемцы приехали, когда уж рассвело. Ночь была кошмарной и для нас, и для мужичка. Когда мы расплатились, возница с удивлением посмотрел на наши лица, как будто впервые узнав нас, и, плюнув в сторону, с досадой сказал:

— Мальчишки, а какого страху нагнали.

Сережа во всем старался подражать мне. Когда я влюбился в одну барышню, он тоже влюбился в нее, но втихомолку, так как, несмотря на свой апломб, меня он побаивался.

Пробовал он ходить со мной на охоту, но скоро бросил, так как здесь ему почему-то изменял его апломб, и он при вылете птиц только ахал.

Когда, будучи студентом второго курса, я вообразил, что влюбился в знаменитую оперную певицу Ван-Занд, и Сережа тоже вообразил себя влюбленным. Мы вместе провожали ее, когда она уезжала с Варшавского вокзала, и Сережа со свойственной ему непринужденностью, сняв с своей руки перчатку, бросил ее в окно, около которого сидела Ван-Занд, и закричал:

— Sur la mémoire, — вместо: au souvenir.

Это, вероятно, доставило знаменитой певице несколько веселых минут.

После окончания университета и переезда за границу я потерял

Сережу из виду, но от общих товарищей слышал, что он уехал на службу в Сибирь, там начал пить, опустился, но это не помешало ему жениться на очень красивой и милой девушке, которая, говорят, горячо его любила и оказалась заботливой матерью двух ребятишек.

В последний раз видел я его в 1910 году в Омске, где я читал лекции. Он пришел ко мне в номер, похлопал меня по плечу и, добродушно улыбнувшись, попросил двадцать пять рублей в долг без отдачи.

В годы военного коммунизма Сережа, жена его и дочь одновременно заболели сыпным тифом и почти одновременно умерли по пути из Сибири в Россию. Оставшийся в живых сын устроился на каком-то пароходе кочегаром.

Ни Богдановский, ни Сережа не имели на меня никакого влияния. Незначительно было влияние Храповицкого и Агафонова. Думаю, что скорее я влиял на них, чем они на меня.

Во всяком случае мы держались друг с другом на равной ноге. Этого нельзя сказать о моих отношениях с Константином Петровичем Пятницким.

Были мы с ним сверстники и земляки. Познакомились в 1880 году в Кемцах, где отец его был священником местной церкви. За пятьдесят слишком лет мы съели вместе не мало соли. Сближались и отдалялись, никогда формально не ссорясь. Оценку друг другу меняли, временами достаточно резко. На «ты» не переходили, мои попытки в этом отношении оставались безуспешными. Вообще Пятницкий ни с кем, кроме близких родных, никогда не был на «ты». Мелочь, характерная для скрытной и недоверчивой натуры Константина Петровича.

Выглядел Пятницкий высоким, здоровым парнем атлетического сложения. Копна русых волос подымалась над великорусским лицом с крупными чертами. Глаза внимательные, но довольно бесцветные. Говорил в молодости не то картавя, не то шепелявя. Этот маленький недостаток очень тревожил его отца.

— Большой умница мой Костя, — говорил мне отец Петр, — быть бы ему митрополитом, да как бы язычок не помешал. В нашем звании великоречивость нужна.

Летом, а часто и зимою, Константин Петрович ходил в белых холщевых брюках и красной кумачовой рубахе, плотно облегавшей его выпуклые грудные мышцы.

Учился Пятницкий в Новгородской семинарии и шел сверхпервым учеником. Сочинения его, как образцовые, посылались высшему духовному начальству. Особенно ценил Пятницкого преподаватель философии Раевский, говоривший, что ни один из его учеников сорока семинарских выпусков не мог по способностям сравниться с Константином Петровичем. Раевский надеялся, что Пятницкий специализируется по философии и сделается русским Спинозой или Кантом.

По правде сказать, одно время надеялся на это и я. На себя

я никогда не возлагал больших надежд, готов был удовольствоваться славой своего товарища. Мое восторженное отношение к Пятницкому вызывало досадливые замечания Агафонова:

— Что ты носишься с ним, как с писаной торбой? Первый ученик и больше ничего.

Мы с Пятницким во время каникул, а также во время рождественских и пасхальных праздников виделись ежедневно, то беседуя о литературе и философии, то развлекаясь охотой и участием в любительских спектаклях. Политических разговоров избегали, в этом отношении у нас были разные уклоны.

Из писателей на Пятницкого больше всего влиял Гете. Возможно, что творческое чтение произведений великого поэта, философа и натуралиста убедило его, что раскрыть тайны мира может только тот, кто хорошо знаком с естествознанием.

Пятницкий ушел из семинарии и, выдержав экстерном экзамен на аттестат зрелости при одной из петербургских гимназий, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

IV. ОХОТА, ТЕАТР И ЛИТЕРАТУРА

Увлечение рыбной ловлей. — Охотничья страсть. — Мой умный друг Медор. — Положительные и отрицательные стороны охоты. — Театральные воспоминания. — Павел Васильев в роли Любима Торцова. — Сарра Бернар в 1879 году. — «Адриенна Лекуврер». — Увлечение Гиммельфарба. — Сарра Бернар в 1889 году. — Элеонора Дузе. — Росси. — Сальвини в роли Оттело. — Мазини и «мазинистки». — Мои артистические опыты. — «Яичница». — «Андрей Титыч». — Не смешной смех Агафонова. — Агафонов в «Записках сумасшедшего». — Т. И. Польнер. — Мое первое редакторство. — «Коршуны революции у колыбели детей». — Запрещенный журнал. — Агафонов и Д. В. Григорович. — Кто правит миром?

В детстве я увлекался рыбной ловлей. Это увлечение я унаследовал от моей матери. Она, уже будучи старухой, радостно волновалась, рассказывая, как в молодости вместе с каким-то крестьянином-рыболовом ловила огромных щук «на дорожку».

Мне приходилось довольствоваться удочкой, которой я по большей части вытаскивал мелкую рыбешку. Но как-то раз за поплавком, стремительно ушедшим в глубину, рванулась леска, и я с трудом удержал в руках удилище. Несколько мгновений азартной борьбы — и на поверхности воды заблестел огромный серебристый подлещик. Трепещу от восторга, но еще момент, и леска бессильно опускается, а сорвавшийся подлещик исчезает в воде. Я бросаю удочку и, схватившись ручонками за голову, с отчаянием кричу:

— О, я, несчастный сын природы!

Мать, которой кто-то рассказал об этом эпизоде, обиженным тоном заметила мне:

— Почему это ты называешь себя сыном природы? Ты мой законный сын.

Она, вероятно, вспомнила, что по-французски детьми природы (enfant naturel) называют незаконнорожденных.

Лет тринадцати, когда я получил небольшую одностволку и научился стрелять из нее, увлечение рыбной ловлей сменилось увлечением охотой.

Охота была для меня, конечно, не промыслом, но и не простым развлечением. В течение нескольких лет она была моею страстью, временами всецело захватывая меня. Страсть сделала меня неутомимым. Дневал и ночевал в лесу, проходил по сорок верст в день, не боялся ни жары, ни холода. Охота укрепила мое слабое здоровье, смягчила остроту тяжелых, так называемых личных, переживаний, дала мне возможность сблизиться с крестьянами, присмотреться

к жизни птиц и зверей, проникнуть в «душу» умного пса, верного товарища и друга.

Мой Медор был такой же страстный и нервный охотник, как и я. На охоте мы жили одной жизнью, дрожали одной дрожью, когда его чутье вело нас к тетеревиному выводку, и одинаково радовались, когда в громе выстрелов падали на землю убитые птицы. Если я давал промах, Медор укоризненно смотрел на меня, как бы говоря:
— Эх ты, чего мажешь!

Смышленность его была прямо человеческая. Как-то раз поздней осенью я возвращался с охоты верхом. Медор бежал около лошади. Наступила темнота, полил проливной дождь. Я в это время проезжал через село, где жил мой знакомый доктор, у которого я часто бывал.

Проехав село, я стал подзывать к себе Медора, боясь, чтобы он не попался в зубы волкам, шнырявшим вокруг. Медор не показывался. Долго и усиленно я звал его, но безрезультатно: пропал мой Медор.

Приехал домой мрачный, оплакивая друга.

На другой день рано утром меня будит собачий не то визг, не то стон. Открываю дверь, и на меня бросается Медор, обнимает, лижет лицо, затем ложится на землю, прячет голову в лапы и подставляет спину, как бы предлагая отстегать его.

Приехал мой знакомый доктор и рассказал, что поздно вечером Медор пробрался в сени его дома и, умильно помахав хвостом, как бы извиняясь за беспокойство, улегся в уголку. На рассвете он стал скрестись в запертую дверь, и как только ее открыли, галопом помчался в Кемцы, где я тогда жил.

Привязан был он ко мне необычайно. Когда я уезжал в Петербург, он жалобно выл, когда я возвращался в Кемцы, он прыгал вокруг меня, радостно взвизгивая.

Погиб он под старость трагически. Мать отпустила его на охоту с пастухом поохотиться. Пастух, желая убить тетерку, над которой Медор сделал стойку, всадил заряд в голову моего бедного друга.

Я жил тогда за границей. Получив печальное известие, я с трудом удержался от слез.

У охоты есть и оборотная сторона. Она давала себя чувствовать все сильнее по мере роста моей сознательности. Убивать живое существо, убивать свободную лесную птицу или зверя с их горестями и радостями, столь понятными человеческому сердцу, отвратительно, если подумать об этом спокойно, бесстрастно.

Особенно отвратительно добивать подранков. Сколько раз я чувствовал себя преступником, когда брал в руки раненого вальдшнепа, сердце которого так быстро билось, а прекрасные глаза смотрели так умоляюще. Сколько раз я становился себе противен, когда подбитый моим выстрелом заяц вертелся на одном месте и жалобно пищал, совершенно так, как плачет больной ребенок.

Оправдывал я себя тем, что страстными охотниками были мои

любимые писатели: Тургенев, Толстой, Некрасов. Оправдывал и в то же время недоумевал, как мог, например, Тургенев до старости охотиться, когда еще в детстве мучительно ощутил невыносимую жестокость охотничьего убийства. Это переживание Тургенев красочно передал читателям в рассказе «Перепелка».

Себя понять было мне еще труднее. Долго я боролся с охотничьей страстью, но в конце концов победил ее. Уже около сорока лет я не беру ружья в руки. Но до сих пор иногда во сне вижу, как из-под носа Медора вырываются тетерева, вальдшнепы, бекасы, стреляю в них, но ружье почему-то всегда дает осечку. Эта «осечка», вероятно, объясняется тем, что известный физиолог Павлов называет заторможением условного рефлекса.

За убийство дичи меня совесть не мучит. Но я болезненно содрогаюсь, когда вспоминаю, как убил ласточку, чтобы похвастаться уменьем стрелять в цель.

Все это, конечно, условно. Мой сотоварищ по охоте, бывший николаевский солдат Тюря, брал голову раненой птицы в рот и прокусывал ее своими клыками. Какая разница? А между тем меня коробит от способа Тюри и почему-то в памяти оживает его рассказ, как он с другими русскими солдатами расстреливал в 1863 году польского повстанца.

— Был это мужчина здоровенный, косая сажень в плечах и лбище огромадный, — говорил Тюря, выплевывая изо рта кровь от только что прикушенной им птицы. — Когда мы его привязали к дереву, он стал нас просить, чтобы мы целились лучше, а то, говорит, я больно живуч. И действительно, точно заколдовал он нас. Два раза палили, а он все дрыгается и стонет. Так живьем и закопали.

Во время охотничьего сезона меня всецело поглощала охота. Мой охотничий сезон был очень краток, так как уже в середине августа начинались гимназические занятия. Этим занятиям я старался отдавать как можно меньше времени, а следовательно и жизни.

Свою жизнь я с радостью отдавал театру и литературе. Театр я полюбил еще в раннем детстве благодаря домашним постановкам брата. Первый раз настоящий спектакль я увидел в петербургском Большом театре, переделанном впоследствии в консерваторию.

Большой театр был театром балета и русской оперы. Меня повезли на балет «Дон Кихот». Это было приблизительно шестьдесят лет тому назад, но я хорошо помню все детали, помню даже, как моя сестра Катенька и ее гимназические подруги пришли в телячий восторг, увидев, что на сцене в роли герцога появился их учитель танцев.

После этого я в течение всей своей долгой жизни еще только один раз был на балете. Шла тогда «Коппелия».

В моей душе крепко держалось предубеждение против балета, привитое не только Михаилом Егоровичем, но и братом. Костенька высмеивал балетные прыжки и «па» и в то же время страстно любил оперу и драму.

Он взял меня в Александринский театр на пьесу Островского «Бедность не порок». Любима Торцова играл Павел Васильевич Васильев, великолепно умевший изображать «униженных и обездоленных».

Вместе с братом, вместе со всеми зрителями и, вероятно, исполнителями я пережил потрясающий, незабываемый момент, когда Любим в ответ на приказ Гордея увести его, внушительным движением руки вверх заставляет всех отступить и смолкнуть; затем раздается его трагический шопот:

«Сс... Не трогать! Хорошо тому на свете жить, у кого нету стыда в глазах!.. О, люди, люди! Любим Торцов пьяница, а лучше вас! Вот теперь я сам пойду...».

Трагический шопот сменяется гордым вызовом:

«Шире дорогу — Любим Торцов идет!»

Когда занавес опустился, публика неистово аплодировала и бесконечное число раз вызывала Васильева. Вижу возбужденное лицо брата, перевесившегося через барьер крайней ложи и вопившего исступленно:

— Васильева! Васильева!

Много я с тех пор видел русских артистов, но никто из них не произвел на меня такого впечатления, как Павел Васильев в роли Любима Торцова. По произведенному на меня впечатлению я могу с ним сравнить разве только Станиславского в роли доктора Стокмана.

Из русских артисток я сильнее всего почувствовал Стрепетову в «Грозе» Островского и «Горькой судьбине» Писемского. Знаменитая Савина ни разу не взволновала меня, может быть потому, что я видел ее в пустяшных пьесах, главным образом, в пошлых комедиях Александрова-Крылова.

Не столько русских, сколько иностранных артистов и артисток я вношу в актив своих переживаний. Прежде всего — Сарра Бернар. Я ее видел несколько раз во время ее петербургских гастролей в 1879 году. Эта парижская артистка, по национальности еврейка, провозглашалась в то время театральным гением, ее ставили выше знаменитой Рашель, тоже французской еврейки.

Достать билеты на Сарру Бернар было чрезвычайно трудно. В очередях стояли по целым суткам. Мне удавалось получать билеты благодаря гимназическому товарищу Гиммельфарбу. Этот рослый тяжеловесный еврей, казавшийся лет на пять старше своих шестнадцати лет, сидел в IV классе на одной парте со мной. Он оказывал мне различные услуги и благодаря своим могучим мускулам держал в страхе тех товарищей, которые иногда непрочь были поколотить меня за мои не всегда безобидные шутки.

Билеты на Сарру Бернар он, впрочем, доставал не столько из дружеских чувств ко мне, сколько из национальной гордости. Многие гимназисты под влиянием обывательской среды позволяли себе антисемитские выходки, и Гиммельфарбу было, конечно, лестно указать

x) По-итальянски — „Побежденный Рим", пьеса Alexandre Parodu (= „Rome vaincue")

им, что величайшая современная артистка, смотреть на которую сбегается весь Петербург, чистокровная еврейка.

Гиммельфарб совершенно не знал французского языка, но все же старался не пропустить ни одного выступления Сарры Бернар. На представлении французской исторической пьесы «Завоевание Рима» x) он меня здорово насмешил и спугнул мое восторженное настроение, созданное игрой артистки.

Сарра Бернар играла мать весталки, обреченной на смерть за нарушение обета целомудрия. Мать умоляет сенат помиловать дочь, говорит жгучую речь, то ломая руки, то прижимая их к сердцу. Словам отчаяния соответствуют и жесты отчаяния.

— Ну что, понравилось тебе? — спросил я Гиммельфарба, когда опустился занавес и начались овации, в которых он принял участие своими могучими ладонями.

— Великолепно, — отвечал он, — как она ловко тузила себя по животу.

— По какому там животу? — невольно рассмеявшись поправил я товарища. — Она умоляюще прижимала руки к сердцу.

— Ах, вот что, — сконфуженно пробормотал Гиммельфарб.

Наибольшее впечатление произвела на меня Сарра Бернар в «Адриенне Лекуврер». К этой роли особенно подходила ее высокая тонкая фигура, не особенно красивое и все же прекрасное худощавое лицо, быстро меняющее свое выражение, большие глаза, из которых лились потоки то радости, то какой-то нежной скорби. Голос у нее был необычайно музыкальный. Иногда казалось, что она не говорила, а пела.

Сцену смерти отравленной Адриенны она передала истинно трагически: ужас преодолевается любовью, и зритель уходит скорбный, потрясенный и все же примиренный.

В 1889 году я видел Сарру Бернар в одном из парижских театров. Она играла императрицу Феодору в исторической драме Сарду.

Придя в театр я ожидал повторения сильных переживаний 1879 года. Меня постигло жестокое разочарование. Голос у Сарры Бернар звучал так же мелодично, но декламация ее мне показалась искусственной, напыщенной. С трудом досидел до конца, тем более, что был окружен клакерами.

В Париже в мое время существовала организация наемных клакеров, или хлопальщиков, которые за определенную плату аплодируют исполнителям, выражают восторги, смеются и плачут, стараясь заразить определенным настроением зрителей. У клакеров есть свои шефы, которые наподобие капельмейстеров дирижируют хлопальщиками, давая сигналы движением руки.

Клакеры повышают настроение не только зрителей, но и исполнителей. Говорят, что многие крупные артисты не могут играть с подъемом, если их в надлежащие моменты не поддерживают аплодисментами и другими знаками внимания клакеры. Иногда часть клакеров не приходит в театр, и тогда шеф продает билеты на оставленные для

них места. В кассе мы с одной знакомой студенткой не достали билетов и взяли их у какого-то субъекта, считая его перекупщиком. Клакеры играли очень старательно: и смешили, и раздражали нас, но во всяком случае мешали проникнуться надлежащим настроением.

Одного бравого зуава, впервые приехавшего в Париж из Алжира, и получившего такой же «свободный» билет, как и мы, клакеры заразили своим восторгом, и он не за страх, а за совесть отбивал ладони и кричал браво.

Прошло еще десять лет. В конце девяностых годов я видел знаменитую итальянскую актрису Элеонору Дузе в пьесе Александра Дюма «Дама с камелиями».

Дузе играла чрезвычайно просто, но в то же время художественно, творчески. Она дала мне то, что не могла дать пьеса Дюма, она заставила задрожать лучшие струны человеческого сердца, и мне на время стало жить как-то легче.

Дузе девяностых годов в памяти чувств сливается у меня с Саррой Бернар семидесятых годов. Кто из этих двух артисток выше — не решаюсь теперь судить, как не решаюсь давать сравнительную оценку двум великим итальянским трагикам: Росси и Сальвини.

Росси я много раз видел лет пятьдесят тому назад. Он помог мне понять Лира, Шейлока и Дон-Жуана. Дон-Жуана он играл пушкинского (из «Каменного Гостя»), разумеется, на итальянском языке.

Сальвини я видел два раза с промежутком в десять лет и оба раза в его коронной роли Отелло. В истолковании Сальвини Отелло не свирепый кровожадный ревнивец, а правдивый, доверчивый, наивный воин. Натура цельная и непосредственная. Теряя веру в Дездемону, он теряет себя.

Отелло Сальвини не черный негр с толстыми красными губами, вращающимися белками, а величавый смуглый аравийский араб. В порывах гнева он страшен, но не безобразен. В страшном крике: «Крови, Яго, крови!» чувствуется невыносимая душевная мука. Великой скорбью звучит прощание Отелло со всем, что составляло жизнь его:

Прости, покой, прости, мое довольство!
Простите вы, пернатые войска,
И гордые сраженья . . .
Все, все прости! Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги славных войн . . .
Все, все прости! Свершился путь Отелло!

Здесь истинный трагизм, в котором страшное сближается с возвышенным.

Из оперных артистов в дни моей молодости увлекали меня итальянец Мазини и американская голландка Ван-Занд.

Случайно я попал в Панаевский театр на боковое место верхней галереи, откуда совершенно не было видно сцены. Пришел я, когда

опера «Искатели жемчуга» уже началась. Мазини пел арию Надира. Я сразу почувствовал волшебную власть его удивительного голоса. Сердце сладко защемило, затем чувство радостной свободы, и я легко несусь в дивную даль...

Мазини пел без всякого напряжения, пел потому, что песня его натура, его природа. Так поет лесная птица, так поет соловей, но как примитивна, как ничтожна песнь соловья по сравнению с песней такого певца, как Мазини!

Мазини нужно слушать, но лучше не смотреть на него. Держал он себя на сцене вульгарно. Пошлостью веяло от его физиономии, в каком бы гриме он ни выступал. Я слушал его обыкновенно, закрыв глаза.

Женщины массами влюблялись в него. Была особая порода «мазинисток». Смешно было смотреть на дам и перезрелых девиц, когда они, перевесившись через барьер балкона или галереи, кричали выходившему на вызов Мазини вместо «браво» — «амо» (люблю).

Мне, впрочем, смеяться над мазинистками не пристало, так как было время, правда очень короткое, когда, если не мой голос, то мои глаза говорили «амо» не Мазини, конечно, а Ван-Занд.

Наружность Ван-Занд казалась мне такой же прекрасной, такой же совершенной, как ее голос и ее игра. О Ван-Занд мне придется вспомнить в связи с другими переживаниями.

После гастролей Сарры Бернар во мне зародилось сильное желание самому «представлять». Наиболее эффектные сцены из «Адриенны Лекуврер» я выучил по-французски наизусть и разыгрывал их перед домашними в Кемцах, стараясь подражать знаменитой артистке.

Затем зародилась мечта сыграть Отелло. От этой мечты я долго не мог освободиться.

В Кемцах по моей инициативе в помещении местной школы устраивались любительские спектакли. Ставились сцены из «Бориса Годунова», комедии Гоголя и веселые, но глупые водевили. На мою долю выпали роли наиболее комические: монаха Варлаама, Жевакина и т. п.

В Петербурге, когда я был в последнем классе гимназии, организовалась при моем деятельном участии любительская труппа преимущественно из учащихся высших и средних учебных заведений. Играли мы в зале Кононова на Мойке, около Полицейского моста.

И здесь об Отелло и других трагических ролях мне пришлось только мечтать. В то время я был малый довольно сговорчивый и брал те роли, от которых отказывались все другие: Яичницу в «Женитьбе» и купчика Андрея Титыча в комедии Островского «В чужом пиру похмелье».

Играя Яичницу, я так входил в роль, что в гневе на сваху уходил со сцены раньше, чем это полагается. Так было на репетициях. Товарищи обещали меня вздуть, если я то же проделаю и на спектакле. Я очень этого боялся, но, увы, в порыве вдохновения я торжественно выкатился со сцены, прокричав:

х) Наверное знаю, что он был Тихон Иванович Полнер 1864–1935. Встречал его в Зарубежьи: 1919–1935

«Ах ты, подошва ты старая! попадись только ты мне...»

Мой неожиданный уход на минуту смутил других исполнителей, но самый опытный артист нашей труппы, Тихон Полнер,х игравший Кочкарева, быстро нашелся и, обращаясь к Анучкину, которого играл Храповицкий, развязно симпровизировал:

«Ушел, болван. Туда ему и дорога. Проберем эту бестию Феклу и без него».

Я был в отчаянии, главным образом, потому, что лишил себя возможности выкрикнуть последнюю, самую эффектную фразу Яичницы:

«А невесте скажи, что она подлец!»

Андрея Титыча я сыграл, по словам товарищей, лучше заправского актера, тонко оттенив трагический комизм этого молодого бедняги. Во мне в то время было что-то родственное ему. Меня в те времена после редких порывов неудержимого смеха охватывала сверлящая сердце тоска. Были тягостные дни, когда я подобно Андрею Титычу мог жаловаться:

«Крылья у меня ошибены, т. е. обрублены как есть. Уродом сделали, а не человеком. Словно угорелый хожу по земле...

... Что только за жизнь моя!»

Тита Титыча играл Агафонов, тогда уж исключенный из гимназии за «неспособность». Как-то утром, в мое отсутствие он пришел в мою комнату, которую я снимал у мелкого петербургского чиновника. Агафонову нужно было научиться хохотать по-старокупечески. Он хохотал долго, неудержимо, не щадя своих легких и ушей соседей.

Когда я вернулся из гимназии, Агафонова не было. Сильно пахло дымом.

— Ну что, — спросил я у старой попадьи, тещи моего хозяина, — был Агафонов?

— Был, — недовольным голосом ответила попадья.

— Верно, смеялся? — с улыбкой спросил я.

— Смеялся, да так, прости господи, не смешно смеялся. Сидит, зажав голову руками, да орет во все горло: ха-ха, ха-ха. У Василия Ивановича как раз начальник был, важные бумаги разбирали, а он гогочет. Начальник-то и спрашивает: «Что это, у вас, верно, сумасшедший живет? Или, может, издевается над нами?» Позвал меня Василий Иванович и просит угомонить Агафонова. Да как его угомонишь, ошалелого? Затопила я печку, да трубу нарочно не открыла, дым-то и полез ему в глотку. Поперхнулся, закашлялся, схватил шапку в охапку и убег. Теперь вот проветриваю. Ну, и приятели у вас, Владимир Александрович!

Агафонову не давали спать лавры Андреева-Бурлака, игравшего переделанные для сцены «Записки сумасшедшего» Гоголя. Он решил их сыграть в конце одного из наших спектаклей в зале Кононова.

На репетициях он говорил едва слышным шопотом, но обещал, что на спектакле заговорит так, что его всюду будет четко слышно.

Когда он в больничном халате с большим колпаком на голове собирался выйти на сцену, изображавшую больничную палату, я

в последний раз посоветовал ему говорить громко. Поднялся занавес. Я прислушиваюсь, стоя за сценой. Слышу невнятный шопот и шлепанье туфель.

«Провалился», думаю я.

Шопот продолжается томительно долго. Жду протеста публики и недоумеваю, почему в зрительном зале стоит мертвая тишина.

Внезапно раздается крик невыносимой муки. Тревожно шевельнулась зрительная зала. Из глубины сердца вырываются жуткие слова страдальца. Это не сумасшествие, это порыв просветленного сознания, взывающего к помощи любимого и любящего существа.

«Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, как мучат они его! Прижми к груди своей бедного сиротку! Ему нет места на свете! его гонят! Матушка, пожалей о своем больном дитятке!..»

Снова жуткая тишина...

И, наконец, последние, наставительным шопотом сказанные, безнадежно нелепые слова:

«А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»

Занавес опустился. В зале еще минуту царила тишина. Затем раздались бешеные аплодисменты, крики «браво». Агафонова вызывали до десяти раз.

Оказалось, что он необычайно вошел в роль сумасшедшего, так что зрителям, смотря на него, становилось жутко. Жесты и выразительная мимика подвижного лица с лихорадочно горящими глазами действовали сильнее слов. Даже лучше, что не слышно было начала «Записок сумасшедшего», где много придуманного.

О наших спектаклях сделалось известным начальству. Директор Капитон Иванович Смирнов призвал к себе меня, Польнера и Храповицкого и заявил:

— Я слышал, что вы публично выступаете в каких-то спектаклях. Прошу это прекратить. Мы готовим в нашей гимназии государственных мужей, а не актеров. Не забывайте, что через несколько месяцев вы должны получить аттестат зрелости.

Над предупреждением директора мы только посмеялись. Но по окончании гимназии по разным причинам большинство из нас отказалось от театральных упражнений. Один только Польнер, красивый дородный брюнет с шапкой густых, слегка вьющихся черных волос, попытался сделаться настоящим актером и одно время играл на сцене московского Малого театра. Но и он в конце концов променял театр на литературу. Я встречал его статьи и очерки в «Русских Ведомостях».

У меня желание стать заправским актером постепенно уступило место надежде сделаться писателем. Писал очерки в полубеллетристической форме, используя для этого свои охотничьи приключения и наблюдения. Посылать в журналы не решался.

Задумал организовать свой ученический журнал. Уговорил Храповицкого, увлек Агафонова. Название дали скромное: «Ученик». Но

дело поставили широко. Завели гектограф и стали печатать журнал, «нелегальный», конечно, в нескольких десятках экземпляров, завязали связи с другими гимназиями и средними школами.

Для «Ученика» я под влиянием Достоевского написал рассказ о влюбленном юноше с раздвоенной душой.

Рассказ очень заинтересовал Мережковского.

В отделе критики была помещена моя статья о Тургеневе, которого я ставил ниже Достоевского. Толстым я в то время почти совсем не интересовался. Мережковский поместил в «Ученике» одно из первых своих стихотворений.

Елисеев, впоследствии известный петербургский адвокат, дал для «Ученика» рассказ о самоубийстве гимназиста, затравленного тупыми учителями.

Алексей Храповицкий (будущий митрополит Антоний) и его товарищ Борис Глинский (будущий редактор «Исторического Вестника), в то время ученики Пятой гимназии, написали для нашего журнала статьи о Достоевском. Но они не появились в свет, так как на «Ученика» обрушилась карающая рука начальства.

Один из номеров нашего журнала попал в руки Баталина, издателя бульварной черносотенной газетки «Минута». Баталин забил тревогу.

«Коршуны революции, — писал он в «Минуте», — подбираются уже к колыбелям наших детей».

Всполошилось начальство. начались розыски, но довольно долго не могли нас «открыть». Баталин в своей газетке предлагал нам явиться к нему с повинной и назвать имена «подстрекателей».

Любопытно, что одним из подстрекателей он считал автора помещенного у нас стихотворения с призывом оставить отца и мать, чтобы служить народу. Баталин не знал, что это стихотворение незадолго перед тем было напечатано в легальном журнале «Русская Речь». Автор его Боровиковский уже тогда занимал видное положение в судебном ведомстве и вскоре сделался сенатором. Не знал этого и я, думая, что стихотворение написано одним из учеников нашей гимназии.

К Баталину мы, конечно, не пошли. Я его должным образом заклеймил в своем журнале. О том, что делается в редакции «Минуты», мы узнавали от нашего товарища, брат которого состоял сотрудником «Минуты».

Узнали мы, между прочим, что Баталин получает много писем от воспитанников различных учебных заведений по поводу его доноса. В письмах Баталина ругали, а нам выражали сочувствие. Я, как редактор, очень гордился успехом своего журнала.

Наконец, нас открыли, открыли совершенно случайно по вине моей редакторской неосторожности. Один из учеников нашего класса, недавно переведенный к нам из провинции, по фамилии Тамара, передал в редакцию стихотворение Козлова «Киев», выдав его за свое и подписавшись псевдонимом «Арамат» (перевернутое «Тамара»).

Я в ответах редакции заклеймил плагиатора и чтобы больше устыдить его, последнюю букву его псевдонима (т) написал, как заглавную.

Попечитель учебного округа Дмитриев, читая внимательно наш журнал, обратил внимание на этот ответ редакции и вспомнил, что незадолго перед этим один из губернских предводителей дворянства Тамара хлопотал у него о переводе сына во Вторую петербургскую гимназию.

Тамара был подвергнут допросу и всех нас выдал.

Меня, Храповицкого и техника Нефедьева, изготовлявшего для нашего журнала гектограф, арестовали и рассадили по разным классам, где мы и просидели масляничные праздники. Меня хотели исключить, но против этого энергично восстали отец Дмитрий Тихомиров и Кениг.

Агафонов не подвергался даже и отсидке, так как как раз в это время умерла его мать, и я в своих показаниях заявил, что он ушел из редакции после первого же номера и в дальнейшем не принимал никакого участия в нашем преступлении. Я не сказал при этом, что он ушел потому, что я отказался поместить его статью, в которой он предлагал прибегать к террору против наиболее злобных и подлых учителей.

Время тогда было очень тревожное, поэтому пустячный эпизод с нелегальным гимназическим журналом раздулся в целое политическое событие. Потребовалось особое правительственное сообщение, в котором, якобы для успокоения взволнованных родителей, опровергался слух о «коршунах революции», и указывалось, что в «Ученике» не усмотрено было ничего особо опасного.

«Ученик» погиб, но я продолжал писать для себя. Писал и Агафонов. Под впечатлением тогда только что напечатанных «Стихотворений в прозе» Тургенева он написал несколько миниатюр. Мне они чрезвычайно понравились.

Я совершенно забыл множество повестей, рассказов, очерков, статей, которые мне пришлось читать в рукописи, когда я был редактором «Жизни», «Жизни для всех» и других журналов. Я, конечно, имею в виду те несчастливые рукописи, на которых приходилось помечать: «к возврату». Миниатюры или стихотворения в прозе Агафонова я прекрасно помню до сих пор и мог бы их восстановить почти буквально.

Поощряемый моими похвалами, Агафонов понес свои литературные опыты известному писателю Д. В. Григоровичу. Григоровича он выбрал потому, что тот был руководителем школы рисования, в которой он одно время учился.

Рукопись у знаменитого писателя. Начинающий писатель с трепетом ждет решающего дня. Об этом решающем дне Агафонов рассказал мне вполне откровенно и очень картинно.

Величавый старик с пышной серебристой шевелюрой и великолепными седыми бакенбардами вышел к моему приятелю в пестром

шелковом халате и, держа в левой руке свернутую тетрадь, торжественно сказал:

— Молодой человек! Миром правят бог (правая рука подымается кверху, указательный палец показывает на потолок) и труд (рука опускается книзу, указательный палец указывает на пол). У вас нет ни того, ни другого. Возьмите вашу тетрадь. Это не литература.

Агафонов был обижен. И закончив рассказ о встрече с Григоровичем недовольно пробурчал:

— Зачем ему понадобился бог, и кому нужна такая литература, как его «Резинчатый мальчик»? х)

Григорович тогда только что напечатал свой рассказ «Гуттаперчевый мальчик».

Суровый отзыв Григоровича все же сделал свое дело. Агафонов отказался от дальнейших беллетристических опытов. Он нашел свое призвание в ином творчестве, творчестве научном.

Я же всю свою жизнь метался между литературой, наукой и общественно-революционной работой.

х) Кажется — не „Резинчатый ...", а „Резиновый ..."

V. ДОСТОЕВСКИЙ

Литературный вечер осенью 1880 года. — Гоголь, Алексей Толстой, Некрасов и Пушкин в творческом чтении Достоевского. — Глаза Достоевского и глаза Толстого. — Похороны Достоевского. — Пять минут на эшафоте. — Верил ли Достоевский в бога? — Раздвоенная душа. — Лев Толстой о Достоевском. — Кто виноват?

В годы юности (от шестнадцати до восемнадцати лет) из всех писателей сильнее всего будоражил мою мысль и мое чувство Федор Михайлович Достоевский.

В моем читательском творчестве я переживал писательское творчество Достоевского.

Он в это время писал и печатал в «Русском Вестнике» свой последний роман «Братья Карамазовы».

Очередные книжки журнала, по своему направлению мне чуждого и даже враждебного, ожидались мною с каким-то сладостно-тревожным волнением исключительно из-за романа Достоевского.

Казалось, что жизнь Карамазовых и всех лиц, связанных с ними, еще только развертывается, бурлит, поднимается, опускается, рвется и вновь завязывается где-то очень далеко и очень близко, в каком-то неведомом и родном городе.

Об этой жизни оповещает какой-то родной и неведомый летописец душ человеческих, сам не знающий дальнейшего хода событий, не знающий развязки сложных драм и трагедий, заставляющих трепетно биться его обнаженное сердце.

Чем спокойнее была внешняя форма повествования, тем сильнее волновало его содержание. Достоевский не столько овладевал моею душою, сколько будоражил, бунтовал ее, вздымая муки и радости, упования и сомнения, сокрытые в самых глубоких тайниках ее.

В увлечении Достоевским я сходился с Алексеем (Антонием) Храповицким, но воспринимали мы его совершенно различно.

Алексея Храповицкого Достоевский укреплял в христианстве, православии, монашестве, меня он укреплял в атеизме, во мне он зарождал анархизм. Алексей Храповицкий ходил к Достоевскому и подолгу беседовал с ним. Друзья Храповицкого думали, что с него он пишет Алешу Карамазова.

Я не ходил к Достоевскому: мне казалось недопустимой дерзостью беспокоить его. Но я все же видел и слышал его.

Это было осенью 1880 года, в Петербурге, на литературном вечере в зале Кредитного общества.

В этом вечере, устроенном в пользу литературного фонда, участво-

вало много известных литераторов, считавшихся хорошими чтецами. Но я хорошо помню только Достоевского, помню так, что могу в любой момент вызвать в своей душе его образ, его голос, его манеру говорить.

На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причесаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо.

В первую минуту, взглянув на Достоевского, я почему-то вспомнил свою старушку-няню, немного умилился, немного разочаровался. Но только в первую минуту.

Не успел он раскрыть книгу, по которой должен был читать, как я уже почувствовал силу его удивительных глаз, тревожных и взывающих.

Светлые глаза Толстого буравили того, на кого обращались. Темные глаза Достоевского всех звали заглянуть в тайники его раздвоенной, его непримиренной души.

Сначала Достоевский прочел сцену между Чичиковым и Собакевичем из «Мертвых душ» Гоголя. Именно с Гоголя он и должен был начинать. Но лучше бы не с «Мертвых душ», а с «Шинели». Прямо из гоголевской «Шинели» вышел его первый роман «Бедные люди».

Слабый огонек человечности, заложенный Гоголем в душу забитого Акакия Акакиевича, Достоевский раздул в вихрь искр любви, жалости, сорадости и сострадания, рвущихся из души забитого Макара Алексеевича Девушкина.

«Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив». Так начинается первое письмо Девушкина.

«Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя, вас увозят, вы едете! Да теперь лучше бы они сердце из груди моей вырвали, чем вас у меня . . .» Так начинается его последнее письмо.

Девушкин был родной Достоевскому. Но Достоевский мог понять и таких совершенно чуждых ему людей без человеческих чувств, как Чичиков и Собакевич.

Читал Гоголя Достоевский чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актерски.

Думаю, однако, что ни один актер не сумел бы так ярко оттенить внешнюю противоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича при внутреннем единстве на основе тупой корысти.

За Гоголем следовал Алексей Толстой. Достоевский выбрал былину об Илье Муромце.

Раздалось сердитое ворчание обиженного князем мужика-богатыря. И не был ли этот «богатырь» такой же тщедушный с виду и такой же непомерно выносливый и сильный, как читавший о нем каторжанин?

Как-то особенно светло, с просветленным лицом, прочитал он две последние строфы:

...И старик лицом суровым
Просветлел опять.
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой, и земляникой
Пахнет темный бор.

За Алексеем Толстым — Некрасов.

Некрасов стоял в лагере, враждебном Достоевскому, но Достоевский не мог разлюбить Некрасова, как он разлюбил и даже возненавидел Белинского.

Души Некрасова и Достоевского, души раздвоенные, надрывные, неизменно влеклись друг к другу.

Прочел Достоевский одно из первых стихотворений Некрасова, стихотворение его молодости, начинающееся словами:

Когда из мрака заблужденья...

И как прочел!.. Такого чтения я никогда больше не слыхал. В нервной игре бледного лица — страдание и восторженность, голос мягкий, слегка певучий. Слова нежно, молитвенно вырываются из глубины души, из глубины сердца.

Публики нет перед ним. Обращается прямо к страдающей душе, разбуженной «горячим словом убежденья», к душе женщины падшей и в то же время святой. Высоким напряжением любовного чувства преодолевает мучительный надрыв и голосом звенящим, голосом победы зовет притти к нему и «смело», и «свободно».

...В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи,
Скорбя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи к груди.
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди.

Смело и свободно ударил призыв в сердца всех присутствовавших, и не было больше «толпы пустой и лживой...», раскрылись души скорбные и любящие.

От этого призыва новый подъем к «Пророку» Пушкина, гений которого Достоевский воспринимал так чутко и восторженно.

Слушая «Пророка», казалось, что это к Достоевскому на перепутьи русской жизни явился серафим. Его «очей коснулся он» — и «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы».

Его «ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон», и внял Достоевский «неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней розы прозябанье».

У него вырвал он «язык и празднословный и лукавой, и жало

мудрые змеи в уста замерзшие... вложил десницею кровавой».

Ему «он грудь рассек мечом», но,... увидев трепет бедного, страдающего сердца, серафим отказался выполнить последний завет пославшего его бога. Он не вырвал человеческое сердце и выронил из рук пророческий «угль, пылающий огнем».

И пошел по миру не пророк, глаголом жгущий сердца людей, а человек с глазами испуганной орлицы, человек, надрывающийся под тяжестью неизбывного людского горя, человек с рассеченною грудью и обнаженным сердцем.

Через несколько месяцев после этого вечера я шел за гробом Достоевского в торжественной процессии, неся на древке один из многочисленных венков.

Впереди высшее православное духовенство, затем колыхающийся над молодыми обнаженными головами гроб, за ним группа друзей, и среди них вдова в глубоком трауре с детьми покойного, а дальше бесконечной вереницей делегации старых и молодых, больше молодых и совсем юных.

Колышутся венки. Развеваются ленты, черные, белые, красные. Золотые буквы говорят о «Бедных людях», «Униженных и оскорбленных», «Преступлении и наказании», о «Мертвом доме».

Разливаются по морозному воздуху печальные погребальные песни.

Я шел и думал о другой процессии, которая за тридцать три года перед тем шла по тем же улицам, но в обратном направлении, к Семеновскому плацу, где были приготовлены столбы для расстрела.

Думал о тех трагических пяти минутах, которые Достоевский пережил, ожидая казни, тех минутах, когда он не умом, а всем своим существом понял, что этого с человеком делать нельзя.

Об этих минутах Достоевский рассказывает как бы от лица князя Мышкина в романе «Идиот».

«Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые от отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто

же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!» Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж захотелось, чтобы его поскорей застрелили».

Достоевского не расстреляли. После изощренного издевательства на эшафоте «царская милость» заменила ему смертную казнь каторгой в «мертвом доме». Достоевский прожил еще более тридцати лет. Много подъемов и провалов, много душевных надрывов и все время жадная любовь к жизни, переходящая в злобу при мысли, что нет для него вечности, что рано или поздно он превратится в нечто, чуждое и противное ему.

Достоевский не столько мыслью, сколько инстинктом был крайним материалистом. Знаменательно, что князь Мышкин, столь близкий той части существа Достоевского, которая казалась ему идеальной, прямо называет себя материалистом. Об этом рассказывает Ипполит в своем «необходимом объяснении»:

«Когда я заметил ему, что ведь равно умирать что под деревьями, что смотря в окно на мои кирпичи, и что для двух недель нечего там церемониться, то он тотчас же согласился, но зелень и чистый воздух, по его мнению, непременно произведут во мне какую-нибудь физическую перемену, и мое волнение, и мои сны переменятся и, может быть, облегчатся. Я опять заметил ему смеясь, что он говорит, как материалист. Он ответил мне с своею улыбкой, что он и всегда был материалист. Так как он никогда не лжет, то эти слова что-нибудь да означают».

Ничего чисто духовного Достоевский не мог представить себе, не мог осмыслить. Он иногда говорит о загробной жизни, но она так же материальна, как гроб и могила.

«Нам вот все представляется вечность, как идея, которую нельзя понять, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого представьте себе будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки — и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится».

Так говорит Свидригайлов, но то же мог бы сказать и творец его Достоевский.

Половая любовь у Достоевского грубо материалистична. Ее

трудно отличить от ненависти. В ней таится жажда мучить или испытывать мучения, часто и то и другое вместе. Даже юродивый провидец князь Мышкин, целомудренно влюбленный в Настасию Филипповну, не знает, любит ли он ее или ненавидит.

Жестоким сладострастием насекомых Достоевский награждает и мужчин и женщин. Сладострастно жесток не только Дмитрий Карамазов, но и его невеста Катерина Ивановна, чистая, незлобивая, самоотверженная девушка. Эта сладострастная жестокость чувствуется в ее крике в ответ на тонкое, тоже сладострастное оскорбление со стороны Грушеньки.

«Ее нужно плетью, на эшафоте, через палача, при народе! . .»

Еще разительнее эта сладострастная жестокость в желании девочки Лизы Хохлаковой смотреть, как распинают мальчика, и есть в это время свой любимый ананасный компот.

Достоевский думает, что в душе каждого человека таится зародыш сладострастной жестокости.

Воспитанник святого старца Зосимы и сам кандидат в святые Алеша Карамазов сознается своему брату, сладострастнику Дмитрию, что он недалеко ушел от него.

«Все одни и те же ступеньки, — говорит он, — я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тридцатой. Я так смотрю на это дело. Но это все одно и то же. Совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно ступит и на верхнюю».

В жестоко сладострастном окружении, с жестоко сладострастным подпольем души своей Достоевский ищет абсолютное совершенство, ищет бога, чтобы преклониться перед ним, но не находит его. Иван Карамазов спрашивает своего чорта, своего подпольного двойника, есть ли бог, и тот с язвительным сарказмом отвечает:

«Ей богу, не знаю. Вот великое слово сказал».

Шатов, в уста которого Достоевский вкладывает свои любимые мысли, на вопрос Ставрогина, верит ли он в бога, говорит о своей вере в тело христово, во второе пришествие, в то, что это второе пришествие совершится в России, но о вере в бога молчит.

«А в бога, в бога вы верите?» — настойчиво спрашивает Ставрогин.

«В бога я буду верить», — растерянно лепечет Шатов.

Алеша Карамазов, когда Дмитрий называет его монахом, как-то особенно серьезно говорит:

«Какой я монах? Я, может быть, и в бога-то не верю».

Бога нет, значит не может быть и веры в него, значит не может быть и бессмертия, не может быть вечной жизни, не может быть воскресения из мертвых, не может быть чуда.

Все это в представлении Достоевского неразрывно связано между собою, и он теряется, запутывается в противоречиях, когда пытается разорвать эту неразрывную связь.

Легенда о Великом Инквизиторе, которая так глубоко волновала

больших и маленьких людей, начинается с повторения евангельского чуда, воскресения Христом умершей девочки, что не мешает, однако, приписать затем Христу отрицание трех сил: чуда, тайны и авторитета.

Достоевский пытается доказать, что истинное учение Христа открывает людям путь к полной свободе без малейшего принуждения не только физического, но и морального. Истинное учение Христа он отождествляет с православием, которое противопоставляет католичеству, порождению «страшного и умного духа, духа самоуничтожения и небытия», т. е. дьявола. Но это Достоевскому совершенно не удается. Православная церковь, так же как и католическая, так же как и все другие церкви, немыслима без чуда, тайны и авторитета и непримирима со свободой.

Когда читаешь те страницы произведений Достоевского, где он говорит о Христе, то кажется, что он хочет елейностью заменить искренность. Елейность, всегда фальшивую, проще всего убивает насмешка. Даже в годы моей юности, в годы самого сильного увлечения Достоевским мне хотелось посмеяться над тем сладковатым умилением, с каким Достоевский в «Братьях Карамазовых» рассказывает о чуде в Кане Галилейской.

Был у меня знакомый, молодой человек Ольхин, сын владельца известного в то время игрушечного магазина «Забава и дело». Он с поразительным искусством передавал, как заика-семинарист рассказывает своими словами чудо в Кане Галилейской:

Гуляет Иисус Христос с мамашей по Кане Галилейской.

— Мма... ммаша, ввон ппи... ппи... ппитейный ддом. Зз... ззайдемте, я ввам ппо... ппо... кажу ффо... ффо... ффокус.

Так начинался этот юмористический рассказ. Его нужно было слышать, а не читать. Я смеялся до слез.

Кто знает, быть может и сам Достоевский посмеялся бы над этим «фокусом». Он, ведь, всегда носил с собой своего двойника. И кто мог решить, где настоящий Достоевский и где его двойник?

Ясной и убедительной становилась мысль Достоевского, когда он отрешался от всякой мистики и твердо становился на реальную почву. Тогда он убедительно доказывал и показывал, что вера в бога и в бессмертие души не только не помогает братскому единению людей, но мешает ему.

Поразительна по простоте, силе и красоте страница из «Подростка», где Версилов рисует будущее человечество после того, как люди отказались от идеи бога и бессмертия. Я никогда не забывал прочитать ее на своих лекциях о Достоевском и теперь я с особой радостью вношу ее в книгу своих переживаний.

«После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их, великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это

был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее, они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга! Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее, и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть — завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, — но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга, каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

С Достоевским я прожил не только свою юность, но и зрелость и старость, хотя он умер, когда мне было всего шестнадцать лет. Творчески читать и переживать произведения таких авторов, как Достоевский, не значит ли жить с ними?

Я то сближался с ним, то отходил от него, но никогда совсем не покидал. Я то любил его, то ненавидел, иногда одновременно и любил, и ненавидел: ведь я, как и он, человек с раздвоенной душой, с двумя борющимися между собою «я». Бывало страшно за него, как бывало страшно за себя и за человека вообще.

Страшно заглядывать в подполье таких раздвоенных душ, как душа Достоевского. Один из ближайших друзей Достоевского философ и критик Н. Н. Страхов в день похорон Достоевского писал Л. Н. Толстому:

«Чувство ужасной пустоты не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол Петербурга и вымерло пол литературы».

И тот же Страхов, после того как он перечитал произведения Достоевского, познакомился с его перепиской и написал его биографию, дает в письме к Толстому от 28 ноября 1883 года уничтожающую оценку личности автора «Униженных и оскорбленных» и «Преступления и наказания».

«Он был зол, завистлив, развратен и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы его смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен».

И далее:

«Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими».

С такой «оценкой» Достоевского я не могу согласиться. Страхов не понял двойственности натуры Достоевского.

Достоевский был мелочен и мерзок, в то же время велик и благороден.

Страхов пишет Толстому, что воспоминание о Достоевском, которое могло бы быть светлым, только давит его.

Что он «не умеет найти точки примирения» с ним.

Точки примирения с Достоевским Страхов не мог найти потому, что несмотря на то, что написал его биографию, не осмыслил «Бедных людей», радостно и скорбно волновавших Белинского и Некрасова, не осмыслил «Записок из Мертвого дома», подымающих и просветляющих ум и сердце каждого, кто читал и читает и будет читать их творчески.

Толстой сумел осмыслить и личность, и творчество Достоевского.

«Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском», — писал он Страхову в начале февраля 1881 года.

«Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек . . . »

« . . . Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся. И теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг читаю — умер! Опора какая-то отскочила от меня».

Толстой особенно ценил «Записки из Мертвого дома». И, вероятно, не раз задумывался над предпоследними строками этих записок:

«И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уж все сказать, ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это может быть и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. И погибли даром могучие силы, погибли ненормально, безвозвратно, незаконно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?»

Этот вопрос в течение всей моей жизни часто вставал передо мной и все правдивое, все смелое, что было в моей душе, направлялось на борьбу с жестокими условиями, губившими наш даровитый народ.

В мире нет виноватых людей, но много виноватых условий,

и носители их — люди общественно вредные. Борьба с ними необходима и неизбежна.

И кто знает, может быть, наименее вредны узники мертвого дома. Во всяком случае не против них хотел я направить свое оружие — свою мысль и свое чувство, воплощенные в острые и жгучие слова.

VI. ПОРЫВЫ И НАДРЫВЫ

Зарождение полового чувства. — Адель и Андрюша. — Эротический сон. — Стихи и романы. — Заочная детская влюбленность. — Первый любовный поцелуй. — Цинизм товарищей. — Первая любовь. — М. В. Трескина. — Любовь. — Первое опьянение. — Визит Хвостова. — Смерть Марьи Владимировны. — Трагедия моей матери. — Враг. — На пути к убийству. — Смерть матери.

Известный психолог и невропатолог Зигмунд Фрейд утверждает, что у каждого ребенка в возрасте от двух до пяти лет бывает период сексуальности или полового влечения. Эти половые переживания затем совершенно забываются, но следы их остаются в мозговых клетках, остаются в скрытом виде в психике человека и так или иначе влияют на его жизнь, на его судьбу в зрелом возрасте.

Не знаю, были ли у меня такие переживания в возрасте от двух до пяти лет. Согласно учению Фрейда я должен был их забыть.

Углубляясь мыслью в свои детские переживания я вспоминаю, что зародыш чего-то похожего на половое увлечение или влюбленность я ощутил, когда мне было лет шесть или семь. Меня водили в детский сад, где детей развивали и развлекали по фребелевскому методу и заставляли делать легкие гимнастические упражнения.

Помню девочку Адель и мальчика Андрюшу. Вертлявую Адель я сильно не взлюбил, так как она меня постоянно поддразнивала. И я в отместку придумал против нее глупый стишок:

Адель не играет,
А только ногами лягает,
Осла представляет.

С Андрюшей я дружил и почувствовал к нему сильную жалость, когда он после нескольких дней отсутствия пришел в «сад» печальный, с заплаканными глазами и рассказал, что у него умерла мама. Когда его стали расспрашивать о смерти мамы, он начал неудержимо плакать. Руководительница сада, молодая, полная блондинка с большими голубыми глазами, взяла Андрюшу, одетого в черный траурный костюм с широким белым воротником, к себе на колени, гладила его по головке, прижимала к своей груди и шептала тихие, ласковые слова. Андрюша перестал рыдать, но долго еще молча плакал, прижимаясь к груди воспитательницы.

К чувству жалости у меня примешалось что-то вроде зависти. Мне ужасно захотелось, чтобы она (имя ее я не помню) также приласкала меня. Вечером в своей постельке я думал о ней и заснув

увидел, вернее ощутил, что она держит меня в своих объятиях, мы несемся с ней по лазурному пространству где-то высоко, далеко от земли, несемся мимо огромных, холодных звезд. Я дрожу и все крепче, крепче прижимаюсь к теплой, мягкой груди, все существо охватывает сладкая истома и хочется лететь бесконечно все дальше и дальше, звезды сверкают все ярче, и уже не холодом, а теплом веет от них. Затем — провал памяти. Не помню, что сталось с Аделью, Андрюшей и этой трогательно прекрасной девушкой.

В возрасте от восьми до десяти лет у меня ни разу не поднималось чувство, похожее на половую влюбленность. Занятия с Михаилом Егоровичем зажгли во мне совсем другие влечения, как я об этом уже писал.

Потеряв друга-учителя, взятый затем из гимназии Бычкова, я в течение целого года предавался неудержимому чтению всего, что попадало под руку, а под руку попадали, главным образом, стихи и романы.

Про романы стряпчий Харлампий Харлампиевич в «Тяжелых днях» Островского говорит, что «читать их не следует, так как в них любовь человеческая в чрезвычайно привлекательном виде изображается».

Харлампия Харлампиевича я играл в период моего увлечения театром. Фигура он комическая, рассуждения его о вредных книгах так же смехотворны, как и рассуждения о различных смыслах слов.

Но теперь мне кажется, что родителям и воспитателям при выборе книг для чтения детям и подросткам не мешало бы иногда вспоминать слова Харлампия Харлампиевича, несмотря на смехотворность, таящие в себе долю истины.

Романы слишком рано вызвали во мне чрезмерный интерес к чрезмерно привлекательной любви. То же надо сказать и о стихах, воспевающих любовные переживания. Мне подарили книгу Н. Гербеля «Русские поэты». В ней уделено особенно много места любовной лирике.

Эту книгу я читал и перечитывал — и заражался эротизмом. На всю жизнь засело в мою память и в мое чувство стихотворение Щербины «К богине любви», начинающееся словами:

Тебя ожидал уж давно я...

Под влиянием романов и стихов у меня развилась любовная мечтательность. Она нашла себе выход в любовной переписке с гимназисткой Марусей Васильевой, подругой Верочки Рождественской, мамашиной воспитанницы, жившей у нас.

К Верочке Рождественской, с которой я виделся ежедневно, у меня не было ни малейшего влечения. Может быть потому, что она была мне как бы сестрой, а может быть потому, что она была некрасива.

А в Марусю Васильеву я влюбился заочно, не видя ее, по рассказам Верочки. В течение почти двух лет мы переписывались. Пись-

ма с обеих сторон были страстные, уснащенные выписками из стихотворений.

Я мог, конечно, добиться встречи с Марусей, но я боялся этой встречи. Боялся, что действительный образ вытеснит идеал, созданный моим воображением. В конце концов все же встретились.

Она оказалась именно такой, какой я ее представлял. Стройная блондинка с ясными голубыми глазами, с роскошной косой. Смотрел на нее с восхищением, щеки горели, язык прилипал к гортани, и я бормотал что-то невнятное, крепко пожимая ей руку.

Она смотрела на меня с улыбкой и, как я думал, с разочарованием. Мне было стыдно, что я такой маленький, такой незначительный по сравнению с этой красавицей.

После этого нелепого свидания я перестал писать ей любовные письма, но постоянно расспрашивал о ней Верочку. Долго интересовался ее судьбой. Узнал, что еще не кончив гимназии она вышла замуж за молодого моряка Эссена и скоро разошлась с ним.

В моей душе образ Маруси Васильевой был вытеснен взрослой женщиной того же типа, как руководительница детского сада. Летом 1878 года, уже после продажи Петровского и за год до покупки Кемец, наша семья жила на даче в Ульяновке около станции Боровенки. В Ульяновке в то время кроме нас жила еще какая-то многодетная семья. В этой семье служила полубонной, полугувернанткой молодая немка Розалия, высокая, полная блондинка.

Розалию я в первый раз увидел в саду, окруженную ее маленькими питомцами, и мне показалось, что я ее уже раньше видел и любил. Я перед тем читал «Вертера» и «Фауста». Мысленно увлекался Лоттой и Гретхен. Может быть поэтому, а может быть и потому, что в моем бессознательном ожили воспоминания о руководительнице детского сада и о Марусе Васильевой, я мгновенно влюбился в Розалию. Меня охватило сладкое смущение, сердце сильно застучало, в голову бросилась горячая кровь.

Скоро мы познакомились и подружились. Каждый вечер, когда она, уложив детей спать, получала свободу, мы с ней гуляли по проселочной дороге, пролегавшей через лес. Не помню, о чем мы говорили с Розалией, но сохранилось воспоминание о постоянном волнении, томлении без физически выраженного полового влечения.

Как-то Розалия рассказала мне, что накануне на пикнике, устроенном ее хозяевами, она потеряла брошь в виде якоря, которой она страшно дорожила, как памятным и дорогим для нее подарком.

— Если бы кто-нибудь нашел эту брошь и принес ее мне, я бы его прямо расцеловала!

Слова эти ударили меня по сердцу, и я решился сделать все возможное и невозможное, чтобы найти брошь и получить обещанную награду.

Пикник устроен был в нескольких верстах от Ульяновки на лужайке среди леса. Я отправился на эту лужайку верхом на небольшой буланной лошади, предоставленной мне для верховой езды. По

дороге в лес я заехал в придорожный кабачок и спросил у целовальника, не приносили ли ему брошку для продажи или залога. Он ответил отрицательно, но обещал порасспросить крестьян ближайшей деревни, не нашел ли ее кто-нибудь.

Лужайку я всю исползал, но тщетно. В отчаяньи ехал я обратно. Проезжая мимо кабачка, я решил еще раз попросить кабатчика поискать счастливца, нашедшего брошь.

– Не успел я войти в кабак, как со скамьи поднялся подвыпивший мужичок и протянул мне руку, в которой блестел золотой якорь.

— Не эту ли штучку ищете?

— Ее, ее самую! Вот хорошо!

— А сколько дадите?

— А вы сколько хотите?

— Меньше двух рубликов не отдам.

У меня как раз было два рубля. Якорь был в моих руках. Я в карьер помчался домой.

Розалия гуляла с детьми. Я подошел к ней и молча протянул утерянный якорь. Она очень обрадовалась, горячо благодарила, но о поцелуях как будто и забыла. Я объяснил это присутствием детей.

Вечером мы отправились на обычную прогулку, которую я на этот раз ждал с совершенно особенным чувством. Ночь была светлая, лунная. Я шел рядом с Розалией. Сердце учащенно стучало. Молчал.

— Почему вы, Володя, сегодня такой молчаливый, печальный?

— Потому что вы забыли то, что обещали, если я найду брошь.

— Что же я обещала? . Ах, да... Так вот чего ты захотел, мой мальчик!

Она остановилась. Луна, пробиваясь сквозь ветви деревьев, осветила ее лицо... Она улыбалась, и в этой улыбке было что-то и прекрасное, и жуткое.

Я смотрел на нее снизу вверх, я чувствовал тепло ее высокой, вздымающейся груди... Вдруг она наклонилась ко мне и обожгла долгим поцелуем в губы. Голова у меня закружилась, сердце покатилось куда-то в чудную даль...

Больше мы с Розалией не целовались, я как-то даже боялся нового поцелуя, боялся, что он ослабит впечатление от первого.

Но первый и последний поцелуй, в который Розалия, как я теперь думаю, вложила свою страсть к тому, кто ей когда-то подарил якорь, этот поцелуй я долго хранил в своей душе, в своем сердце, как величайшую драгоценность.

Большинство моих товарищей в возрасте четырнадцати лет уже имели половые сношения и цинично рассказывали о них, как о чем-то вполне естественном. Устраивались они в половом отношении по-разному. Наименее прихотливые ходили к проституткам, другие завязывали связи с женской прислугой своих родителей, третьих награждали своей половой благосклонностью балерины, актрисы и замужние дамы из «хорошего общества».

Ранние половые связи страховали юношей и мальчиков от влюбчивости. Половая распущенность обратно пропорциональна половой влюбляемости.

Меня от половой распущенности до известной степени ограждало мое стремление к высокой, чистой и красивой любви. Такую любовь я пережил в начале моей возмужалости в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

В Бологом у своей сестры Машеньки я встретился с очень красивой семнадцатилетней девушкой, Марией Владимировной Трескиной, учившейся в Петербурге в аристократическом Екатерининском институте.

Возвращаясь в институт из имения своей матери, она остановилась на несколько дней у моей сестры.

Мы с ней быстро подружились. Порыва влюбленности не было, но было мне радостно смотреть на ее красивое лицо и слушать, как она легким девичьим голосом рассказывала о своих институтских переживаниях. Она была похожа на раннюю весну, обещающую жаркое, пышное лето, или на раннее утро, подготовляющее знойный полдень.

Из Бологого в Петербург мы поехали вместе. Ставя на верхнюю полку ее чемодан, я довольно сильно поранил палец на левой руке. Небольшой шрам остался до сих пор.

Прошли десятки лет, как умерла Марья Владимировна, а маленький шрам на моей руке не исчез, и нередко, смотря на свою руку, я вспоминаю свои годы любви и молодости, и тогда мне не хочется верить, что прекрасное тело любимой девушки давно истлело. И както обидно, что попрежнему ходят поезда мимо тех же станций и так же будут ходить, когда истлеет и мое старческое тело.

В Окуловке поезд стоял около часа. Мы вышли из вагона и гуляли по сонной станции. Раннее летнее утро. В тихом воздухе чувствуется еще дремота, легкий ветер приносит запах скошенного сена, где-то защелкал запоздалый соловей, защелкал и замолк, испуганный резким свистком локомотива.

Мы идет молча, изредка взглядывая друг на друга, она улыбается как-то грустно. Моя улыбка, вероятно, еще грустнее.

В вагоне в нашем отделении кроме нас никого не было, и Марья Владимировна, усталая от бессонной ночи, склонила голову на мое плечо и задремала. С тихой нежностью смотрел я на нее, боясь пошевельнуться, чтоб не разбудить.

Прощаясь, мы обещали друг другу писать и непременно встретиться следующим летом.

В июле 1882 года Марья Владимировна приехала по моей просьбе в Кемцы. Мы много вместе гуляли, катались верхом. Я устраивал для нее разные празднества. На одном из этих празднеств я поставил живые картины. В одной из них Марья Владимировна изображала Жанну Д'Арк, сжигаемую на костре. Красный бенгальский огонь осветил мрачную фигуру монаха-палача, которого изображал я,

а она со связанными назад руками, с откинутой назад головой стояла бледная, скорбная, прекрасная.

Из Кемец я поехал с Марьей Владимировной в имение, где она жила со своей матерью. Приехали поздно, в доме все уже спали.

Мы проходили через комнаты, освещенные мягким лунным светом. Вдали серебрилось озеро. Она привела меня в свою уютную, свежую комнату, где все было белое и ласковое.

— Спите здесь, на моей постели, — сказала она просто. — Я вам оставила даже свою думку, чтобы вам снились светлые сны. А я лягу на диван у мамы.

Я ответил благодарным взглядом.

Она ушла. Я сидел у ее письменного стола, очарованный — весь чувство, без мысли. Вдруг легкое прикосновение. Оборачиваюсь. Она стоит в белом пеньюаре с распущенными каштановыми волосами, бледная и прекрасная.

Она кладет передо мною маленькую книжку в черном сафьяновом переплете.

— Я принесла вам евангелие. Милый, почитайте его на сон грядущий.

Исчезла, как призрак.

Ее смущало мое неверие.

С каким-то благоговением я лег в ее девичью постель и положил голову на ее милую думку. Никогда раньше я не чувствовал себя таким целомудренным, таким цельным в своей юношеской мудрости, как в эту минуту.

Засыпая, я мысленно повторял слова Фауста:

«Мгновение, прекрасно ты! Остановись!»

На другой день вечером мы стояли у окна и смотрели, как трепетало на озере серебро лунной дороги, уходящей в неведомую даль.

— Хорошо! — сказал я.

— Да, хорошо, — прошептала она и слегка прижалась ко мне.

Я обнял ее за талию и стал осыпать поцелуями прекрасное, бледное лицо, освещенное луной. Сначала она не сопротивлялась, потом вырвалась и убежала в свою комнату. Через несколько минут она вернулась и протянула мне записку. Я развернул ее и прочел:

«Что со мной делается? Вы погубили меня своими поцелуями!»

Я взял ее за руку и сказал:

— Я вас люблю. Я не могу вас погубить. А вы, вы любите?

— Может быть, не знаю, не понимаю . . .

Зимой мы не встречались. Я мог, конечно, ходить в праздничные дни в приемные часы в институт, называясь родственником Марьи Владимировны, но я знал, что ее навещают родные и знакомые, мне совершенно чуждые, и потому, преодолевая желание видеться, довольствовался перепиской, простодушной и безобидной.

Через год, когда Марья Владимировна кончила институт, а я перешел в последний класс постылой гимназии, мы встречались и в Кемцах и в имении ее матери. У матери, рожденной Хвостовой, жившей

отдельно от своего мужа, гостил в то время старший сын Владимир Владимирович. Он был товарищем Сергея Львовича, сына Льва Николаевича Толстого. Они вместе учились в Москве в гимназии Поливанова и сохранили дружеские отношения, поступив в Московский университет.

Владимир Владимирович был своим человеком в доме Толстых. О нем упоминает в своих воспоминаниях племянница Льва Николаевича Марья Сергеевна Толстая. Она называет его очень живым юношей, вносившим много веселья в компанию молодежи, собиравшейся то в доме Льва Николаевича, то в доме его брата Сергея Николаевича.

Мы с Владимиром Владимировичем и его товарищем Смирновым часто вместе ездили и ходили на охоту, но дружеских и даже товарищеских отношений у нас не установилось.

Владимир Владимирович бесцеремонно высмеивал «опрощение» Льва Николаевича и грубо заявлял, что старик просто спятил с ума, и его наверное скоро отдадут под опеку.

Трескин и Смирнов читали порнографические сочинения Де-Сада и Баркова, со смаком рассказывали сальные анекдоты. Политические взгляды этих двух студентов были прямо противоположны моим. Меня охватывала мучительная тоска, когда я замечал, что во время споров Марья Владимировна становится на сторону своего брата и его товарища.

Меня поддерживала старая Трескина, почему-то ко мне очень благоволившая и постоянно повторявшая, что мне предстоит блестящая будущность. Она, видимо, желала, чтобы ее дочь вышла за меня замуж, и даже заговаривала об этом с моей сестрой Машенькой.

Между тем я чувствовал, что Марья Владимировна становится все более холодной по отношению ко мне. Во время одной нашей прогулки верхом я близко подъехал к ней, перегнувшись на седле, обнял за талию и поцеловал. Она посмотрела на меня холодно, почти недружелюбно.

Наступил день решительного объяснения.

— Что вы хотите от меня, Володя? — говорила Марья Владимировна. — Думаете ли вы о нашем будущем? Ведь, если мы любим друг друга, то должны повенчаться. Вы должны стать моим мужем. Но вы, ведь, еще не кончили гимназию. Моя мама говорит, что это пустяки, что через несколько месяцев вы будете студентом, что вы хорошо материально обеспечены, что у вашей матери прекрасное имение. Но все другие говорят совсем иначе. Моему папе известно о том, что вы усиленно ухаживаете за мной, и он считает наш брак совершенным безумием.

Я холодел и молчал, не находя разумных слов для ответа.

— Что же вы молчите? — спросила она раздраженно.

— Вы меня разлюбили . . . Вы меня не любили . . . — пролепетал я.

Вид у меня в это время был, вероятно, жалкий.

Она взглянула на меня печально и ласково:

— Не огорчайтесь, милый! Я всегда буду вспоминать о вас с любовью, но для нас обоих лучше расстаться.

Мы сидели в липовой аллее нашего тенистого парка, где так часто радостно встречались.

В тот же вечер я провожал ее из Кемец до ближайшего полустанка. Я ехал с ней на одноколке, которая у нас называлась таратайкой, на другой таратайке сзади ехал Сережа Образцов, считавший себя безнадежно влюбленным в Марью Владимировну.

Во всю дорогу мы не сказали с Марьей Владимировной ни слова и простились молча, пожав друг другу руки. Сережа Образцов, прощаясь, прильнул к ее руке долгим поцелуем.

На обратном пути меня из глубокого бездумья вывели сильный толчок и острая боль в голове. Я наехал на камень, таратайка вместе с лошадью упала на бок, а меня выбросило на дорогу, и я ударился головой о другой камень.

Это происшествие меня отрезвило, и боль в голове была прямо приятна. С трудом я распряг и поднял задыхавшуюся в хомуте лошадь, а Сережа беспомощно бегал вокруг, хлопал себя по ляжкам и беспрерывно повторял:

— Ах, Володька, Володька, что ты наделал!

Приехал я домой мрачный, взял из буфета большой графин с водкой, всегда готовый для пьющих гостей, и начал вливать в себя рюмку за рюмкой. Голова затуманилась, но на сердце стало легче, как будто кто-то раскрыл кулак, в котором оно было безжалостно сжато.

Я заплакал, но мне казалось, что плачет кто-то другой, нежно оплакивая мою осиротевшую душу.

Года через полтора после этого, когда я был студентом Петербургского университета и жил вместе с Пятницким в холостой квартире на Васильевском острове, ко мне явился молодой человек, одетый по последней моде, и отрекомендовался Хвостовым, дядей Марьи Владимировны Свечиной, рожденной Трескиной.

Он объяснил, что Марья Владимировна вышла замуж за флигель-адъютанта его величества Свечина и живет с мужем в Варшаве. «Ее очень тяготит, — говорил мягко и вкрадчиво Хвостов, — что у вас остались ее письма и ее карточка с какой-то дружеской надписью. Она поручила мне все это взять у вас и уничтожить».

Я несколько минут молчал, смотря не на лицо Хвостова, а на его маленькие ноги, обутые в замшевые ботинки с лакированными носками: они почему-то злили меня. Помню, как еще при первой нашей встрече Марья Владимировна зачем-то рассказала мне о своем дяде, который очень любил ее, но ей бывало как-то неловко, когда он садил ее к себе на колени, заплетал и расплетал ее косы.

— Марье Владимировне следовало, — сказал я сурово, — самой написать мне и попросить вернуть ее письма. Вам же я не намерен их передавать.

— Но тогда мы, быть может, сойдемся с вами на том, что мы пересчитаем вместе письма и вы их сожжете в моем присутствии.

— Я не шантажист, — резко оборвал я Хвостова. — Если Марья Владимировна желает, то письма, конечно, будут немедленно уничтожены, но ваше присутствие, милостивый государь, при этом не требуется. Карточку Марьи Владимировны я хотел бы сохранить, но готов и ее уничтожить, если Марья Владимировна будет на этом настаивать.

— Вполне с вами согласен и вполне вам сочувствую, — сказал Хвостов и, подымаясь со стула, подал мне руку.

Через неделю я получил от него письмо. В нем он сообщал, что Марья Владимировна вполне уверена в моем благородстве и готова оставить мне свою карточку.

О Хвостове я впоследствии часто слышал. Он успешно подымался по бюрократической лестнице и во время империалистической войны был царским министром юстиции. После Октябрьской революции он был, кажется, расстрелян.

Через несколько месяцев после посещения Хвостова я прочел в «Новом Времени» витиевато составленное объявление. В нем сообщалось, что Марья Владимировна Свечина, рожденная Трескина, скончалась на руках неутешных матери и мужа после того, как дала жизнь малютке дочери.

Меня это сообщение жестоко поразило, и я, смотря из окна на потемневшее небо, заплакал, и мне показалось, как и два года тому назад, что кто-то другой, не я, оплакивает мою скорбную любовь.

Лет через пятнадцать после этого, когда я был редактором «Жизни», на адрес редакции пришло для меня письмо от старухи Трескиной. Она, по ее словам, следила за моей литературной и общественной работой. И до сих пор скорбит, что ее незабвенная Маруся не поняла и не оценила меня. Она просила меня ответить, как прошла и проходит моя личная жизнь.

Я ничего не ответил.

Одновременно со скорбью, вызванной разрывом с любимой девушкой, а затем ее смертью, я переживал надрывную муку в связи с тяжелой драмой моей матери.

Мать я любил, несмотря на то, что между нами стояла приживалка Лупандина. Когда мать заболевала, я очень волновался и думал, что лучше мне умереть, чем пережить ее смерть. Мне было обидно, что она подчиняется приживалке и даже боится ее. Но эта обида была иная, чем та невыносимая обида, которую я почувствовал, когда убедился, что мать, освободившись из-под влияния Лупандиной, подпала под несравненно худшее влияние и власть Ровинского.

Ровинский — сорокалетний рослый мужчина с нагло-красивым лицом, бесстыжими глазами и рыжеватыми нафабренными усами, был местным становым приставом, он часто бывал у нас и «по делам службы», и «по знакомству». Мне он был противен, но матери очень нравился, и она предложила ему управление Кемцами, на что он охотно согласился. Полицейскую форму он скинул, но полицейский нрав

сохранил. Вскоре он стал держать себя хозяином. Мать беспрекословно делала все, что он хотел.

Со мной он заигрывал, но у меня в душе росла к нему ненависть. Ровинский единственный человек, которого я действительно ненавидел. Ни к кому другому за всю свою долгую жизнь я не питал чувства, которое можно было бы назвать ненавистью.

Ненависть накоплялась постепенно. Взрыв произошел по ничтожному поводу. Во время обеда я бросил резкую насмешку по адресу полицейских. Ровинский огрызнулся, и через минуту мы стояли друг против друга, сжав кулаки. На лице Ровинского играла наглая усмешка, я дрожал от негодования.

Мы готовы были уже броситься друг на друга, как раздался истерический крик матери, и она грузно грохнулась на пол без чувств. Я наклонился над матерью, а Ровинский, пробормотав какую-то угрозу, ушел. С помощью прислуги я перенес мать в ее спальню, и она постепенно пришла в себя. Через несколько минут в спальню к матери прошмыгнула жена Ровинского, ведьмообразная особа, сухая, маленькая, с крючковатым носом, впалым ртом и загнутым кверху подбородком. Она была лет на пятнадцать старше своего супруга, беспрекословно повиновалась ему и помогала держать в подчинении мою мать.

— Прошу вас оставить мою мать в покое, — обратился я к ней, но она плотно уселась на стул около кровати матери и решительно заявила:

— Аркадий Павлович (так звали Ровинского) приказал мне все время оставаться около вашей матери, и я не уйду.

Бешенство вспыхнуло в моей груди, и я не своим голосом крикнул:

— Вон!

— Вы не смеете на меня кричать, — прошипела Ровинская. — Не забывайте, что я женщина.

— Вы не женщина, а чорт! Вон!

Ровинская не трогалась с места. Тогда я схватил ее за плечи и вышвырнул из спальни матери.

Мать от пережитого волнения заболела. Я сознавал, я чувствовал, что должен во что бы то ни стало освободить мать от власти Ровинского. Но как? Я пошел к нему и сказал:

— Немедленно уезжайте из нашего дома и навсегда оставьте в покое мою мать.

— Ишь какой хозяин нашелся, — усмехнулся Ровинский. — Никуда я не уеду.

— Тогда будем стреляться, — сказал я. — Как хотите, со свидетелями, без свидетелей, на пистолетах, на ружьях, но я не позволю вам издеваться над моей матерью.

Ровинский нагло расхохотался:

— На дуэль?! Это нашими законами строго запрещается. Я на вас донесу, и вас засадят.

— Мерзавец! — крикнул я и в яростном волнении ушел к себе в комнату, где в это время поджидал меня Пятницкий.

Я схватил со стола всегда лежавший у меня старинный револьвер, из которого я учился стрелять в цель. Я побежал во флигель, где жил Ровинский, со жгучим желанием убить его. Но мне преградил дорогу Пятницкий, и после недолгой борьбы вырвал у меня револьвер.

Я ослабел и как мешок опустился на свою постель. Взрыв ярости прошел. Но впоследствии нередко во мне подымался как бы укор совести, что я не убил Ровинского.

Телеграммой я вызвал в Кемцы брата. И Ровинский решил отступить. Он вместе с семьей уехал из Кемец, но предъявил ко взысканию целый ряд дутых векселей, полученных от моей матери за несколько месяцев до нашего столкновения. Он предвидел столкновение и заблаговременно обеспечил себя.

Векселя пришлось оплатить. Мать была совершенно разорена. Кемцы перешли моей невестке Миле, получившей от своего отца, а моего дяди Ивана Федоровича значительное наследство.

Мне всегда было страшно думать о том, какого характера была власть Ровинского над моей матерью. Не хочу думать об этом и теперь. Вспоминаю только, когда после ее выздоровления мы вместе ехали в Петербург, она спросила меня полушопотом:

— Володя, ты меня больше не любишь?

И я не мог тогда сказать:

— Нет, люблю.

Промолчал.

После катастрофы мать прожила еще почти двадцать лет, прожила примиренная и тихая, стараясь не быть никому в тягость.

Известие о ее смерти я получил в Брюсселе, где жил эмигрантом. Немного погрустил, но острого горя не почувствовал. Ни одна слеза не выкатилась из моих глаз.

Теперь в старости через тридцать лет после ее смерти я почему-то часто вижу ее во сне и тогда люблю ее так же, как любил в детстве, с надрывом, с горечью, что кто-то чужой стоит между нами.

VII. КУЛЬТУРНИКИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

На историко-филологическом факультете. — Проф. Минаев. — Увлечение сравнительным языкознанием. — Профессора Ламанский, Ягич, Никитин, Соколов и Замысловский. — М. И. Владиславлев и его измерение силы уважения. — О. Ф. Миллер и его пафос. — Братья Ольденбурги. — Научно-литературное общество. — Водовозов, Смидович и Мякотин. — На юридическом факультете. — Земляческое движение. — М. В. Новорусский. — Изучение народного быта. — Л. И. Ананьина. — П. Я. Шевырев. — Споры о терроре. — А. И. Ульянов. — Добролюбовская демонстрация 17 ноября 1886 года. — Арест М. И. Туган-Барановского. — Тревожная ночь на квартире Ульянова. — 1 марта 1887 года. — Патриотическая речь проф. Андреевского. — В. В. Бартенев. — Первый обыск. — В охранном отделении. — Грессер и Дурново. — Суд над Ульяновым и его товарищами. — Казнь товарищей. — Исключение из университета и высылка. — В военном госпитале. — В. С. Голубев. — Экзамены на кандидата прав. — Диссертация «Малоземелье и крестьянский банк».

Поступая в университет, я колебался между естественным отделением физико-математического факультета, который без колебания выбрал Пятницкий, и историко-филологическим, который без колебаний выбрал Храповицкий.

В конце концов поступил на историко-филологический. Думал заниматься историей и литературой. Но больше всего заинтересовался сравнительным языкознанием.

Курс сравнительного языкознания читал профессор Минаев, ученый с европейским именем. Лицо у него было лошадиное, и читал он запинаясь и задыхаясь, как будто вез на гору тяжелую поклажу. Но лекции его были содержательны. Вопрос о происхождении языка, с которого он их начал, увлекателен. А главное, он побудил меня прочесть работы Гумбольдта, Штейнталя и других известных языковедов.

На историко-филологическом факультете в то время было еще несколько профессоров с громкими именами, но слушать их было скучно.

Профессор южно-славянских языков, Ламанский, напоминал мне гимназического Кургановича: на его лекциях дремали не только немногочисленные слушатели, но и он сам.

Другой профессор славянских языков, Ягич, читал очень бойко, но все же и очень скучно.

Профессор греческой литературы, Никитин, первые свои лекции превратил в уроки греческой грамматики, от которых я бежал без оглядки, вспоминая невыносимую скуку таких же уроков нашего тупого гимназического учителя Давиденкова.

Профессор древней истории, Соколов, закрыв глаза, быстро и однотонно сыпал мелкими фактами, нисколько их не обобщая.

Профессор русской истории, Замысловский, производил впечатление человека тупого, человека в казенном футляре. У него была только одна «своя» идея, которой он, видимо, очень тщеславился: особенности русской истории объясняются тем, что в России всегда было много места и мало людей.

Логику читал профессор Владиславлев. Ожиревший человек с бесформенным обрюзгшим лицом, которому особенно неприятное выражение придавали косые глаза. К нему я, впрочем, относился с особым предубеждением, так как еще до поступления в университет читал о нем в «Вестнике Европы» статью Евг. Утина. Утин клеймил Владиславлева за то, что тот в своем курсе психологии измерял силу уважения, которое вызывает к себе то или другое лицо, величиной его капитала, при чем утверждал, что русский император вызывает к себе чувство благоговения, независимо от всего другого, уже своим огромным капиталом. Несмотря на предубеждение, я все же с интересом слушал его введение в курс логики. Но когда началась сама логика, то я сбежал.

Историю русской литературы читал горбатый Орест Миллер, очень похожий на гнома. Против него у меня тоже было предубеждение, так как я читал статью Добролюбова, в которой была зло высмеяна его магистерская диссертация. Читал он лекции с необычайным жаром, с большим пафосом, но жар был хотя и высокий, но одинаковой температуры, пафос однотонный, и никто из профессоров и ораторов не усыплял меня так быстро, как Орест Миллер. Не проходило и четверти часа, как его маленькая жестикулирующая фигура со сверкающими из-под очков глазами покрывалась туманом, и я должен был усиленно тереть глаза.

Человек Орест Миллер был хороший и справедливо слыл за стойкого защитника студенческих интересов. Главным образом его усилиями были устроены студенческая столовая и касса взаимопомощи. Ему, главным образом, была обязана своим существованием единственная тогда культурная студенческая организация — научно-литературное общество.

Вокруг этого общества группировались культурные силы студенчества всех факультетов. Там можно было встретить братьев Ольденбург, Сергея и Федора, восточника и филолога.

Сергей — коренастый, черноволосый, с яркокрасными щеками, Федор — длинный, сухой и как бы выцветший, но оба живые, хлопотливые, всем интересующиеся.

Там можно было увидеть добродушного, всегда ласково улыбавшегося из-под очков минеролога Вернадского, очень мягкого на вид, но очень упорного в достижении раз поставленной цели.

Мне кажется, что Вернадский, как и Сергей Ольденбург, уже тогда поставили своей задачей сделаться не только профессорами, но и академиками. И сделались.

У Федора Ольденбурга была цель быть хорошим педагогом. И он, окончив университет, много лет был прекрасным руководителем хорошей учительской семинарии в Твери.

На собрании научно-литературного общества читал свои стихи Дмитрий Мережковский, прорывавшийся к литературной славе.

Там же появлялась изредка стройная фигура замкнутого в себе молодого зоолога Александра Ильича Ульянова. У него было продолговатое бледное лицо, задумчивые умные глаза, высокий лоб, обрамленный шапкой черных вьющихся волос.

Не помню хорошенько, но вероятно в научно-литературном обществе принимали участие и три моих коллеги по факультету и курсу, которых я сразу выделил из общей массы: В. В. Водовозов, В. В. Смидович и Мякотин.

Водовозов был небольшой, чрезвычайно подвижной блондин с резкими движениями и с резкими суждениями, очень начитанный и очень самоуверенный.

В. В. Смидович был похож на жизнерадостного птенчика с любознательным носиком и наблюдательными глазками. Казалось, он еще только обрастает перышками и только учится летать. Впоследствии у него выросли крепкие крылья, он, умело использовав свою любознательность и наблюдательность, поднялся на литературные высоты крупным писателем Вересаевым.

Мякотин выделялся своей высокой тощей фигурой с тонкой длинной шеей, на которую, как на палку, была посажена большая голова с длинными мочалистыми волосами. Большие глаза выкатывались из орбит, и выражение лица было такое, что, казалось, его только что вынули из петли. Мякотин, как известно, вырос в известного публициста-народника и сделался одним из столпов «Русского Богатства».

На историко-филологическом факультете я пробыл только год. В 1885 году программа его была коренным образом изменена: история и литература отодвинуты на задний план, а на первый выдвинуты древние языки.

Студентам, недовольным этим изменением, было предоставлено право перейти со второго курса историко-филологического факультета прямо на второй курс юридического факультета. Я воспользовался этим правом и сделался студентом юридического факультета, а Храповицкий перешел на первый курс естественного отделения физико-математического факультета, где он и встретился с Пятницким и Агафоновым, только что поступившим в университет.

Таким образом, лучшие друзья мои были естественниками, и я больше вращался в среде их товарищей, чем среди юристов.

На юридическом факультете было тоже не мало профессоров с большим именем.— Сергеевич, Градовский, Фойницкий, Мартенс и т. д. Но я их слушал еще меньше, чем профессоров историко-филологического факультета.

Учился по книгам, и притом таким, которые отнюдь не рекомендовались тогдашними профессорами.

Увлекался речами Лассаля, изучал Маркса и Энгельса. С большим интересом, но и большим внутренним протестом, читал философско-религиозные произведения Толстого: их в то время нелегально издавал в литографированном виде кружок студентов.

Много времени уходило на общественную работу. Возникло и быстро развилось земляческое движение. Студенты различных высших учебных заведений организовывались в землячества по месту окончания средней школы, что обыкновенно совпадало и с местом рождения.

Основываясь на своем новгородском происхождении, я вошел в новгородское землячество.

Землячества объединялись советом из их делегатов; совет старался установить связи со студенческими организациями в других университетских городах. У каждого члена совета был заместитель или кандидат. Членом совета от нашего землячества был Новорусский, а кандидатом — я.

Михаил Васильевич Новорусский производил с первого взгляда не слишком приятное впечатление. Некрасивое лицо, окаймленное рыжеватой бородкой, было покрыто веснушками, над стальными ободками очков, как бы вдавливавших глаза, наискось приподнимались рыжие брови, что придавало лицу выражение какого-то изумления.

Говорил скороговоркой, как бы делая обязательный и скучный доклад. Движения быстрые и решительные.

Первое неблагоприятное впечатление скоро проходило, и всякий, кто, как я, сближался с Новорусским, начинал высоко ценить его большой ум и разносторонние знания.

Сын бедного псаломщика в каком-то селе Старорусского уезда, Новгородской губернии, Михаил Васильевич попал в Новгородскую семинарию, которую окончил первым учеником и был послан на казенный счет в Петербургскую духовную академию. Ее он также окончил блестяще и был оставлен при академии по кафедре психологии.

Этот кандидат в профессора духовной академии по своему мировоззрению был такой же нигилист и революционер, как и мой учитель Михаил Егорович, тоже происходивший из духовного сословия и тоже окончивший семинарию, но выбравший не духовную академию, а медико-хирургическую.

Надо заметить, что и Новорусский, старательно изучавший философию и богословие, гораздо больше интересовался естествознанием и литературой.

В новгородском землячестве под его руководством образовался кружок для изучения народного быта по произведениям беллетристов-бытовиков — Успенского, Левитова, Златовратского, Сергея Атавы и других. В этом кружке нередко обсуждались и вопросы чисто политические, вопросы о дальнейшей борьбе с гнетущей силой самодержавия.

Собирались мы в духовной академии у Новорусского. На стол он клал рукопись своей диссертации по психологии, чтобы в случае

неожиданного визита объяснить собрание желанием ознакомить друзей со своей научной работой.

Около Новорусского обыкновенно сидела его гражданская жена, или, как ее почему-то называли, невеста, Лидия Ивановна Ананьина. Это была еще совсем юная женщина, лет восемнадцати, не больше.

Из других членов нашего кружка я вспоминаю славного и красивого малого, Троицкого, студента духовной академии, и деловитого студента Военно-медицинской академии Журавлева.

Наиболее интересные знакомства у меня завязались со студентами других землячеств.

Я проник в тонкий слой революционно-настроенного студенчества, Студенты этого слоя не только по воззрениям и настроению, но и по внешнему облику отличались от культурников, руководивших научно-литературным обществом.

Революционеры одевались небрежнее, держались свободнее и посмеивались над корректностью и лойяльностью культурников.

Впрочем, вражды между этими двумя слоями не было, а напротив, между ними происходило нечто в роде осмоза.

В центре революционно-настроенного студенчества стояла несуразная фигура естественника П. Я. Шевырева, перешедшего в Петербургский университет из университета Харьковского.

Вид у Шевырева был болезненный, чахоточный. Осматриваясь кругом ищущим взглядом, он говорил и не договаривал, как бы что-то наиболее важное пряча для себя.

Он выискивал человеческий материал для решительных революционных действий. Обратил внимание и на меня. Часто заходил ко мне и осторожно заводил речь о необходимости пополнить свежими силами поредевшие ряды народовольцев и возобновить террористическую борьбу. Но я был противником террора, и, в конце концов, между нами вспыхнул жаркий спор, в котором, как мне тогда показалось, Шевырев сдал свои позиции. Теперь я думаю, что просто он, наконец, убедился, что я неподходящий материал для террористической деятельности.

Гораздо большее сочувствие встретил он со стороны двух естественников, уже упомянутого Ульянова и Лукашевича, великана с тонким детским голоском.

Александр Ильич Ульянов, сын директора народных училищ в Симбирске, был членом симбирского землячества. Лукашевич, по происхождению литовец, был член землячества виленского.

Оба они очень старательно занимались наукой, и их прочили в профессора.

У А. И. Ульянова, не достигшего еще совершеннолетия, была уже научная работа, за которую он получил золотую медаль. Но научный интерес отступил перед революционным темпераментом и волей, протестующей против произвола над человеческой личностью.

Из других революционно-настроенных студентов вспоминаю Гово-

рухина из донского землячества, Евстифеева, Яковенко и Бартенева.

Особенно нравился мне Виктор Викторович Бартенев, высокий, сгорбленный, черный, с большими добрыми влажными глазами. Постоянно сосет папироску, покашливает и, улыбаясь, тихим грудным голосом говорит просто, искренно и метко.

Стараниями, главным образом, Шевырева из среды революционно настроенного студенчества выделилась народовольческая организация, поставившая своей целью возобновление террора.

Не знаю точно, когда она возникла, но, вероятно, она окончательно оформилась одновременно с демонстрацией 17 ноября 1886 года.

В этот день исполнилось двадцать пять лет со дня смерти критика-революционера Н. А. Добролюбова, который тогда был еще властителем дум революционной молодежи.

Совет землячества решил в этот день устроить нечто в роде массового митинга на Волковом кладбище у «литераторских мостков», где был похоронен Добролюбов.

Мне было поручено сагитировать в этом направлении студентов-юристов. Большого успеха я не имел, даже филологи оказались отзывчивее юристов, и многие из них приняли участие в демонстрации.

Естественники пошли очень дружно и вместе со студентами-технологами составили, так сказать, ядро той многотысячной толпы, которая утром 17 ноября собралась у ворот Волкова кладбища.

Ворота оказались запертыми, и перед ними выстроились в несколько рядов городовые и околоточные под командой частного пристава.

Первые ряды столпившейся перед полицейскими молодежи стали требовать, чтобы полицейские расступились и ворота были открыты. Пристав отвечал решительным отказом.

— Мы хотим отслужить панихиду, — раздались голоса.

— Безобразие! — крикнул какой-то студент деланно-негодующим тоном. — У нас в России не позволяют свободно даже богу молиться!

Тогда один городовой, что называется, не выдержал и укоризненно сказал:

— Ах, господин, господин, вам ли о боге говорить?

Видя безуспешность переговоров, толпа стала напирать на полицейских и придавила их к воротам. Этот довод оказался убедительнее ссылок на право свободно молиться, и пристав, в конце концов, разрешил делегациям, несшим венки, пройти на кладбище и возложить их на могилу Добролюбова.

Но митинга устроить не удалось. Организаторы демонстрации бросили тогда клич: «На Казанскую площадь!»

Казанская площадь еще в 1876 году получила свое революционное крещение, когда на ней был устроен первый в России революционный митинг под лозунгом: «Земля и воля».

Толпа повернулась и хлынула по направлению к Невскому. Когда

мы шли по набережной тогда еще не засыпанной Лиговки, перед нами внезапно выстроился отряд конных казаков с нагайками наготове. В то же время подъехал градоначальник, генерал Грессер, и, окруженный своей полицейской свитой, подошел к нам.

Он стал нас уговаривать спокойно разойтись, обещая, что никто не будет арестован.

Лишь очень немногие послушались этих увещаний. Большинство оставались стойкими и на увещание генерала отвечали резкими репликами.

— Молодой человек, — сказал Грессер, обращаясь к стоявшему впереди всех студенту-технологу, спокойно курившему папироску, — вам бы следовало быть поделикатнее и не пускать мне дым в лицо.

— Если вам мешает мой дым, — отвечал технолог, — то вам следует посторониться, тем более, что мы вас к себе не приглашали.

Раздался одобрительный смех, и толпа двинулась вперед. Грессер побагровел от злости.

В это время из теснившейся толпы случайно выдвинулась высокая, неуклюжая фигура студента-естественника, Михаила Ивановича Туган-Барановского.

Грессер бросил на него гневный взгляд и приказал полицейским арестовать его.

Как теперь вижу не испуганное, а скорее сконфуженное, типично татарское лицо Михаила Ивановича, неуклюже пытавшегося вырваться из цепких рук городовых.

Туган-Барановского повели. Несколько человек молодежи двинулось было чтобы его освободить, но отступили под ударами казацких нагаек.

Михаил Иванович впоследствии говорил мне, что этот арест спас его. Он был немедленно после ареста выслан из Петербурга, и таким образом порвалась его связь с революционным кружком, иначе он наверное принял бы участие в покушении 1 марта 1887 года, и возможно, что его постигла бы трагическая участь Александра Ильича Ульянова.

Грессер уехал, казаки остались. Один отряд стоял впереди толпы, другой — позади, отрезая ей путь к отступлению. С одной стороны были дома с открытыми воротами, откуда выехали спрятанные за ними казаки и куда как бы приглашались демонстранты, но куда они не шли, основательно опасаясь избиения нагайками.

С другой стороны протекала Лиговка, на противоположной набережной которой собралась большая толпа любопытных обывателей.

Мы стояли долго, несколько часов под холодным осенним дождем. Наступали сумерки. Настроение упало. Тогда снова появился Грессер и заявил, что он будет выпускать желающих отправиться домой группами в пятьдесят человек.

Не возражали, но многим было стыдно выходить первыми, поэтому роспуск шел довольно медленно.

Мы с Агафоновым вышли предпоследними, а последнюю группу

человек около пятидесяти Грессер не выпустил, а велел арестовать, и арестованные были высланы из Петербурга.

Среди них не было никого из организаторов демонстрации, которые не считали возможным в данный момент рисковать своей свободой и ушли одними из первых, чтобы готовиться к более решительным действиям.

Подготовлялся террористический акт. Подготовления велись чрезвычайно конспиративно. Организаторы с самого начала были озабочены тем, чтобы не пострадали их товарищи, в террористическую организацию не вовлеченные.

В конце января или в начале февраля 1887 года я в студенческой читальне или в студенческой столовой, не помню хорошенько, подошел к Ульянову, но он как-то странно посмотрел на меня и, не приняв протянутой руки, прошел дальше, как будто был со мною незнаком. Это меня поразило и обидело.

На другой день ко мне зашел Шевырев, я рассказал ему о случившемся и спрашивал, не знает ли он, за что Ульянов решил разорвать со мною установившиеся товарищеские отношения.

— Он мне об этом рассказывал, — усмехаясь, сказал Шевырев. — Он в ваших интересах не хотел демонстрировать свое знакомство с вами перед коротконогим педелем, несомненным сыщиком, который вертелся около вас. Ульянов просил вас в течение ближайших недель не подходить к нему при встречах в университете.

Я, конечно, удовлетворился этим объяснением и не стал допытываться, чем объясняется такая осторожность.

Новорусский, живший в это время в Парголове у матери своей жены, нередко ночевал у меня, когда ему приходилось поздно вечером оставаться в Петербурге.

Как-то раз, когда мы легли спать, и я уже начал дремать, Михаил Васильевич, долго перед тем молчавший, вдруг спросил меня:

— Как вы думаете, сдвинется ли страна с реакционной мертвой точки, если удастся убить Александра III?

Я ответил, что мало верю в спасительность террора, который, помоему, обходится слишком дорого, уничтожая наиболее энергичных, наиболее искренних революционеров, так необходимых для пропаганды и агитации среди рабочих и крестьян.

— Можно обойтись без жертв, если действовать умно и осторожно, — заметил Новорусский, — или, во всяком случае, свести эти жертвы к минимуму.

— Смотрите, не ошибитесь, Михаил Васильевич, — сказал я, догадываясь, что Новорусский вошел в террористическую организацию.

— Может быть, вы и правы, но будем надеяться: бог не выдаст, свинья не съест.

В конце февраля, часов в двенадцать ночи, кто-то тревожно позвонил в нашу квартиру. Вбежала взволнованная Лидия Ивановна Ананьина и сразу, не здороваясь, стала нервно просить меня немед-

ленно отправиться в квартиру Ульянова и узнать, все ли там благополучно.

— Но в чем дело? — спросил я.

— Ничего сказать не могу вам, но идите, идите скорее! Только, смотрите, берегитесь засады!

Ульянов жил недалеко от меня, на Церковной улице, около Тучкова моста.

Подойдя к дому, я остановился в нерешительности. Передо мною стояла трудная задача: узнать, благополучно ли в квартире Ульянова, и, с другой стороны, не нарваться на полицейскую засаду.

Подумав минуту, я пошел к одному из друзей Ульянова Книповичу. Книпович меня успокоил, и тогда уже я поднялся по лестнице до дверей квартиры, где жил Ульянов, и убедился, что тревога Лидии Ивановны была напрасной.

Но в мою душу с тех пор закралось тяжелое предчувствие надвигающейся большой и грозной беды.

Второго марта при входе в университет я встретился с Агафоновым. Он отвел меня в сторону и взволнованным шопотом стал рассказывать подробности неудавшегося покушения на Александра III и его семью.

— Метальщики и сигнальщики арестованы, — говорил он. — Шевырев и Говорухин согласно предварительному соглашению скрылись и, надо надеяться, находятся вне досягаемости.

— А Ульянов, Лукашевич, Новорусский? — спросил я.

— Они пока не арестованы, хотя и не скрываются.

Новорусский должен был у меня ночевать в ночь со второго на третье марта, но он не пришел, и это усилило мою тревогу.

Утром пришел ко мне Троицкий и сообщил об арестах в Парголове Новорусского и обеих Ананьиных. Пришел Агафонов и сообщил, что арестованы Ульянов и Лукашевич.

В университете началась паника. Говорили, что царь приказал закрыть навсегда Петербургский университет, как очаг революции. Для спасения университета ректор, профессор полицейского права Андреевский, человек очень гибкий, с умной лисьей физиономией, решил устроить патриотическую демонстрацию и доказать верноподданнические чувства огромного большинства студентов.

Актовый зал был битком набит студентами-белоподкладочниками, как называли богатеньких студентов, носивших дорогие мундиры на белой атласной подкладке. Это были преимущественно юристы, в обычное время очень редко посещавшие университет, предпочитая обучаться в модных ресторанах и различных увеселительных заведениях. Но теперь они, как один человек, явились спасать свою alma mater.

Я с трудом пробился в двери актового зала в тот момент, когда Андреевский своим звонким голосом выкрикивал:

— Любовь к отечеству неразрывно связана с любовью к государю.

В ответ раздалось несколько резких голосов:

— Неправда, неправда!

Крики эти были заглушены громом рукоплесканий.

Андреевский на минуту, видимо, смутился, и уже менее звонко и решительно стал оправдывать университет, утверждая, что безумцы, замышлявшие страшное злодеяние, не были питомцами Петербургского университета, и пришли в него со стороны.

По окончании речи ректора белоподкладочная толпа запела «Боже, царя храни!» и, подхватив толстого инспектора, прозванного «боровом», начала его качать.

С тягостным чувством вышел я из университета вместе с В. В. Бартеневым. Он еще ниже, чем обыкновенно, свесил свою курчавую черную голову, и лицо его не улыбалось, как обычно.

— Finis academiae, — сказал я.

— Ну, еще посмотрим, — раздался в ответ тихий грудной голос Виктора Викторовича.

В ночь на следующий день я проснулся от звонка и стука во входную дверь. Заспанный голос пожилой женщины, жившей у нас в квартире, спрашивал:

— Кто там?

— Телеграмма, — послышался ответ.

И через минуту в мою комнату и в комнату моей жены ввалилась ватага полицейских и понятых во главе с жандармским офицером и частным приставом.

Начался обыск. Это был первый пережитый мною обыск. И я с особенной остротой почувствовал тогда всю мерзость этого организованного надругательства над человеческой личностью.

Копаются не только в вещах, копаются и в вашем теле, ощупывая его грязными руками, копаются в вашей душе, читая ваши дневники и ваши интимные письма.

Тяжесть этого первого обыска усугублялась тем, что обыскивалась и моя беременная жена. Пережитые ею волнения самым пагубным образом отразились на родах и надолго подорвали ее здоровье.

Обыск продолжался целую ночь, но ничего предосудительного и подозрительного не нашли уж по одному тому, что обыска я ожидал и заблаговременно сжег даже невинную рукопись А. Г. Штанге о необходимости созыва земского собора.

С меня была взята подписка, что к девяти часам утра я явлюсь на Гороховую в охранное отделение.

В приемной охранного отделения я просидел целый день, ломая себе голову, как мне держаться на предстоящем допросе. Говорить или молчать, узнавать ли на карточках товарищей или нет?

Позвали меня в кабинет начальника охранного отделения лишь поздно вечером. В середине комнаты стоял в полной генеральской форме градоначальник Грессер, а за письменным столом сидел какой-то черноволосый штатский с типично-чиновничьей физиономией. Это был, как я потом узнал, директор департамента полиции знаменитый Дурново. Допрашивать меня не стали. Грессер назида-

тельным тоном заявил, что я вращаюсь в плохой компании, но, тем не менее, никто не хочет портить мне карьеру.

— Властям известно, — говорил он, — что вы пользуетесь среди студенчества большим влиянием и от вас до некоторой степени зависит спокойствие в университете. Вас оставляют в университете до первых беспорядков. При их возникновении вы будете немедленно арестованы, исключены из университета и сосланы в далекие края.

Грессер, видимо, увлекался своим красноречием и смотрел, так сказать, поверх моей головы. Но волчьи глаза молчавшего Дурново старательно ощупывали меня.

Грессер, вероятно, ждал, что я что-нибудь отвечу ему на его речь, но я не проронил ни слова. Он взглянул на Дурново, тот мотнул головой.

— Можете итти, вы свободны.

Свобода была нерадостна. Мучила мысль о судьбе арестованных товарищей. Особенно жаль было Ульянова, Новорусского и Л. И. Ананьину.

Судило их особое присутствие сената с участием сословных представителей: предводителя дворянства, городского головы и волостного старшины. Суд происходил при закрытых дверях, но я в общих чертах узнал о том, что делалось в зале суда.

На суде присутствовал известный криминалист, сенатор Н. С. Таганцев, часто бывавший у моего брата. Он рассказывал, что метальщики студенты-донцы Осипанов, Генералов и Андреюшкин, держали себя «вызывающе», не проявляли ни малейшего раскаяния и выражали лишь сожаление, что покушение не удалось.

Сигнальщик Канчер трусил, каялся и на предварительном допросе, несомненно, выдавал.

Новорусский решительно отвергал свою виновность, уверял, что он о подготовке террористического акта не подозревал и даже говорил о своих верноподданнических чувствах. Это запирательство производило, по словам Таганцева, на судей очень неблагоприятное впечатление, чем и объясняется, что Новорусского не включили в число лиц, для которых суд испрашивал у государя замену смертной казни бессрочной каторгой. Особенно озлился на Новорусского волостной старшина, заявлявший, по словам Таганцева, что Новорусский «сам сатана», а остальные подсудимые лишь «бесенята».

В действительности Новорусский принимал лишь косвенное и отдаленное участие в приготовлении к покушению. В сущности, он лишь сочувствовал подготовляемому убийству царя и формально мог быть обвинен лишь за недоносительство.

Ульянов в своих показаниях всеми силами старался выгородить и Новорусского, и Лукашевича, не останавливаясь при этом перед усилением своей виновности. Он смотрел на судей, как на врагов, и пощады от них не ждал. Но и на врагов произвела сильное впечатление его смелая речь.

Характерный эпизод: когда обвинитель, обер-прокурор Неклюдов,

в молодости участвовавший в студенческих волнениях и сидевший в Петропавловской крепости, спросил Ульянова, что могло побудить его, серьезно занимавшегося наукой, кандидата в профессора, пойти на такое страшное преступление, Ульянов отвечал:

— Пусть господин обер-прокурор вспомнит свою молодость, вспомнит то, что привело его в Петропавловскую крепость, тогда он, может быть, сам ответит на поставленный вопрос.

Неклюдов, говорят, побледнел, растерялся и некоторое время не мог попасть в надлежащий для обер-прокурора тон.

Подсудимых, насколько я помню, было пятнадцать человек. Почти все были приговорены к смертной казни. Но для некоторых суд испрашивал замену смертной казни другими наказаниями в порядке высочайшей милости. Безусловно к смертной казни были приговорены: Шевырев, Ульянов, Андреюшкин, Генералов, Осипанов, Новорусский и Лукашевич.

В университетских кругах рассказывали тогда, что о помиловании Ульянова хлопотал профессор государственного права А. Д. Градовский, выражавший желание взять его на поруки с ручательством превратить юного революционера в серьезного ученого.

Когда приговор был представлен на усмотрение Александра III, он особое внимание обратил на Новорусского и, пригласив Победоносцева, раздраженно сказал ему:

— Хорошие порядки в вашей духовной академии, если кандидат в профессора ее делается зачинщиком такого страшного злодеяния. Остальные мальчишки и, наверное, действовали под его влиянием.

Победоносцев в некотором замешательстве ответил:

— Нет никаких доказательств, чтобы Новорусский был зачинщиком. И вообще обвинение его основано на косвенных и довольно шатких уликах.

— В таком случае нельзя его вешать!

И заменил Новорусскому смертную казнь бессрочной каторгой.

Об этом эпизоде рассказывал мне мой зять, профессор Иван Иванович Боргман, который, как я уже писал, преподавал физику детям Александра III.

Восьмого мая были казнены Шевырев, Ульянов, Осипанов, Генералов и Андреюшкин. Говорят, держались они очень мужественно, братски расцеловались и пошли к виселице с криком:

— Да здравствует народная воля!

«Помилованные» Лукашевич и Новорусский были на долгие годы заперты в Шлиссельбургскую крепость.

Учебный год в университете закончился без студенческих волнений.

Я перешел на последний курс. Летом в Кемцах через полицию мне было сообщено, что я исключен из университета без права поступления в другой университет, и мне запрещено жительство в столицах и во всех университетских городах.

Я остался на зиму в Кемцах. Осенью подзубривал университетские

курсы, перечитывал русских классиков, но главным образом охотился.

Зимой меня, как и всех других исключенных студентов, привлекли к отбыванию воинской повинности. Врачи освободили меня вследствие моей сильной близорукости. Но местный предводитель дворянства, председательствовавший в Валдайском воинском присутствии, непременно захотел забрить крамольника, и я был отправлен в Новгород в какой-то новгородский полк. Но здесь меня, как слишком близорукого, не приняли и положили на испытание в военный госпиталь.

В военном госпитале я пробыл около двух недель, пока не решили окончательно, что я годен только в ополчение.

Пребывание в госпитале дало мне много новых впечатлений, я сдружился с лежавшими там солдатами, и действительно больными, и симулянтами. Выслушивал их бытовые рассказы о деревенской и солдатской жизни и совершенно свободно делился с ними своими знаниями и своими мечтами.

В университетах, между тем, начались студенческие волнения. Я с большим удовольствием читал письма из Петербурга Храповицкого и Агафонова, которые красочно описывали эти волнения.

Особенно мне понравился рассказ Храповицкого, как один наш приятель в ответ на патетическую речь студента-юриста Гурьева, призывавшего студентов к спокойствию и подчинению справедливым требованиям властей, плюнул в его бесстыжие лойяльные глаза. Тот утерся и замолчал.

Впоследствии Гурьев сделался чиновником особых поручений при Витте и писал для него доклады.

Крамольных студентов высылали из Петербурга. Два моих товарища, Тимофеев и Василий Семенович Голубев, были высланы в Новгород и отыскали меня в военном госпитале.

Маленький, черненький Голубев, похожий на жука, был одним из первых студентов-пропагандистов среди петербургских рабочих. До Новгорода я знал его мало, но в Новгороде оценил и полюбил его настоящим образом. Впоследствии Голубев сильно подался вправо, но симпатии мои к нему не ослабевали до самой его смерти.

Мы часто с ним вспоминали, как я в новгородском госпитале читал ему и нескольким солдатам «Дон-Карлоса» Шиллера.

Весной 1888 года я получил разрешение на въезд в Петербург. Разрешение мне выхлопотал Агафонов через известную либеральную великосветскую даму баронессу Варвару Ивановну Икскуль, которая флиртовала с директором департамента полиции Дурново и в то же время покровительствовала молодым революционерам.

Приехав в Петербург, я начал сдавать экзамены при университете на кандидата прав. В течение двух месяцев я сдал экзамены по всем предметам юридического факультета, в том числе и по всевозможным правам: гражданским, уголовным, международным, полицейским и т. д.

По всем предметам я получил высшую отметку (пять) и убе-

дился, что курс юридических наук, на который полагается четыре года, можно пройти в несколько месяцев. Зубрил я, правда, отчаянно. Напрягал свою память до последних пределов и, в конце-концов, довел себя до галлюцинаций.

Одна галлюцинация, впрочем, мне очень помогла. Чрезвычайно усталый после нескольких бессонных ночей, я должен был сдавать уголовное судопроизводство у очень требовательного профессора Фойницкого.

Вытащил билет, на котором были поставлены статьи уголовного судопроизводства, которые я должен был комментировать. Смотрю — и ничего не помню. Проходит несколько мучительных минут. Молчу я, молчит и Фойницкий, ядовито усмехаясь.

И вдруг перед моими глазами раскрывается толстый том курса уголовного судопроизводства, и как раз на том месте, где говорится о статьях моего билета. Я начинаю читать, кончаю, книга исчезает.

Фойницкий ставит мне пять и говорит:

— Вы прекрасно ответили, почему же вы так долго собирались с силами?

Я ничего не ответил, лишь устало улыбнулся.

Экзаменоваться большей частью приходилось вместе с выпускниками-студентами, большинство которых проскакивало при помощи жульнических комбинаций. Когда я пришел экзаменоваться у профессора гражданского права Дювернуа, ко мне подскочил какой-то юркий субъект и спросил:

— Вы какой билет будете отвечать?

— Как какой? Тот, который я вытащу.

— Так нельзя, у нас все билеты распределены. Каждый отвечает свой билет. Вытаскивая билет, безразлично какой, он тотчас бросает его обратно, а профессору называет тот, который он выбрал и хорошо выучил. Дювернуа никогда не проверяет билетов.

Я решительно отказался поддерживать эту комбинацию. Ко мне присоединилось еще несколько совестливых студентов. Нас осыпали всевозможным оскорблениями, но мы оказались стойкими.

Когда Дювернуа явился, представители организованного студенчества потребовали, чтобы он отдельно экзаменовал лиц, внесенных в составленный студентами список, а затем уже нас, одиночек.

Дювернуа согласился, большинство студентов отвечали свои билеты.

На экзамене по учению о наказаниях профессор Фойницкий, зачем-то выходя на время из экзаменационного зала, обратился к экзаменующимся с такими приблизительно словами:

— Я оставляю на столе билеты, уверенный, что никто из вас не станет их подсматривать или делать на них какие-нибудь значки. Вы не гимназисты. Через несколько месяцев многие из вас будут уже судебными деятелями.

Но не успела исчезнуть за дверьми фигура Фойницкого, как несколько десятков кандидатов в судебные деятели бросились к экза-

менационному столу и стали орудовать с билетами. Осторожный профессор, вернувшись, принес программу с иным распределением билетов, и многих постигло жестокое разочарование.

По окончании экзаменов мне пришлось выбирать тему для кандидатской диссертации. Наиболее живые темы, как это ни странно, относились к полицейскому праву. Полицейское право делилось на полицию безопасности и полицию благосостояния. В программу полиции благосостояния входили профессиональные рабочие союзы, кооперативы, меры борьбы с пауперизмом, малоземельем и т. д.

Полицию благосостояния читал бездарный и беспринципный профессор Ведров. Скрепя сердце, пошел к нему, так как требовалось предварительное одобрение темы.

Заявил, что я хочу писать историю профессиональных союзов в Западной Европе. Ведров поморщился:

— Скользкая тема. Я попросил бы вас выбрать что-нибудь другое.

Я выбрал: «Малоземелье и крестьянский банк». На эту тему Ведров согласился.

Работой я увлекался. Отец моего друга, Саши Храповицкого, Павел Павлович, снабдил меня обширным материалом по деятельности крестьянского банка, дал мне возможность использовать неопубликованные доклады и обследования.

Использовал я и все имевшиеся в Публичной библиотеке материалы по земельной статистике. Усиленно работал целый год, и в результате получилась солидная работа с хорошо обоснованными выводами, которые, правда, очень не понравились Павлу Павловичу Храповицкому, стоявшему во главе крестьянского банка.

Цифры и факты непреложно доказывали, что крестьянский банк никакой помощи действительно малоземельному крестьянству не оказывает, а лишь усиливает мощь деревенских богатеев и ускоряет расслоение деревни.

Припоминая теперь свою работу, я думаю, что она заслуживала напечатания и была не хуже иных, не только магистерских, но и докторских диссертаций, представлявших нередко жалкую компиляцию. Но мою работу постигла печальная участь. Являюсь со своим фолиантом к Ведрову.

— Боже, какую массу вы написали! Для чего это? У меня нет времени все это читать.

И даже не раскрыв рукописи, сделал на ней пометку: «Удовлетворительно. Принята. Ведров».

Обиженный и возмущенный, я отправился со своей рукописью в университетскую канцелярию, сдал ее в университетский архив и оформил право на получение кандидатского диплома.

Впоследствии, по просьбе Агафонова, я взял ее из архива и передал ее какому-то товарищу Агафонова, который использовал ее для какой-то своей работы, а затем, по его словам, затерял.

Меня тогда не интересовали уже более ни земельная статистика, ни крестьянский банк. Я весь отдался естествознанию и медицине.

VIII. В ТРЕВОГЕ

Увлечение певицею Ван-Занд. — Пьяная ночь. — Борьба с половым влечением. — Супруги Дороватовские. — Саша. — Решение жениться. — Н. А. Рейтлингер. — У постели больной невесты. — На Хаджибейском лимане. — Первая ссора. — Тревожная ночь. — В одесской гостинице. — В хохлацкой хатке. — Страшная болезнь. — Борьба со смертью. — Рождение Лели. — Н. Г. Вернадская. — В борьбе за жизнь ребенка. — Отъезд за границу.

После разрыва с Марьей Владимировной я думал, что никогда никого больше не полюблю. Но это была юношеская наивность. С несчастной любви к Марье Владимировне лишь началось многообразие моего любовного опыта, давшего мне много горя, много страданий, мало радостей и мало наслаждений.

В 1884—85 году в Петербурге в Итальянской опере выступала Ван-Занд, о которой я уже упоминал раньше. Ею увлекались и старые, и молодые. Увлекся и я. Чудный голос, красота, молодость давали ей возможность легко перевоплощаться в Лакме, Миньону, Джульетту, Гретхен. Радостно и властно посылала она в зрительный зал волны ласки, страсти, любви, побеждала и влюбляла, оставаясь свободной и неприступной. Власть ее голоса, власть ее красоты я особенно сильно почувствовал на концерте, когда стоял совсем близко от нее. Мне казалось, что наши взгляды сливаются, что она поет исключительно для меня и что меня она хочет подчинить своей чарующей власти.

Все мое существо охватило сладостно жгучее чувство, такое же, как при страстном поцелуе Розалии.

Хотелось с ней познакомиться, и я послал ей телеграмму, но по глупому стеснению не от себя, а от группы студентов, желающих лично поблагодарить ее за радость, доставляемую ее пением. Она ответила приглашением притти к ней в Европейскую гостиницу.

Со мной пошли Агафонов, Храповицкий и Сережа Образцов. Она вышла к нам со своей матерью, толстой женщиной, похожей на базарную торговку. И сама Ван-Занд показалась мне совсем иной, чем на сцене и на эстраде. Не властительница, не воплощение любовной страсти, а хорошенькая барышня с завитушками на лбу.

Разговаривали по-французски, обмениваясь пустыми, шаблонными фразами.

Было досадно и стыдно.

От Ван-Занд с Агафоновым и Храповицким я поехал домой. У меня была небольшая квартира рядом с квартирой родителей Хра-

повицкого. Видя мое унылое подавленное настроение, товарищи решили меня развеселить и устроить товарищескую выпивку. Храповицкий принес из дому какую-то «дубовку», от нее дух захватывало, а тело наливалось огнем.

Я, не пивший со времени памятной ночи после прощания с Марьей Владимировной, быстро опьянел. Захмелели и товарищи. Начались откровенные разговоры. Я знал, что Агафонов давно уже пошел на соглашение со своей половой похотью, поэтому его исповедь меня не поразила. Но Храповицкого я считал невинным, вполне целомудренным юношей, и потому, несмотря на опьянение, был поражен, когда он рассказал, что «живет» с кухаркой своих родителей. Кухарка эта была исключительно безобразна.

«Дубовка» продолжала делать свое дело. Пол колебался, стол с бутылками качался, физиономии товарищей куда-то уплыли и расплылись, их невнятные голоса доносились откуда-то издали.

Хотя и смутно, я все же понимал, что говорят они обо мне, что я гублю себя своим воздержанием, что мужчине на двадцать втором году нельзя обходиться без женщин.

Яснее других долетели слова Агафонова:

— Надо беднягу Володьку просветить, а то совсем одуреет. Пойду, приведу девочек.

Хлопнула выходная дверь. Агафонов ушел, но скоро вернулся. Вернулся один, без «девочек». Зимний воздух освежил его, и он, верно, понял, что меня прежде всего нужно отрезвить.

Я лежал на полу с распростертыми руками, и странно, хорошо помню, что на мне была белая вышитая рубашка с расстегнутым воротом. На другой день я чувствовал себя отвратительно. С тех пор я никогда больше не напивался и постепенно перестал пить даже виноградные вина и пиво, хотя их хорошие сорта доставляли мне немалое вкусовое удовольствие.

Бороться с половым влечением в тогдашней моей бытовой обстановке становилось все трудней. К тому же со всех сторон я слышал советы сблизиться с какой-нибудь женщиной, которая за деньги или «по склонности» готова удовлетворять половую потребность молодого мужчины, не связывая его никакими обязательствами. Даже и мой брат давал мне советы в том же направлении.

Впоследствии, когда я получил медицинское образование и в некоторых своих лекциях стал затрагивать половой вопрос, ко мне многие из молодежи устно и письменно обращались с вопросом, вредно ли половое воздержание после наступления половой зрелости в двадцать лет и старше?

Я отвечал, что все зависит от наследственных задатков, воспитания, бытовых условий. В большинстве случаев половое воздержание для молодых людей вредно, когда их начинает усиленно тяготить половое вожделение. Но искать освобождения от полового влечения сближениями с женщинами, вынужденными продавать себя, еще вреднее.

Не говоря уже об опасности заражения той или другой венерической болезнью, половые сближения без любви понижают человеческую личность и уменьшают возможность и способность серьезной и стойкой любви.

Вскоре после пьяной ночи я был чрезвычайно близок к тому, чтобы освободиться от тягости полового влечения сближением с замужней женщиной.

К счастью, этого не случилось. Половой вопрос разрешился для меня иным, более правильным путем. Я познакомился с восемнадцатилетней москвичкой Сашей, приехавшей из Москвы в Петербург в гости к своей старшей сестре Елене Ивановне Дороватовской.

Саша была миловидная шатенка с большими правдивыми темнокарими глазами, очень скромная, доверчивая и немного наивная.

Происходила она из бедной семьи московских ремесленников и не имела даже определенной фамилии. Отец ее, бывший питомец воспитательного дома, не знал, кто были его родители, и называл себя то Степановым, то Ивановым. Не умел он ни читать, ни писать, неграмотной была и его жена, старушка с печальными глазами и скорбными складками вокруг рта. Воплощенная доброта.

Саша окончила только начальную городскую школу, затем выдержала экзамен на сельскую учительницу. Много читала. Любимым ее поэтом был Некрасов, большинство стихотворений которого она знала наизусть. Была у ней милая привычка в одном и том же предложении путать «ты» и «вы». С большим уважением она относилась к своему зятю Сергею Павловичу Дороватовскому.

Высокий, стройный, с правильными чертами лица, с аккуратно подстриженной темнорусой бородой, в темных очках, приправлявший внушительную речь ядовитыми насмешками, Сергей Павлович должен был, конечно, импонировать простодушной девушке. В ранней молодости он ездил добровольцем в сербскую армию, затем принимал какое-то участие в революционной работе, читал нелегальную литературу, гордился, что был лично знаком с Германом Лопатиным.

Жена его Елена Ивановна, окончившая акушерские курсы, почему-то всегда говорила вполголоса с тихой иронией. Ее приятное лицо несколько портили слишком выдвинутые вперед зубы.

Жили Дороватовские, когда я с ними познакомился, на Казанской улице, где у Дороватовского была ювелирная мастерская.

К Дороватовским я в первый раз пошел вместе с Храповицким и по его просьбе. Храповицкий, увидевший как-то Сашу на концерте Ван-Занд, начал за ней усиленно ухаживать, не предполагая, однако, жениться. Мне Саша нравилась, но я не думал, что она может меня полюбить. Во всяком случае я не старался ей понравиться и был удивлен, когда заметил, что она явно предпочитает меня Храповицкому.

Влюбленности, страстности не было ни у меня, ни у нее, но зато были зачатки настоящей любви, и они быстро развивались. Осознали мы нашу любовь во время моей болезни. Я заболел легкой формой брюшного тифа. Саша приходила и ухаживала за мной.



Саша (1886 год)

По выздоровлении я совершенно просто и вполне сознательно предложил ей стать моей женой. Она так же просто и вполне сознательно на это согласилась.

Саша сообщила о нашем решении Дороватовским, я — брату, сестрам и невестке Миле. Дороватовские были очень довольны, но мои родные считали решение так рано жениться на какой-то «случайной» девушке без образования, без приданого, без заработка шагом безрассудным. Их отрицательное отношение обострилось, когда они узнали, что я обещал Сергею Павловичу Дороватовскому дать в долг значительную часть оставленного мне отцом капитала для покупки имения, о чем он мечтал, желая сделаться образцовым хозяином.

Дороватовский продал ювелирную мастерскую, но почему-то не сразу стал искать подходящее имение, а уехал в Одессу, где вместе с одним приятелем взял в аренду Хаджибейский лиман. Саша осталась на моем попечении.

— Милый, — спрашивала она меня, — ты для меня все, ты мне дороже всего мира, ты, ведь, не разлюбишь меня? Ты никогда не оставишь меня?

— Не оставлю, родная, — отвечал я, целуя ее маленькую, худенькую руку.

Я нанял для Саши маленькую комнату на той же линии Васильевского острова, где у одной немки снимал меблированную комнату и я.

Вскоре после переезда в эту комнату Саша заболела очень тяжелой формой возвратного тифа. В больницу мне ее перевозить не хотелось, думал, что я лучше отстою ее от смерти, лично ухаживая за ней. Мне в заботах о больной помогали товарищи. С особой признательностью вспоминаю Николая Александровича Рейтлингера, белобрысого студента-юриста, очень нервного. Лицо его постоянно передергивалось, в горле что-то хныкало.

Рейтлингер, сын заслуженного генерала, вращался в первый год своей университетской жизни среди белоподкладочников и сам был белоподкладочником. Но, познакомясь с «культурниками», он перешел на их сторону, а подружившись со мной, начал склоняться даже на сторону «революционеров».

Наш курс был последним, студенты которого не обязаны были носить формы, введенной в 1884 году.

Как белоподкладочник, Рейтлингер заказал себе сюртук с воротником, шитым золотом, завел шпагу и вообще выглядел щеголем, но, перейдя в стан «культурников», он сбросил мундир и начал одеваться демократически.

Агафонов, отставший от меня на год, должен был носить форменную одежду, но у него не было средств, чтобы купить форменное пальто. Узнав об этом, Рейтлингер умолял меня, чтобы я взял у него и мундир, и пальто для передачи Агафонову. Агафонов согласился взять пальто, потому что становилось холодно, но одел только раз и вернул мне для передачи Рейтлингеру.

— Не могу, — говорил Агафонов, — ходить в таком щегольском пальто. Оно меня заражает своим противным барством.

Саше становилось с каждым днем хуже. Памятна одна особенно тревожная ночь. Усталый, я лег на пол около ее постели и задремал. Через несколько минут очнулся. Вижу, что Саша приподнялась на руках. Из-под распущенных каштановых волос белеет обнажившаяся грудь. Глаза лихорадочно горят. Запекшиеся губы шепчут:

— Володя, мальчик мой милый, как я люблю тебя!

Лечил Сашу доктор Штанге, хороший врач и прекрасный человек. Денег от меня он ни за что не брал, хотя ходил к больной по два раза в сутки. Он настоял, чтобы я свез Сашу в Еленинский клинический институт, где благодаря его ходатайству ей дали отдельную комнату.

Через месяц она вышла из больницы бледная, исхудалая до прозрачности. Любимая и любящая.

У меня начались экзамены, приходилось много заниматься. Саша в сопровождении Богдановского уехала в Одессу к Дороватовским.

По окончании экзаменов приехал в Одессу и я. Повенчались мы в деревенской церкви недалеко от Хаджибейского лимана. Шафером у Саши был Дороватовский, у меня Богдановский. Должен сознаться, что, несмотря на неверие, обряд венчания, именуемый таинством, показался мне на этот раз если не значительным, то трогательным.

Вечером остались вдвоем в отведенной нам комнате. С тревогой и смущением я ожидал того неизвестного мне, того таинственного, что должно было произойти между мной и Сашей.

Саша села ко мне на колени, обняла меня за шею рукой и крепко поцеловала.

— Милый мой, — говорила она, — я знаю, что мы будем очень, очень счастливы. Только почему ты так часто бываешь хмурым? Я замечаю, что у тебя лежит что-то на сердце против моего зятя. Это ты напрасно. Он прекрасный человек, и без него мы бы никогда с тобой не встретились. И ты исполни свое обещание, дай ему денег на покупку имения.

Упоминание о деньгах меня раздосадовало. Я пережил столько неприятностей из-за этих проклятых денег, и под влиянием разговоров не только с родными, но и с товарищами я стал думать, что Дороватовскому не следовало просить их у меня.

Свою мысль я высказал Саше в резкой форме, она обиделась. Это была наша первая ссора. Я сидел хмурый, а Саша ушла в большой темный парк при Хаджибейском лимане.

Долго не возвращалась. Пошел искать ее. У входа в парк столкнулся с ней. Она шаталась и была в забытьи. Упала без чувств в мои объятия.

Снес ее на руках в нашу комнату и положил на постель. Позвал Дороватовских. Они пришли встревоженные. Саша медленно стала приходить в сознание.

Дороватовский, недружелюбно посмотрев на меня своими темными

очками, стал на колени перед лежащей в постели Сашей и начал горячо целовать ее руки.

На вопрос, что случилось, Саша тихо и прерывисто рассказала, что в темной аллее парка на нее напали двое, ударом кулака по голове ее оглушили, и она упала без чувств. Вероятно, падая, она громко крикнула, и хулиганы, не тронув ее более, убежали.

Через несколько дней после этой кошмарной ночи мы с Сашей переехали в одну из одесских гостинниц. Там мы, наконец, сблизились как муж и жена.

Это сближение Саша приняла просто и радостно.

— Милый ты мой мужка, — говорила она мне, лаская меня.

У меня же было чувство разочарования и неудовлетворенности. Возможно оттого, что хорошее повышенное настроение было подорвано у меня оргией, устроенной морскими офицерами в большом соседнем номере.

Дикий хохот, женский визг, брянчанье пианино, хлопанье пробок откупориваемых бутылок — все это терзало меня, опошляло мои любовные переживания. Я вызывал гостиничную прислугу, требуя прекращения безобразия, но швейцар, номерной и горничная пожимали плечами и говорили, что раз господа офицеры веселятся, никто не посмеет их останавливать.

Одесская гостинница не подходящее место для целомудренной ночи любви.

Лето мы провели в хохлацкой хатке в деревне Гулевке близ прославленных Гоголем Решетиловки и Диканьки. Я агитировал среди местных крестьян, стараясь доказать им преимущество народоправства и социализма перед самодержавием и капитализмом, но успеха не имел. Наш хозяин, крестьянин-бедняк, после нескольких бесед со мной, попросил меня, чтобы я устроил его сынишку мальчиком в торговлю богатого купца.

По его словам, я «дюже добре розмовляя» про горькое житье хлебороба и богатое житье купца. Вот ему и хочется, чтобы сынишка купцом сделался.

Уже в Гулевке Саша начала болеть. В Петербурге пришлось обратиться к врачу. Пошли к женщине-врачу. Она определила какую-то сложную женскую болезнь, уложила Сашу в постель, усиленно лечила и собиралась сделать операцию. У меня появилось к ней недоверие.

Пригласил известного гинеколога Хрщиновича. Оказалось, что женщина-врач беременность приняла за женскую болезнь.

Беременность протекала чрезвычайно тяжело. Рвота и мучительная головная боль. Я терзался. То, что вызвало такие страдания, стало казаться мне преступным. Во второй половине беременности Саша пережила сильное потрясение в связи с произведенным у нас обыском и отправкой меня в охранное отделение.

С тревогой ждал я родов.

— Подите к Александре Ивановне, — сказала мне пожилая женщина Наталья, жившая у нас. — Ей что-то худо.

Я отбросил «Курс статистики» и побежал в спальню. Саша лежала, тяжело дыша. Рот был открыт. В глазах с расширенными зрачками — ужас.

— Что с тобой?

Молчит.

— Что с тобой?!

Молчит.

Вдруг хриплый стон, и все тело забилось в судорогах. Свалилась на пол и там бьется. Лицо посинело. Из искривленного рта — пена и кровь. Это был первый припадок страшной болезни беременных — эклампсии.

Припадки в течение двух суток повторялись более тридцати раз. Все время Сашу держали под неполным наркозом, и она бессознательно надрывным голосом звала «маму, маму, маму...».

Акушер Личкус, которого я с трудом упросил притти к нам и мольбами удерживал, потерял надежду на спасение и послал меня к Хрщиновичу.

Поздно вечером я ехал со Ждановки, где мы жили, на Кирочную. Весь путь вырисовывается в моей памяти. Старая скорбь оживает.

Хрщинович сначала не хотел ехать, но мои слезы в конце концов его тронули, и он не только поехал, но и старался утешить меня:
— Не огорчайтесь, дорогой. Вы еще так молоды. Вдовцом долго не останетесь. Скоро вновь женитесь, новое счастье найдете.

Такое «утешение» раздирало мою душу. Мысль не только о женитьбе, но и просто о жизни в случае смерти Саши представлялась мне дикой.

Когда Хрщинович приехал, Саша уж была спасена. Личкус наложил щипцы и вытащил ребенка. Ребенок был мертвый, его убил наркоз.

Первый ребенок, первый сын умер в утробе матери. Но мать спасена. Измученный Личкус ушел. Остались мы с акушеркой, умной и опытной.

К Саше медленно возвращалось сознание. Прислушиваюсь к мерному дыханию. Но... что это? Дыханье остановилось. Беру руку — пульса нет, рука холодеет. Припадаю головой к груди — сердце не бьется.

Акушерка хватает руки Саши, поднимает, раздвигает, опускает и прижимает их к груди, вызывает искусственное дыхание. Что-то по приказу акушерки делаю и я, но почти бессознательно.

Несколько минут борьбы за жизнь. Наконец — слабый вздох, и сердце начинает тихо биться.

Саша поправлялась медленно.

После пережитой смертельной тревоги меня страшила мысль о возобновлении любовных сближений с Сашей. Я боялся, что они снова могут принести не жизнь, а смерть. Но инстинкт сильнее рассудка и может быть ближе к разуму, чем холодная расчетливость.

Через несколько месяцев Саша забеременела. Беременность она

прожила в Петербурге под наблюдением опытного врача, вдали от меня, исключенного из университета и высланного на родину в Кемцы.

Ко времени родов Саши я приехал в Петербург. Роды прошли сравнительно благополучно.

Родилась девочка. Мы ее назвали Еленой не столько в честь старшей сестры Саши, сколько в честь героини тургеневского романа «Накануне».

Саша не могла сама кормить, пришлось посадить девочку на рожок, и она постоянно болела. Невыносимо жалко малюток, когда они жалобно кричат от мучительных болей в кишечнике и ничем не можешь им помочь. Родные и знакомые советовали взять кормилицу, но моя общественная совесть протестовала против этого.

В наших бедах горячее участие принимали «культурники» и их семьи. Жена В. И. Вернадского Наталья Георгиевна, молодая, болезненная женщина с добрыми лучистыми глазами, напоминавшая мне Марию Болконскую из «Войны и мира», прислала к нам доктора Аргутинского. Он учился медицине в немецких университетах и был превосходным детским врачом.

Аргутинский определенно заявил, что наша девочка не выживет, если мы не возьмем кормилицу. Смерть маленькой Лели была бы, может быть, смертельным ударом и для Саши, у которой сразу вспыхнуло могучее материнское чувство.

Я в конце концов согласился взять кормилицу, но только такую, у которой умер свой ребенок.

Через полтора года после рождения Лели я один уехал за границу, с намерением изучать медицину в Париже.

X. В ЮБИЛЕЙНОЙ ФРАНЦИИ

Выбор профессии. — Париж в 1889 году. — На выставке и в рабочих кварталах. — Митинг. — Луиза Мишель. — Юноша-анархист. — Д. Д. Протопопов. — Пешком по Франции. — В Сент-Этьенне. — Оружейники. — Углекопы. — Взрыв в копях. — Суд в подземелье. — Виенна. — По Савойе. — В монастыре. — На вершине Гран-Сома. — Восторженный аббат. — На Женевском озере. — Снова в Париже. — Историческая избирательная борьба. — Буланже, Рошфор и Дюмэ. — Лесситарэ. — Флокэ, Пасси и Клемансо. — В Медицинской школе. — Французское студенчество. — М. А. Островская. — М. А. Шателен. — Прощание с Парижем.

Мысль об изучении медицины зародилась у меня, когда я сидел у постели тяжело больной жены, которую, как мне казалось, врачебное знание и врачебное искусство отстояли от смерти. Мысль эта окрепла, когда передо мной, получившим диплом кандидата прав, стал вопрос: что же дальше?

Быть чиновником, простым или судейским, адвокатом, профессором? Разве все это возможно без того, чтобы не кривить душой, не порабощаться, не приспособляться к подлости?

Врач, казалось мне, может быть свободным, независимым, может жить со спокойной совестью и радостным сознанием, что он приносит пользу, что он смягчает страдания, прогоняет слезы отчаяния.

И разве можно считать себя образованным в конце XIX века, не изучив основ естествознания? Медицина — надстройка над естествознанием, она предполагает его изучение.

Но не поздно ли садиться за учебу, можно ли просуществовать с семьей без заработка в течение еще полдесятка лет, когда от отцовского наследства, отчасти прожитого, отчасти розданного, остались жалкие крохи?

И где учиться? В Военно-медицинскую академию или в русские университеты «исключенного» и «неблагонадежного» не пустят, хотя он и кандидат прав. Ехать за границу? Заманчиво, ужасно заманчиво! Но хватит ли на это средств? Как быть с языком? Ведь ни одного иностранного языка я не знаю в совершенстве.

Родные и друзья отговаривали меня, но эти отговоры лишь подстрекали мое желание. И я поехал. Поехал без семьи. Куда?

Разумеется, в Париж. Ведь в 1889 году он праздновал столетнюю годовщину Великой французской революции. Ведь в нем еще живы были воспоминания о коммуне.

Изучать медицину в городе революции — какое счастье!

Не для изучения медицины, а для заграничного путешествия присоединился ко мне мой товарищ по университету Дмитрий Дмитриевич

Протопопов. Высокий мужчина монгольского типа, с китайскими глазами и толстыми негритянскими губами. Человек спокойный, решительный и обладающий для путешествия драгоценной и редкой особенностью — превосходным знанием почти всех европейских языков и умением чрезвычайно быстро усваивать местные диалекты или наречия.

В Париже была всемирная выставка. В Париж стекались праздные люди со всех концов мира.

Париж сначала оглушил нас своим шумом, ослепил своею мишурой, обидел, да, именно обидел пошлостью своих бесчисленных увеселений со старомодным канканом и новомодной «пляской живота» на первом плане. Но это было лишь первое впечатление.

Когда мы побывали в рабочих кварталах, когда мы прислушались к речам на рабочих митингах, то мы почувствовали, что Париж в гораздо большей степени город труда и борьбы, чем город разврата и веселья.

Врезался в память митинг, на котором выступала знаменитая коммунарка и анархистка Луиза Мишель, недавно вернувшаяся из ссылки.

Митинг был созван в одном из рабочих предместий по поводу катастрофы в Сент-Этьеннских копях, когда погибло двести шестнадцать углекопов.

С самого начала на митинге столкнулись различные политические течения и завязалась шумная схватка с аплодисментами и свистом между социалистами и буланжистами (сторонниками генерала Буланже, подготовлявшего военную диктатуру).

Дело уже близилось к потасовке, как вдруг кто-то крикнул, что приехала Луиза Мишель.

Все стихает. Слышно, как муха пролетает. Через почтительно расступившуюся толпу мелкими шагами проходит к эстраде высокая пожилая женщина в черной кружевной наколке на голове, в черном гладком платье, похожем на капот.

Слегка поклонившись председателю, немедленно предоставившему ей слово, она становится на краю эстрады и с улыбкой окидывает взглядом залу, по которой пробегает рокот аплодисментов. Никакого сходства с тенденциозным портретом!

В этой простой, скромной одежде, с руками, сложенными вместе, пальцы в пальцы, и непринужденно опущенными вниз, с ласковой улыбкой на истомленном, но еще полном жизни лице, она напоминала какую-нибудь русскую барыню-помещицу, крестьянскую «благодетельницу».

И она заговорила душевным, мягким, слегка поющим голосом, чрезвычайно похожим на чарующий голос Сарры Бернар, и говорила просто, задушевно, «жалея», как «мать с детьми».

«Добрые рабочие, у парижан теперь так много дела, так много забот: им нужно подниматься на башню Эйфеля, смотреть «светящиеся водопады», есть и пить за десятерых на «конгрессных бан-

кетах», где же им думать о таких пустяках, как взрыв в копях, убивший более двухсот человек? .. Да и правда, не пустяки ли это? Не гибнут ли ежедневно и здесь, в блестящем Париже, и всюду в очаровательной Франции от недоедания, от непосильной работы тысячи вас, бедных рабочих, ваших жен, а главное, ваших детей, которых вы, по словам ученых, так неразумно производите на свет...

«Ах, добрые друзья, когда же вы, наконец, поймете истину, когда же вы перестанете вертеться, как белка в колесе, надеясь то на Бонапарта, то на Гамбетту, то на Флокэ, то, наконец... — она приостановилась, — на Буланже...».

По зале пробежала волна, в которой слышались удивление, порицание, одобрение.

«Менять людей — спокойно продолжала Луиза Мишель, — и оставлять старый социальный порядок — это все равно, что класть пластырь на деревянную ногу. Добрые рабочие, надо в корне изменить весь порядок вещей, и тогда только... — и яркими красками она рисует картину анархической свободы».

Раздался сухой, долго несмолкавший треск рукоплесканий.

На эстраду быстро вбегает долговязый юноша лет восемнадцати-девятнадцати, с длинными руками, неуклюже высовывающимися из коротких рукавов коричневой куртки... На длинной тонкой шее сидит круглая безусая голова с жесткими волосами «петухом». Глаза лихорадочно блестят. В руках он мнет тетрадку.

Смешно вертясь из стороны в сторону, заглядывая в тетрадку, заикаясь, начал он что-то нескладное, какие-то бессвязные, громкие слова.

В зале — хохот, крики «довольно», «рано еще тебе» и т. д.

Юноша было растерялся, но, взглянув на сидевшую сзади и одобрительно улыбавшуюся Луизу Мишель, вдруг «вдохновился» и, закрыв тетрадку, начал импровизировать.

Бледный, с трясущейся нижней челюстью, нервно взмахивая руками, визгливым голосом проповедывал он убийство, поджог, взрывы.

«Довольно слов, пора к делу, пора взорвать всех этих эксплоататоров! Убивать, жечь, взрывать! Лучше вместе с ними взлететь в чистый воздух, чем гибнуть, копаясь в душной земле, собирая сокровища кровопийцам!»

Собрание слушало сначала молча, как бы удивленно, затем раздались отдельные, негодующие голоса, и многие из тех, которые горячо аплодировали Луизе Мишель, вдруг вскипели негодованием против этого безусого юноши.

«Молчи, — кричали они, — у тебя еще молоко не обсохло на губах, а ты хочешь пить кровь!»

«Тебе еще учиться надо, рано выскочил» и т. д.

Но юноша не унимался.

«Я молод, — кричал он, — но во мне бьется неробкое сердце... Свободы, свободы хочет оно!» — И он ударял своей длинной костлявой рукой в чахоточную впалую грудь.

Раздались аплодисменты, но возросло и негодование «умеренных». Несколько человек вскочили на эстраду и старались стащить с нее оратора, но он упирался, и на помощь ему протискивались ярые анархисты. Глухо пронеслись в воздухе страшные ругательства, визгливые крики и удары палками.

Видно посиневшее лицо юноши, которого чья-то мускулистая рука давит за горло, заставляя замолчать.

А Луиза Мишель сидит неподвижно, все в той же спокойной позе, но на лице ее уже нет улыбки.

Маленький председатель куда-то юркнул и скрылся, два же его могучих сотоварища пустили в ход кулаки и разнимают дерущихся. В конце концов их энергия увенчивается успехом. Бойцы расходятся, разглаживаясь и отдуваясь.

Председатель вновь появляется и спешит закрыть собрание. Слышен звон бросаемых на металлическую тарелку денег... Начался сбор в пользу «сэнт-этьеннцев», и «пятаки» одинаково бросают социалисты, буланжисты и анархисты...

Отчасти под влиянием этого митинга, мы решили пойти в Сент-Этьен, расположенный в нескольких сотнях километров к югу от Парижа.

Пошли мы пешком, сначала по берегу Луары, а затем по берегу Роны.

В Сент-Этьенне к нам присоединился Г. Г. Старицкий, молодой, корректный человек, хорошо знавший, что он сын важного сановника, члена Государственного совета.

Сент-Этьенн — одновременно центр угольной и оружейной промышленности. И здесь можно было убедиться, как неоднороден рабочий класс.

Труд оружейников несравнительно легче и осмысленнее труда углекопов, а заработок их значительно больше.

Мы видели в Сент-Этьенне два уклада жизни, два быта: оружейный и углекопный. Иной внешний облик, иные привычки, иная домашняя обстановка, иные увеселения, иные кабачки и трактиры.

Нас больше интересовала жизнь углекопов. Мы прежде всего постарались увидеть тов. Дюпре, единственного углекопа, оставшегося в живых из двухсот семнадцати человек, работавших в шахте, где произошла катастрофа, о которой говорили на парижском митинге.

Дюпре встретил нас очень любезно. Это был человек неопределенных лет, невысокого роста, страшно изможденный, с лицом южного типа, с большим прямым носом, круглыми глазами и сжатым лбом. Правая рука его была на перевязи, лицо отчасти обожжено и все испещрено мелкими черными рубчиками.

Он охотно согласился пойти с нами в ближайший кабачок, чтобы за стаканом вина рассказать нам все известное ему о катастрофе.

— Я, — рассказывал он, — шел с двумя лошадьми недалеко от отверстия подъемного колодца, как до меня донесся оглушительный грохот и в то же время кругом вспыхнуло пламя... Я лишился чувств...

Когда я очнулся, я почувствовал страшную тяжесть на себе, рука ныла, внутри что-то нестерпимо жгло. Было совершенно темно. Понемногу я стал соображать, что произошел взрыв «grisou» (шахтенный газ), что лошади были убиты и упали на меня, чему я, вероятно, обязан своим спасением... С трудом освободился я от трупов лошадей. Около меня кто-то слабо стонал; я стал шарить кругом рукой и попал во что-то теплое, слизкое, мягкое... Это было сваренное мясо моего товарища, отпадавшее кусками... Меня нашли первым и вытащили на свежий воздух.

— Ну, что же, вам тотчас была оказана помощь? Я думаю, доктор компании ухаживал за вами изо всех сил? — спросил я.

— Ничуть. Доктор компании был у меня всего один раз, и то уже на четвертый день после катастрофы. Первой помощью я обязан г. Динону, вольнопрактикующему врачу, который и до сих пор лечит меня безвозмездно. Никто из компании ни разу не посетил меня. Они злятся, что я не молчу о причине несчастья.

— Какая же причина?

— Пороховой взрыв, произведенный по приказанию инженеров.

— Но ведь это же безумно!

— Что выгодно, то не безумно: «grisou» ведь далеко не всегда в копях, к тому же жизнь углекопа ценится не слишком высоко, — заметил один из рабочих, сидевших за другим столиком.

— Но пенсию вы получаете? — спросили мы Дюпре.

— Да, обычную цифру — один франк в день, но что же сделаешь с одним франком, имея на плечах семью, здесь в Сент-Этьенне, где жизнь значительно дороже, чем в Париже. И прежде было тяжело; трудно было жить на четыре франка восемьдесят сантимов, которые я зарабатывал, а теперь совершенно невозможно... И что я теперь могу делать с поврежденной рукой, совсем больной: внутри у меня все что-то жжет, я не могу есть ничего твердого...

— Давно вы работаете на копях?

— С детства, двадцать семь лет. И мой дед, и мой отец были углекопы. Оба убиты к копях «Sorette». Это у нас, как у большинства углекопов, наследственное занятие.

В это время к нам подошли несколько человек рабочих и присоединились к нашему разговору. У подошедших были чрезвычайно умные и энергичные лица; не было и следа той узости, той покорности судьбе, которыми запечатлены лица у большинства углекопов. Они, оказалось, недолгое время работали в копях и при первой возможности бросили эту тяжелую и худо оплачиваемую работу, сделавшись оружейниками. Они нам очень толково рассказали условия жизни своих бывших собратьев.

Жизнь южных углекопов значительно отличается от жизни северных (департаментов Nord и Pas-de-Calais), описанной Золя в его «Жерминале».

Работают на юге исключительно мужчины; женщины никогда не спускаются в шахты. Они занимаются домашними работами и

возятся с детьми. Большинство углекопов женаты и сравнительно с другими рабочими (не говоря уже о богатых людях) многосемейны, бывает пять-шесть человек детей. О той половой распущенности, которую так расписывает Золя, нет и речи: по крайней мере, с кем бы мы ни говорили, все уверяли нас, что распутство составляет редкое исключение. Умственное развитие углекопов очень низко, отчасти оттого, что все более способные рвутся вон из темных шахт, но главным образом оттого, что думать и читать некогда. «Компания не дает думать», — заметил один из рабочих. В несколько праздничных часов не до книг: хочется полежать на траве, погреться на солнышке, которое приходится видеть так редко.

Нам очень хотелось побывать в самих копях и посмотреть на работу углекопов. Мы обратились за советом в местную социалистическую газету. Там нам сказали, что добиться пропуска в шахты, особенно теперь, после катастрофы, совершенно невозможно.

Но мы были настойчивы, мы были русские, а русские во Франции были тогда в большой моде. Один из нас (Старицкий) выглядел настоящим джентльменом, назывался в паспорте каким-то чином, громко звучавшим по-французски, — и невозможное сделалось возможным.

С запиской главного управляющего мы отправились к одному из инженеров. Инженер, дебелый, рыжеватый мужчина, похожий более на немца, чем на француза, встретил нас очень нелюбезно. Он начал ставить различные препятствия, но мы были настойчивы, так как знали, что просьба главного управляющего равна приказанию.

На другое утро, в костюмах рабочих — в синих блузах и панталонах, с круглыми черными войлочными шляпами на головах и с длинными предохранительными лампами в руках, тесно прижавшись друг к другу, стоим на площадке подъемной машины.

Вот что-то звякнуло вверху, и мы помчались книзу.

Странное ощущение охватило меня. Я почувствовал, что потерял почву под ногами и лечу куда-то в пропасть. Ощущение очень сходное с тем, которое иногда испытываешь во сне, когда кажется, что неудержимо валишься с постели. В ушах поднялся страшный шум от сильного давления воздуха. Холодная сырость проникала чуть не до костей. Перед глазами рябила желтоватая мокрая стена.

Сильное сотрясение... И площадка остановилась у верхней галереи, мы перешли на другую, еще более неудобную и узкую площадку и понеслись еще глубже... Через несколько минут мы были на глубине пятисот метров под землею. Пожимаясь от неприятной сырости, сошли мы на мокрую землю...

Нас встретил надсмотрщик и зажег наши предохранительные лампы. Непривычный глаз с трудом различал довольно высокую темную галерею, казавшуюся глубокой пещерой. Слышно было, как повсюду журчала пробивавшаяся вода; вдали что-то глухо, неопределенно грохотало. Надсмотрщик пошел впереди, за ним инженер, затем двинулись уже и мы. Видны были лишь тусклые огоньки ламп...

Сначала было итти довольно удобно; но вот мы повернули в сторону, вошли в какую-то дверь, которая с шумом захлопнулась за нами, и очутились в низкой, узкой галерее со склизким полом. Здесь приходилось итти, сильно согнувшись, чтобы не разбить голову о треснувшие и свесившиеся балки boisage'а, и каждую минуту сторониться, чтобы не быть раздавленными точками с углем.

На одном повороте инженер остановился и попросил нас подождать, пока он произведет маленькое следствие. Из его разговора с надсмотрщиком мы поняли, что на этом месте вчера расшиб себе голову о верхнюю балку один из рабочих, ехавший на тачке, что по правилам строго запрещено. Инженеру нужно было констатировать тот факт, что рабочий, действительно, ехал на тачке, — значит, расшибся по своей вине, а следовательно, ни он сам, ни его семья не имеют права требовать от компании пенсии. Начался допрос. Надсмотрщик выкликал по фамилиям рабочих-свидетелей. В полуосвещенном несколькими лампами пространстве одна за другой появлялись почти нагие, черные фигуры углекопов.

Все утверждали, что увидели разбившегося рабочего уже тогда, когда он был отнесен на тачке в сторону, и потому не в состоянии сказать, расшибся ли он находясь на тачке или нет.

Наконец, появился тот рабочий, который первый нашел несчастного и по его положению мог легко судить, шел ли тот рядом с тачкой или ехал на ней. Но рабочий не хотел выдавать товарища и отказывался давать какие бы-то ни было показания.

Этот маленький, худощавый, голый человек нехотя, как бы лениво вошел в освещенное пространство и злобно сверкнул своими белками, выдававшимися на черном фоне лица.

— Скажите, что вы видели? — спросил инженер.

Молчание.

— Какого вы мнения об этом происшествии?

Молчание.

— Ну, что же? Есть у вас собственное мнение на этот счет?

— Разумеется.

— Я не спрашиваю вас, как произошел этот случай, я хочу только знать ваше мнение.

— Я не скажу его, — проговорил глухо рабочий.

— Ну, в таком случае я прогоняю вас; вот и все!

Рабочий потупился, видимо, в колебании. Наступило гробовое молчание. Где-то невдалеке журчала пробивавшаяся струйка воды, кузнечик, этот добровольный товарищ углекопа, чирикал свою однообразную песенку; издали несся глухой, неопределенный подземный грохот отдаленных работ... Мы сидели на тачке, тесно прижавшись, не смотря друг на друга, но хорошо понимая, что творится в душе у каждого. Тускло горели длинные лампы в наших руках. Легкий шорох высыпавшейся из boisage'а угольной пыли заставлял нас нервно вздрагивать. Так продолжалось несколько минут.

Наконец, инженер прервал молчание, вызвав громким голосом

нового свидетеля. Этот рабочий, поклонившись инженеру, заявил, что разбившийся углекоп несомненно ехал на тачке, как об этом ему сказал запирающийся теперь свидетель.

— Вы сказали это? — обратился инженер к запиравшемуся.

Бедняга отвернулся, промолчал еще минуту и затем вдруг закричал нервным голосом:

— Да, да, я сказал.

Добившись «нужного» показания, инженер поднялся с места. Мы двинулись за ним. До сих пор мы шли по старым, уже истощенным галереям, теперь вошли в новые, где производилась ломка угля. Здесь было еще ниже и уже, температура сильно повысилась. Инженер говорил, что было «около» тридцати градусов по Цельсию, но мне кажется, значительно больше.

Здесь впервые мы увидели работающих углекопов: почти нагие, черные, как негры, одни из них, стоя на коленях, отбивали кирками уголь, другие тотчас клали его в тачки; некоторые, поджав ноги, сидели на земле и ели хлеб. Со злобой вскидывали они свои белые глаза на инженера и на нас; изредка перекидывались односложными словами, в голосе слышалось утомление, расслабленность.

Инженер, до допроса надутый и молчаливый, сделался теперь значительно любезнее и начал давать кое-какие разъяснения.

Он показал нам, между прочим, подземную конюшню, где в каком-то оцепенении стояло несколько лошадей. Одна из них, венгерка, по словам инженера, живет под землею уже двадцать лет и до сих пор работает.

Мы выразили свое удивление, как может животное так долго жить в таких неблагоприятных условиях.

— Чем же здесь неблагоприятные условия? — спросил не без наивности инженер.

— Да хотя бы полный мрак, — ответил один из нас.

— О, это, напротив, очень полезно, например, для глаз. Яркий солнечный свет чрезвычайно вреден. Недаром же в Сахаре развиваются разные глазные болезни. Вообще в обществе существует чрезвычайно преувеличенное понятие о вредности работы углекопов. Сравните ее с работой при ртутном и многих металлургических производствах, наконец с работой наборщиков в типографиях, — и вы увидите, что все эти отрасли несравненно вреднее.

— Но нельзя отрицать, — заметил мой приятель, — что работа в каменноугольнях представляет непосредственной опасности для жизни больше, чем какая-нибудь другая.

— Пожалуй, — отвечал инженер, — но смерть в копях одна из приятнейших: она наступает неожиданно и покончивает с человеком моментально. Это и при обвалах, когда рабочий задыхается от массы поднявшейся угольной пыли, и при взрывах «grisou». Большая часть piqueur'ов, погибших при последней катастрофе, не успели даже выпустить из рук кирок, а многие так и застыли, подняв руки кверху, готовясь отбить кусок угля.

— Также и материальное положение углекопов очень плохо, — не унимался мой приятель.
— Ну, этого не говорите, — отвечал инженер. — Знаете, что углекоп несравненно больший процент своего заработка тратит на удовольствия, чем, например, я? А как хорошо обеспечивается его семья в случае его гибели?! Женщинам, овдовевшим вследствие последнего несчастья, компания положила по тысяче двести франков ежегодной пенсии и, кроме того, по шестьсот франков на каждого ребенка. А сколько еще пожертвований! Уже в настоящее время собрано более шестисот тысяч франков. Ведь это по две тысячи франков на семью. Эти вдовы заведут маленькие лавочки и будут эксплоатировать своих соседей. Шестьсот тысяч франков! — повторил он с каким-то сожалением. — Сколько бы хорошего можно было сделать на эти деньги! Нет, решительно, это сочувствие к якобы несчастным углекопам не имеет надлежащего основания. Все это влияние Золя.
— А, вы читали «Жерминаль»! Ну, как вам понравилось?
— Мне не может нравиться Золя. Между ним и содержателем публичного дома я не вижу разницы: оба спекулируют на разврате.

Мы не могли больше ни слушать, ни отвечать, так как галереи сделались до того узкими, что приходилось почти ползти. Жара и духота были нестерпимы. Я постоянно спотыкался, пот катился градом, дыхание спиралось, в глазах зеленело... Несколько мгновений мне казалось, что я не выдержу и свалюсь без чувств. К счастью, инженер вскоре окончил обход и повернул в боковую дверь, откуда на нас хлынуло свежим воздухом. Мы обошли шахту кругом и теперь приближались к выходу с другой стороны по другим старым галереям. Здесь ежеминутно были слышны протяжные предостерегающие крики, а лишь успевали мы отскочить в сторону, мимо нас с страшным грохотом, сотрясая все вокруг, проносились ряды пустых тачек, спускаемые по наклонной плоскости к выходу.

С облегченным сердцем вздохнули мы, когда снова поднялись на белый свет, который в первую минуту нас совершенно ослепил.

Как тяжело было нам пробыть под землею каких-нибудь пять-шесть часов, а сотни тысяч людей проводят там в тяжелой работе целую жизнь!

По выходе из колодца нам пришлось увидеть эпилог того «суда в подземельи», на котором мы только что присутствовали.

Инженера, шедшего с нами в контору, отозвал в сторону какой-то бледный молодой человек и о чем-то начал усиленно просить. Инженер сначала отказывался, но потом, повидимому, согласился.
— Узнали вы этого рабочего? — спросил он, подходя к нам с довольным лицом. — Это тот самый, который отказывался от дачи показаний. Он просил меня не прогонять его сейчас и сознался, что его подучили запираться социалисты.

Теперь инженер вполне примирился с нами и, вытирая в конторе свое белое мягкое тело полотенцем с одеколоном, любезно расспраши-

вал нас о нашем путешествии. Он сам хотел бы попутешествовать, но его почему-то тянет в Америку и Сахару.

Мы вспомнили о «глазных болезнях в Сахаре» и заключили, что, вероятно, господин инженер недавно прочел интересную книгу об этой пустыне. Конец беседы был несколько испорчен неловким вопросом, который один из нас задал о причине катастрофы.

Инженер ответил сухим официальным тоном, что причина не выяснена.

Из Сент-Этьенна мы направились в старинный городок Виенну, лежащий в полосе вечной зелени.

В Виенне нас заинтересовали различные постройки, сохранившиеся еще от времен Римской империи: остатки форума и цирка, храма Августа и Ливии и др.

Но у меня сохранилось воспоминание лишь о чудной южной ночи, которая встретила нас, когда мы приближались к городу.

Тысячи ночных огней блеснули в стороне, внизу, под нашими ногами. Они казались светящимися насекомыми, застывшими в неподвижном воздухе. Не хотелось двигаться. Мы с наслаждением вдыхали влажный ночной воздух, пропитанный ароматом абрикосов. Чуткое ухо различало среди тишины раздельные звуки.

Что-то нежно и тихо звенит, как серебряная струна . . . Раздалась чья-то могучая красивая песня и сразу оборвалась . . . Тяжело проскрипели колеса проезжающего воза; звонко стегнул погонщик бичом, и удар пронесся в горах троекратным эхом; жалобно свистнул локомотив, и снова все стихло, только серебряная струна продолжает звенеть тихо и нежно.

Во Виенне местный доктор, любезно показывавший нам достопримечательности города, посоветовал пройти в Швейцарию, куда мы держали путь, через Савойю и остановиться в старинном картезианском монастыре Шартрезе. По его словам, он объездил весь мир, но нигде не встречал ничего, что могло бы по красоте сравниться с горною дорогой от Ваарона до Шартреза.

Мы послушались его и не раскаялись. Дорога действительно необычайно красива. Помню, мы проходили по узкому ущелью, между высокими мрачными скалами, грозно нависшими над нашими головами. Было жутко.

Но несколько шагов . . . и скалы расступаются. Перед глазами широкая цветущая долина. Серебряной змейкой вьется речка, в темнозеленых рощах краснеют игрушечные домики, пестреют игрушечные стада, а вдали, в синеватой дымке, высятся снежные вершины Альп.

Порыв восторга потряс все мое существо, я бросился на землю и поцеловал ее. Это было глупо, это было смешно, но это было искренно.

Впоследствии я видел много прекрасных и величественных картин природы. Я был в Крыму и на Кавказе, я подымался на ледник Казбека, но порыв восторга перед красотой природы никогда не повторялся. Видно, такой порыв переживается только раз в жизни.

В Шартрезе, основанном Бруно в одиннадцатом столетии, мы пробыли несколько дней. Мы поднялись на вершину Grand-Som'а, у подножья которого расположен монастырь. Поднимались ночью, чтобы с вершины увидеть восход горного солнца. Вечером я не ложился спать. Сидел у открытого окна своей кельи. Темным великаном, уходящим в звездное небо, высился Гран-Сом. Монастырь спал. Тоскливо плескались фонтаны...

Вдруг звучно ударил монастырский колокол. Ему ответило эхо, и все снова смолкло. Но монахи проснулись. По темным окнам монастыря пробежали огоньки.

Я вышел в темный коридор и с трудом пробрался на церковные хоры. В церкви было темно и тихо, только одна большая лампада розовым светом мерцала в воздухе.

Церковь, казалось, была пуста. Но вот откуда-то, точно из-под земли, раздался жалобный, протяжный не то стон, не то вопль... Что-то зашуршало, и во мраке по стенам церкви выросли белые фигуры монахов, освещенные потайными фонарями. Тоскливый вопль...

Шуршание тяжелых одежд. Ни звука органа, ни торжественного мощного хора, а все один и тот же заунывный, сердце щемящий мотив...

Я вышел. Меня уже искал один из «братьев»: пора отправляться в путь. У ворот монастыря нас ожидали проводник и какой-то аббат.

Изогнувшись в три погибели, приподняв свою широкую шляпу, аббат просил позволения присоединиться к нам. Мы, конечно, согласились и, вооружившись длинными горными палками, двинулись за проводником. Сначала аббат конфузился и молчал, но веселый овернский характер взял свое, и разговор завязался. Аббат, оказалось, не стоит в стороне от политики и очень интересуется исходом сентябрьских выборов.

— От них зависит наша судьба, — заметил он, — при настоящем режиме мы просто задыхаемся.

— Не думаете ли вы побывать на выставке? — вмешался мой приятель, желая переменить разговор.

— На выставке?! Никогда!

— Но почему же?

Аббат несколько замялся.

— Видите ли, там есть такие картины... Понимаете, нам... служителям бога... Притом надо помнить что празднуется этой выставкой? Празднуется поругание церкви. Наш епископ негласным посланием решительно запретил посещать ее.

Наконец, нам удалось найти подходящую тему. Заговорили о музыке, о пении. Аббат прекрасным баритоном спел какую-то мрачную духовную песню и затем попросил нас спеть какую-нибудь народную песню. Мы затянули было «Вниз по матушке, по Волге», но это вышло так жалобно и жалко, что даже французская любезность аббата не смогла похвалить.

— Спойте-ка лучше вы какую-нибудь овернскую песенку, — стали мы его просить.

Он сначала упорно отказывался, но потом уступил, и ночной воздух огласился веселой, игривой песней. Мы хорошенько не разобрали содержания, но, судя по тому, что слова «la petite cousine» и «les cerises» повторялись очень часто, надо полагать, что оно было так же весело, как и мотив.

Незаметно прошли мы первую, «лесную» половину пути.

Теперь нужно было итти по скалам, и так как было еще темно, то проводник посоветовал нам несколько повременить в лачужке у пастуха. Пастух согрел нам у камелька кофе, и мы, попивая его с шартрезом, с полчаса отдохнули. Когда мы вышли из лачуги, уже начинало светать. В сером сумраке страшными, фантастичными фигурами рисовались верхушки скал. Собака с заунывным воем залаяла на нас. Козы испуганно шарахнулись в сторону. Мы пробирались по узенькой тропинке, по самому краю пропасти; внизу клубился туман. Я остановился и, опершись на палку, стал смотреть вниз.

— Осторожнее, — крикнул мне проводник. — На этом месте сорвался один неаполитанец. Он стоял, как вы, палка соскользнула, и он слетел вниз.

Я быстро сделал шаг назад.

— А скоро ли будут видны Альпы? — спросил я, желая скрыть невольный испуг.

— А вон посмотрите!

Налево от нас выступила белоснежная цепь гор с могучим Монбланом посередине... Мы остановились, пораженные. Строго, холодно стояли снежные великаны, стояли, казалось, в нескольких шагах от нас. Длинный ряд ярко белых вершин. Внизу Монблан слегка заалел, вот вся цепь залилась ярким розовым светом, вот из-за спины великана вырвалось солнце и, вырвавшись, быстро завертелось, как бы радуясь своему восходу.

Минута, и оно разбросало вокруг свои блестящие лучи, — легкими слоями помчался прочь туман, и под ногами раскрылась широкая равнина. Вон игрушечные домики монастыря с небольшими темными холмиками по сторонам. Вон голубенькая ленточка Изеры, вон зеленые квадратики лугов и полей, а там, вдали, кучка беленьких домиков Сен-Лорана, а там, совсем далеко, туманные очертания высоких зданий Гренобля...

Аббат пришел в восторг.

Его молодое, красивое лицо с блестящими черными глазами сияло. Он махал широкополой шляпой, протягивая к солнцу руки, потом бросался к нам, тащил нас то в ту, то в другую сторону, непрерывно повторяя: «Смотрите, смотрите!»

Мы уже стали с проводником спускаться книзу, гонимые нестерпимым холодом, а он все еще восхищался, размахивая своей шляпой.

Раз в год монахи отправлялись в горы на целый день для сбора трав, хотя, разумеется, это была только церемония, так как громадное

количество трав, необходимое для знаменитых шартрезских ликеров, доставлялось монахам крестьянами.

Из Шартреза мы через Гренобль и Aix-les-bains прошли до Женевского озера. Мы не чувствовали ни малейшего утомления, так как разнообразные картины то величественно грозной, то нежно ласкающей природы вливали в нас все новые силы, все новую бодрость.

У Женевского озера я распрощался с товарищами. Они пошли дальше в Италию, а я поселился на французском берегу Женевского озера, в небольшом городе Сен-Женгольфе.

Мне удалось устроиться чрезвычайно дешево в каком-то только что открытом отеле. За уютную комнату с окном, выходившим на Женевское озеро, равномерный плеск волн которого убаюкивал меня по вечерам, и за полный пансион (завтрак, обед, ужин) я платил в день три франка, т. е. по тогдашнему курсу около рубля. Вспоминаешь и сам себе не веришь.

В Сен-Женгольфе я прожил около шести недель. Это были, кажется, самые спокойные недели в моей жизни. Точно распределенного времени хватало и на изучение французского языка по научным книгам и в беседах с одной швейцарской художницей, приехавшей в Сен-Женгольф с целым выводком своих детей, и на прогулки в горах, и на купанье, и на переписку с друзьями.

В сентябре я вернулся в Париж по железной дороге и был зачислен студентом Ecole de médécine, соответствующей нашим медицинским факультетам.

Выставка уже отживала свой век и, видимо, достаточно очертела парижанам. Париж волновался выборами в палату депутатов, выборами, которые должны были решить дальнейшую судьбу республики.

Избирательная кампания велась не только речами на бесчисленных митингах, не только миллионами разноцветных плакатов и афиш с избирательными лозунгами, с восхвалением своих кандидатов и насмешками над кандидатами враждебных партий, афишами, заклеившими не только заборы, киоски, но и стены домов и все колонны и памятники.

Она велась не только на страницах многочисленных газет, названия которых пронзительно выкрикивали тысячи мальчишек, стремительно летавших по бульварам и площадям. Она велась уличными демонстрациями, едкими криками и песнями, она велась уличными схватками.

Высшего напряжения избирательный азарт достиг в тот вечер, когда стали определяться результаты голосования.

Бельвиль, знаменитый рабочий квартал, откуда шли все революции, кипел особенно нервно, в нем шла борьба между «непримиримым» графом Рошфором, бывшим коммунаром, а теперь ярым буланжистом, и простым, пока мало известным рабочим, «поссибилистом» Дюмэ.

Какой контраст между противниками!

Рошфор, несмотря на всю свою «непримиримость», на весь свой коммунизм, аристократ до кончиков своих красивых ногтей. Он — человек удовольствий, дорогих ресторанов, модных кокоток, человек, швыряющий деньги на ветер горстями и горстями же хватающий их из кассы своей газеты, куда их медными пятаками несут читатели-рабочие. Он пишет ярко, говорит красиво, выглядит львом.

А Дюмэ? Дитя «случая», подкидыш, кое-как вскормленный на общинные средства, он со дня рождения испытал больше лишений и унижений, чем самый бедный рабочий.

Он прошел в мастерских тяжелую школу ученика и подмастерья. Хилым, худосочным вырос он, но в слабом теле развился стойкий дух. Своей безупречной честностью, деловитостью, ясностью и искренностью убеждений без капли напускного пафоса, он приобрел уважение товарищей рабочих. Его скромная и чистая личность невольно бросалась в глаза, невольно светилась на темном фоне политического шантажа и карьеризма.

Понятен общий интерес к этому политическому поединку между родовитым графом и рабочим-подкидышем!

Я вошел в одну из избирательных камер. В полутемной комнате тесно, жарко и удушливо, пахнет человеческим потом...

Около столов, где происходит подсчет голосов, теснятся недоверчивые избиратели... Вспотевшие, возбужденные лица. Горящие глаза впились в руки счетчиков.

Тут «рошфоровцы» рядом с «дюмовцами» теснят друг друга, лезут на плечи...

Слышны выкрики, и по интонации можно различать, кто на стороне Рошфора, кто на стороне Дюмэ.

Фамилию «своего кандидата» счетчик выкрикивает громко, торжественно, противника же вяло, небрежно... Дюмовцы часто кричат не просто «Рошфор», но ядовито «граф Рошфор». Изредка слышится: «пустой», «постороннее замечание» и тут же вполголоса — «опять неприличное слово», «ослиная голова» и т. д.

В комнату, как угорелые, врываются газетные репортеры и, записав полученный уже результат, вылетают вон; из других «бюро», запыхавшись, прибегают избирательные «зайцы» и сообщают «своим» о результатах.

Акции Рошфора падают, акции Дюмэ поднимаются, все чаще и чаще торжественно раздается его имя...

Рабочий победил, граф-буланжист побит!

На улице слышатся виваты в честь нового представителя Бельвиля — Дюмэ. Буланжисты приуныли.

Редакции их газет погрузились во мрак, зато редакция самого ярого антибуланжистского органа «Bataille» ярко иллюминована. Около нее в узеньком переулке собирается толпа студентов и устраивает шумную овацию редактору Лессигарэ, тоже бывшему коммунару, но, в противоположность Рошфору, — ярому ненавистнику Буланже и его сторонников.

Из ярко освещенных окон редакции раздаются ответные крики, и массами летят белые листки памфлетов.

В окне появляется заморенная фигурка самого Лессигарэ. Его и обыкновенно-то сиплый голос теперь совсем не слышен, но, судя по жестам, он сильно тронут. Одушевление растет, раздается антибуланжистская песнь:

«Conspuez, conspuez Boulanger!» (Наплюйте, наплюйте на Буланже!).

Кому только не кричат виваты, даже и «башня Эйфеля» не забыта, однако, возглас в честь министра внутренних дел Констана вызывает сильное шиканье, и секретарь редакции, высунувшись из окна, разумно советует кричать лучше: «vive la République!», а министра Констана оставить в покое.

Все идет прекрасно, как вдруг вдали раздается буланжистский напев:

«Saucisson, saucisson!»[1]

И в переулок врывается разношерстная толпа уличных буланжистов, наполовину состоящая из гаменов. Летят камни и комья грязи. Среди студентов — замешательство.

После легкого сопротивления — быстрое отступление с потерей нескольких цилиндров. Толпа ломится в двери редакции, в окна летят камни. Настоящий приступ.

Но Лессигарэ — «старый воин, закален в боях»... Двери редакции широко распахиваются, и на улицу вылетает отряд сотрудников во главе с Лессигарэ, потрясающим красным знаменем.

Схватка, глухие удары палок по цилиндрам и головам. Видно, как цилиндр Лессигарэ топчется в грязи, но сам он не унывает...

— Вперед!.. — и враг рассыпается.

Отряд сотрудников «Bataille» торжественно двигается по направлению к бульварам, к нему присоединяются оправившиеся студенты.

Выборы закончились провалом буланжистской авантюры и укреплением буржуазной республики, именуемой «демократической».

Я побывал на празднествах и торжествах победителей, слышал и видел тогдашних светил и защитников этой республики.

Помню красивого старика Флокэ, его римский профиль, его гордо закинутую назад голову с шапкой седых, слегка вьющихся волос, помню благообразного старца, оппортуниста Пасси, который сладким голосом хвалился одержанной над немцами моральной победой, выставочным реваншем, помню крушителя министерств Клемансо, который произвел на меня впечатление не совсем опрятного дельца средней руки: и плешь, съевшая волоса на макушке его тогда еще черной головы, была неопрятна, и лицо какое-то неумытое.

Начались занятия в Медицинской школе.

---

[1] Saucisson (колбасой) называли буланжисты министра Констана, уверяя, что он получил взятку золотыми, запакованными в виде колбасы.

Начались они шумно, со скандалами, которые устраивали оставленные на второй год студенты слишком строгим профессорам.

Вообще в аудиториях студенты вели себя почти так же непринужденно, как в бульварных кафэ. Особенно весело перед началом лекций. Сыплются остроумные шутки, раскатывается звонкий смех... Чей-то тенор затягивает студенческую песнь, сложенную на профессоров, сотни голосов подхватывают игривый плясовой напев.

Показывается в дверях характерная фигура французского солдата в синем мундире и красных штанах. Песнь прерывается, и аудитория оглашается криками:

«Vive l'armée!», «vive la revanche»!

Робко пробирается черный, как уголь, одетый по последней моде, негр. Крики:

«Vive l'Afrique!», «vive la civilisation!»

Показалась русская студентка...

Скромная, грациозная фигурка в серенькой кофточке, почти детское личико. Как будто с нею вместе пробился в аудиторию утренний солнечный луч.

Увы! И ее заметили.

Со всех сторон несется насмешливое чмоканье. Сконфуженная, раскрасневшаяся, она спешит опуститься на место, уступленное ей каким-то учтивым и серьезным студентом. Чмоканье прекращается, внимание направлено на какого-то смельчака, который забрался вниз к профессорской кафедре, зажег газовый рожок и начинает жарить на нем селедку, захваченную с практических занятий по зоологии.

Шумно бывало и во время лекций. Мальчишеские выходки студентов доводили некоторых профессоров прямо до бешенства.

Крупный ученый, прекрасный лектор, профессор химии Готье несколько раз собирался отказаться от чтения лекций в Медицинской школе. Особенно его раздражало чмоканье по адресу студенток.

При мне как-то в аудиторию вошла русская студентка И., когда лекция уже началась. Послышалось чмоканье, раздались насмешливые восклицания.

— Стыдитесь, господа, — воскликнул профессор Готье. — Я знаю г-жу И., она работает у меня, и смею уверить, что между вами не найдется ни одного, который мог бы с нею соперничать в знании и трудолюбии.

Настоящая работа идет не в аудиториях, а в лабораториях, кабинетах и клиниках.

В Париже я часто встречался с русскими. Ближе всех мне была семья Вернадских. Друзья Вернадских скоро становились и моими друзьями. Среди них меня особенно привлекал астроном И. А. Клейбер. Высокий, бледный юноша, на красивый лоб его спадали белокурые мягкие, волнистые пряди волос. В очертаниях безусого и безбородого лица было что-то девичье. Глаза смотрели пытливо и вдумчиво.

Всесторонне образованный, Клейбер, вероятно, в каждой научной области занял бы выдающееся место. Его работы по астрономии обратили на себя внимание иностранных ученых, когда ему, кажется, еще не было двадцати пяти лет.

Мне казалось, что он отмечен не только талантливостью, но и гениальностью. Проявить свою гениальность он не успел, смерть унесла его очень скоро после наших дружеских встреч в Париже.

Через Вернадских я познакомился с дочерью знаменитого драматурга Александра Николаевича Островского. Марии Александровне Островской было тогда, вероятно, не более двадцати лет, но она казалась старше. Высокая, полная, с чрезмерно белым лицом и черными густыми бровями, она становилась исключительно интересной и привлекательной, когда на нее налетал порыв веселости, а это с ней бывало очень часто.

Вместе с ней я знакомился с Парижем, и нам пришлось пережить не мало забавных приключений. Едем мы раз на «верху» омнибуса по узким улицам Парижа. Рядом с Марьей Александровной сидит какой-то господин мрачного вида.

— Не могу переносить этой мрачной образины, — говорит мне Марья Александровна. — Как вы думаете, что будет, если я его ущипну?

Образина, оказавшаяся русской, расплылась в широкую улыбку и любезно заметила:

— Только не слишком больно, милая барышня.

В другой раз в Версальском парке она приняла пожилого русского господина, шедшего под руку с молоденькой дамой и державшего в руках сачок для ловли бабочек, за француза. Когда парочка поровнялась с нами, Марья Александровна громко сказала:

— Ишь, какой прыткий старикашка, уж одну хорошенькую бабочку поймал, а ему, видно, мало.

Старец позеленел от злобы и прокричал:

— Совсем не остроумно, глупо, не остроумно!

Угрожающе он двинулся к Марье Александровне, так что мне пришлось принять оборонительную позу для защиты своей спутницы.

Повела меня Марья Александровна к какому-то профессору Сорбонны, горячему поклоннику таланта ее отца. Если я не ошибаюсь, это был профессор Патуйе, автор солидного труда о жизни и творчестве Островского.

Профессор встретил нас с распростертыми объятиями и непременно хотел говорить по-русски, уверяя, что он знает русский язык не хуже французского. Рассказывая о своем пребывании в Москве, профессор, между прочим, заявил, что он в восторге от пения русских коридоров.

Мы не сразу сообразили, что милый француз смешал хоры с коридорами.

Несколько раз встречался я с молодым физиком М. А. Шателеном, маленьким, живым, жизнерадостным. Он практически изучал

электротехнику на одном из парижских заводов. Он часто бывал у Марьи Александровны.

Я как-то раз спросил ее, полушутя, полусерьезно, не собирается ли она выйти замуж за Шателена. Она весело рассмеялась и сказала, что это ей никогда не приходило в голову и что вообще ей кажется нелепой мысль о браке.

Однако, вскоре она действительно вышла замуж за Шателена и прожила с ним не менее двадцати пяти лет. Разлучила их только ее смерть.

Шателен приобрел громкое имя как видный ученый в области электротехники.

В парижской Ecole de médecine я пробыл только один семестр. В январе 1890 года я вернулся в Россию, где меня ожидало рождение второй моей дочери. Ее мы назвали Татьяной в честь пушкинской героини.

С Парижем я расстался не без грусти.

Я успел полюбить этот своеобразный город, в котором каждая площадь, каждая улица, почти каждое здание говорят о великих исторических днях, этот город, в архитектуре которого сплелось несколько эпох, этот город, живописные кладбища которого воскрешают память о борцах и гениях, родных каждому думающему и чувствующему человеку, какой бы нации он ни был.

Я успел полюбить этот многолюдный город, где можно раствориться в шумных потоках бульварной толпы и где можно спокойно предаваться своим мыслям, уходя в отдаленные аллеи парков и садов.

X. РУССКИЙ БЕРН

Нигилистка 60-х годов. — Русские студентки. — Н. П. и П. П. Подбельские. — Якутская драма. — Курнатовский. — Осада Романовской крепости. — Е. С. Лувещук и А. Г. Шлихтер. — Лина Рабинович. — Надя Пустошкина. — Альма Борман. — Вызов на дуэль. — Лена Девочкина. — А. М. Кулишева. — Турати. — Первая встреча с Г. В. Плехановым. — Порыв. — Циммервальден.

Из Петербурга весной 1890 года я поехал не в Париж, а в Берн. И поехал не один. Со мной поехала Саша с нашими двумя малютками, Лелей и Таней. Сменил я Париж на Берн прежде всего потому, что в Берне, как мне говорили сведущие люди, можно было устроиться с семьей гораздо дешевле и удобнее, чем в Париже и вообще в любом другом заграничном университетском городе.

Кроме того доктор Аргутинский убедительно доказывал мне, что в небольшом университете гораздо легче усвоить медицину, чем в Парижской медицинской школе с ее несколькими тысячами студентов.

Одновременно со мной изучать медицину поехала в Берн моя хорошая знакомая Любовь Егоровна Воронцова. Любовь Егоровна была типичной нигилисткой шестидесятых годов. Молоденькой девушкой она фиктивно вышла замуж за молодого медика Василия Павловича Воронцова, впоследствии известного народника-экономиста, писавшего под инициалами В. В.

Фактически она его женой никогда не была. Молодые люди повенчались исключительно для того, чтобы устранить родительскую опеку, стеснявшую свободу молоденькой девушки.

В начале семидесятых годов, когда в Петербурге открылись Женские медицинские курсы, Воронцова была одной из первых их слушательниц. Ее медицинская учеба была вскоре прервана арестом и длительным пребыванием в Петропавловской крепости.

В крепостном каземате у ней родилась дочь от фактического брака. С этой дочерью, веселой, задорной девочкой, Воронцова приехала в Берн, предварительно разойдясь со своим последним фактическим мужем Небольсиным, пожилым либеральным сановником, основателем и покровителем различных просветительных учреждений.

Как теперь вижу эту старую нигилистку, когда она своей тяжелой походкой входит в аудиторию, наполненную мужской и женской учащейся молодежью. На грубоватом лице ее уж ясно пробиваются морщины, черные волосы начинают слегка серебриться сединой, но

глаза, много видевшие и многое понявшие, все еще светятся юношеской бодростью. Одета в простое платье, широкое, как капот.

Студенты встречают ее насмешливым шопотом, в ответ на это в складках ее губ скользит горькая улыбка.

Она все еще живет идеями шестидесятых годов, и то, что прибавили от себя последующие годы, она не знает и не хочет знать. Говорит она резко, образно, иногда так хорошо и оригинально, что невольно соглашаешься с ней, и только спустя некоторое время, пораздумав, замечаешь массу противоречий.

В Бернском университете, когда мы с Воронцовой поступили туда, было сто пятнадцать студенток, из них семьдесят русских, при чем русскими считались все родившиеся в России и говорившие по-русски. Евреек было больше, чем великоросок.

Одну лишь Воронцову можно было назвать нигилисткой. Только одна Воронцова уж много прожила и много пережила. Почти у всех других русских студенток в Берне жизненные испытания были еще впереди.

В Берне я поселился один в самом городе в небольшой меблированной комнате, а Сашу с детьми устроил в деревне, куда приходил пешком по воскресеньям. Свободное от занятий время я проводил среди русских, со многими из них у меня скоро установились хорошие, почти дружеские отношения. Особенно пришелся мне по душе исключенный за неблагонадежность из какого-то русского университета медик старшего курса Николай Павлович Подбельский.

Простоватый, неуклюжий, он застенчиво смотрел сквозь стальные искривленные очки, изредка подергивая небольшую русую бородку. На лоб спадали прямые пряди волос. Говорил он мало, но любил писать длинные письма с философскими рассуждениями. Взглядов держался революционно-народнических.

Очень тяжело воспринял Николай Павлович трагическую смерть своего брата. За год до нашей первой встречи с Николаем Павловичем брат его П. П. Подбельский был убит в Якутске вместе с пятью своими товарищами по ссылке. Якутский расстрел — одна из самых кровавых и трагических страниц русского революционного движения.

Весной 1889 года тридцать три политических ссыльных решили не подчиняться приказу губернатора Осташкина о высылке их из Якутска в Средне-Колымск, где им грозила смерть от голода и холода. Для «усмирения» ссыльных был послан отряд солдат. Солдаты пустили в ход ружейные приклады и штыки. Отбиваясь, ссыльные дали несколько выстрелов. В ответ на это начался расстрел. Кроме Подбельского были убиты при этом Пик, Гуревич, Ноткин, Шур и Муханов, восемь человек ранено более или менее тяжело. Из оставшихся в живых трое: Гаусман, Зотов и Коган-Бернштейн, были по приговору военного суда повешены, а остальные сосланы на каторгу.

Когда Николай Павлович вспоминал об этой трагедии, лицо его передергивалось нервной судорогой.

Дикая расправа царских палачей вызвала возмущение не только среди прогрессивной части русского общества, но и за границей. Подробное описание якутской трагедии было напечатано в английской газете «Times».

И. И. Боргман указал своему ученику Николаю Романову на сообщение «Times» о расстреле и казни, надеясь, что тот так или иначе воздействует на своего отца. Не думаю, чтоб это вмешательство гуманного профессора сколько-нибудь облегчило судьбу ссыльно-каторжных.

Воспоминание о Подбельском связывается в моей голове с воспоминанием о Курнатовском. С Курнатовским я познакомился в 1887 году, когда он был студентом первого курса, если я не ошибаюсь, юридического факультета. Еще до первой встречи я слышал о нем от Н. А. Рейтлингера, что он необычайно способный юноша с громадной жаждой знания.

Моя первая беседа с Курнатовским закончилась тем, что я дал ему для прочтения «Капитал» Маркса в русском переводе. В то время «Капитал» был изъят из продажи и запрещен. Мне его подарил С. П. Доровaтовский, у которого была библиотечка запрещенных книг.

Я, по правде сказать, боялся, как бы молодой студент не передал драгоценной книги кому-нибудь из товарищей, и как бы ее в конце концов не зачитали. Но Курнатовский принес книгу ровно через две недели, как мы уговорились. Он ее не зачитал, но прочитал вдумчиво, с огромным интересом.

— Это целое откровение, — говорил он мне, — только теперь я чувствую, что стою на твердой почве.

Затем мы скоро потеряли друг друга из виду и встретились лишь в 1892 году в Цюрихе. Курнатовский учился тогда в цюрихском политехникуме. Он был вследствие незадолго перед тем перенесенной тяжелой болезни почти совершенно глух.

Грустно и трогательно было следить за игрой его умного, подвижного лица, когда он вслушивался в речь собеседника. Тяжелая сосредоточенность сменялась конфузливым недоумением, за ним следовала улыбка и все завершалось торжеством угаданной мысли.

Говорил Курнатовский тихо, обдуманно, взвешивая каждое слово. Он приветствовал тогда только что появившиеся «Критические заметки» Струве, видя в них необходимую для революционера марксистскую трезвость мысли. Народников он считал реакционными утопистами. Я ему возражал, указывая, что реакционность таится и в призыве Струве итти на выучку к капитализму. Он не сразу меня понял, а поняв, добродушно улыбнулся и сказал:

— Ничего не поделаешь, придется поучиться у врага, чтобы победить его. Струве, видимо, думает, что учеба будет долгая, я же думаю, что мы ее уже почти прошли. Сражаться с врагом надо и во время учебы. Этого как-будто не понимает Струве.

Вернувшись в Россию, Курнатовский принял самое энергичное

участие в борьбе не только с царизмом и буржуазией, но и с народнической утопией.

Не знаю хорошенько когда он попал в тюрьму, а затем в далекую якутскую ссылку, но знаю, что он был одним из самых непокорных и опасных пленников царских жандармов. Он был одним из инициаторов вооруженного сопротивления, оказанного 18 февраля 1904 года пятьюдесятьюсемью политическими ссыльными большому отряду солдат, казаков и полицейских.

Ссыльные, требуя отмены варварских приказов генерал-губернатора Кутайсова, собрались в доме якута Романова, превратив его в своего рода крепость. Солдаты не решались взять забаррикадированный дом штурмом и начали правильную осаду. Во время этой осады Курнатовский сделал два выстрела, которыми были убиты два солдата. Тогда солдаты отступили на такое расстояние, что до них не могли долетать пули охотничьих ружей «романовцев», и начали правильный обстрел маленькой крепости ссыльных.

После того как один из ссыльных был убит, а трое ранено, осажденные решили сдаться. Осада продолжалась с 18 февраля по 7 марта.

В начале августа 1904 года «романовцев» судили в Якутске. Они держались очень стойко, отказываясь выяснять большую или меньшую виновность каждого. Всем был вынесен один и тот же приговор — двенадцатилетняя каторга.

В ссылке и на каторге Курнатовский в спорах с товарищами неизменно высказывался за ленинскую «большевистскую» точку зрения. Его теперь нет в живых. Когда он умер, я не знаю.

Из молодых бернских студенток я прежде всего познакомился с Евгенией Самойловной Лувещук. Эта была очень скромная, трудолюбивая еврейская девушка. Ей с детских лет пришлось перенести много тяжелых испытаний. Не без труда добилась она возможности поехать за границу в надежде стать врачом. Она очень любила свой гонимый народ и думала, что ему необходимо освободиться не только от внешнего гнета, но и от своего внутреннего врага — невежества и неразрывно связанных с ним национально-религиозных предрассудков.

— Вы не можете себе представить, — говорила она мне, — как подавлена личность женщины в еврейской мещанской семье.

Училась Евгения Самойловна очень усердно, но медицинского образования почему-то не закончила. Оставив медицину, она все свои силы отдавала и до сих пор отдает педагогической деятельности. В 1892 или в 1893 году я встретился с нею в Цюрихе. Она познакомила меня со своим женихом А. Г. Шлихтером.

Это был умный образованный молодой человек, стойкий в своих марксистских убеждениях, умевший слушать и говорить, но не любивший попусту болтать.

Брак Евгении Самойловны с Александром Георгиевичем оказался счастливым и стойким. Супруги не понижали, а повышали друг

друга. Вместе переживали радости и горести как личные, так и общественные. Оба принимали активное участие в революциях 1905, 1917 и 1918 годов.

После Октябрьской революции Шлихтер занимал и занимает ряд ответственных постов до Наркома включительно. Евгения Самойловна одно время заведывала детскими учреждениями в Москве и была моим начальством, когда я работал в Замоскворечьи в качестве инструктора детских домов.

Скромность Евгении Самойловны была совсем иной, чем скромность другой еврейской девушки, Лины Рабинович. Лина Рабинович происходила из богатой, интеллигентной семьи. Была очень красива, знала это, но не показывала виду, что знает. Одевалась просто, но платья ее всегда были из дорогих материй темнокрасного или темносинего цвета, что очень шло и к ее лицу, и к ее фигуре, и к ее черным, как смоль, волосам. Прилежна она была необычайно. Не пропускала ни одной лекции, приходила раньше всех, садилась впереди и старательно записывала лекцию.

Талантливой она мне не казалась. Химию и физику усваивала туго. Думал, что далеко она не пойдет, но ошибся. Занимаясь в Берлине у знаменитого Роберта Коха, она открыла разновидность какой-то бактерии и пошла в гору, сопровождаемая лучшими пожеланиями великого бактериолога. Сделалась профессором сначала Бостонского университета, а затем и Берлинского. Она была первой женщиной, добившейся великой чести стать профессором столицы Германии.

В химической лаборатории я работал рядом с Надей Пустошкиной, восемнадцатилетней девушкой, окончившей в Москве гимназию Фишер, единственную тогда в России женскую гимназию с программой мужских классических гимназий. Тоненькая, худенькая, с небольшой косичкой мягких, русых, вьющихся около висков волос Пустошкина привлекала к себе каким-то особенно серьезным взглядом темнокарих глаз.

Пустошкина принадлежала к тем немногим людям, на которых стоило один раз взглянуть, чтобы почуять их ум, почуять, что они никогда ни при каких обстоятельствах не способны сказать пошлость.

Из Пустошкиной впоследствии выработался хороший врач. Я слышал, что она заведует в одном из больших приволжских городов глазной клиникой и пользуется большой популярностью у местного населения.

В разгар университетских занятий, когда мы, русские студенты и студентки, перезнакомились друг с другом, успели поспорить, повосторгаться и разочароваться, среди нас появилась запоздавшая Альма Борман, учившаяся вместе с Пустошкиной на петербургских фельдшерских курсах. Отец ее был еврей, мать — немка, но мне она чрезвычайно напоминала своею наружностью моего любимого английского поэта Шелли. Красивые изгибы высокого лба под мягкими волнами белокурых волос. Большие темноголубые глаза, мяг-

кие очертания тонких крепко сжатых губ. Таким представлялся мне Шелли, портретами которого я часто любовался. Такова была Альма. Разносторонне образованная, она любила и понимала музыку поэзии Гете, Шиллера, Гейне, Шамиссо и поэзию музыки Бетховена, Шопена и Шумана. Быстро завоевала она горячие симпатии как студентов, так и студенток.

На меня она сначала произвела неблагоприятное впечатление. Мне показалось, что она разыгрывает нигилистку, нарочно стрижет свои прекрасные волосы, надевает шляпу по-мужски, одевается в слишком простенькие блузки, ходит большими шагами, заложив руки назад, слишком много говорит о женской самостоятельности, о неподчинении общественному мнению, но постепенно я убедился, что это просто молодой задор и протест против той мещанской обстановки, в которую ее бросила судьба, той мещанской обстановки, из которой ей хотелось вырваться как можно скорее и как можно основательнее.

Я виделся с Альмой каждый день и не только на лекциях. Она наняла комнату у садовницы ботанического сада. С балкона этой комнаты открывался чудесный вид на далекие горы, ветер из сада приносил благоухание цветов. Иногда Альма садилась к роялю, играла любимые вещи Шопена. Часто мы вместе вспоминали стихи Гете, Гейне и особенно Шамиссо — ее любимого поэта.

Альма кончила хорошую немецкую школу и была человеком немецкой культуры.

На Альму заглядывались швейцарские студенты, но в общем держались по отношению к ней и другим молодым сотоваркам по-джентльменски. Только один белобрысый дылда в цветной корпоративной фуражке и с лентой через плечо позволял себе смотреть на нее нагло.

Как-то раз, когда Альма выходила из аудитории, он сунул ей в руку какую-то бумажку.

Я шел сзади и видел, как лицо Альмы покрылось краской.

— Что такое? — спросил я.

— А вот прочтите.

Записка была наглым приглашением на свидание. Я взял записку и, не сказав ни слова Альме, догнал студента и остановил его словами:

— Вы оскорбили мою знакомую девушку. Идите сейчас со мной к ней и попросите у ней прощения.

Я говорил по-французски, зная, что швейцарские студенты говорят на двух языках: на немецком и на французском. Студент что-то пробормотал на немецко-швейцарском диалекте, притворяясь, что не понял меня. Тогда я уже по-немецки твердо заявил:

— Извиняйтесь перед оскорбленной девушкой! Не хотите?.. Тогда будем стреляться; ваших рапир, которыми вы друг другу царапаете физиономии, я не признаю, признаю только пистолеты. И поверьте, в воздух я стрелять не стану.

Дылда стоял красный, как рак, сжимая кулаки, и я ожидал, что он бросится на меня, и стал в оборонительную позу. Но студент после минуты молчания разжал кулаки и довольно спокойно сказал:

— Я не прав и готов извиниться. Где ваша барышня (Fräulein)?

Альма стояла вблизи, видимо еще не осмыслив происшедшего.

Мы подошли к ней. Дылда снял свою фуражку, низко поклонился и сказал на чистом немецком языке:

— Gnädiges Fräulein, ich bitte um Verzeihung.

Альма улыбнулась и протянула руку. Студент осторожно к ней прикоснулся.

Этот эпизод нас еще более сблизил.

Вскоре мне посчастливилось оказать Альме, как она тогда думала, большую услугу.

Лучшим своим другом Альма считала костромичку Елену Александровну Девочкину, с которой перед отъездом за границу училась на петербургских фельдшерских курсах, где высокую, тонкую брюнетку Елену называли ночью, Альму же днем.

— Надо спасти Лену, — сказала мне Альма, сильно волнуясь. — Она погибнет в своей костромской усадьбе. Она под гипнозом человека, который уж многим испортил жизнь. Только здесь, с нами, в новой обстановке, среди новых людей она вернет себе волю. У вас есть деньги; ни у меня, ни у Лены сейчас нет. Дайте на дорогу, я когда-нибудь вам верну.

Я дал с радостью и с радостью совершенно искренней.

В бернской русской колонии только у меня были «свободные» деньги, и ко мне часто обращались с просьбой ссудить ту или другую сумму, чтобы уплатить за лекции, за комнату и т. п. Говоря по совести, эти просьбы не всегда доставляли мне удовольствие. Брать в долг неприятно, а возвращать трудно, и у должника появляется неприязненное отношение к своему кредитору. Для моего душевного спокойствия было хорошо, что отцовский капитал испарился ко времени получения мною докторского диплома.

Чем больше я дружил с Альмой, тем чаще я ходил в деревню к Саше, которая раньше меня поняла, что наши отношения с Альмой нечто большее или, во всяком случае, иное, чем простая дружба.

— Ах, Володя, Володя, — говорила она мне, — запутают тебя эти ученые девицы. Подумал бы ты о наших девочках. Замечаешь ли ты, как серьезно смотрят на тебя голубые глазки Тани. Теперь уж видно, что вырастет из нее большая умница. А Леличка? Ведь она настоящий огонь. В деревне ее прозвали: «наша маленькая фея».

Мне было хорошо и с Сашей, и с детьми; до сих пор вспоминаю, как я прятался от двухлетней Лели. Она искала меня и звала сначала просто папа, потом папочка, папуся и, наконец, милый папусенька, — тогда я выходил из-за куста, и она бежала ко мне с радостным смехом, раскрыв руки, я поднимал ее, целовал, бросал вверх.

А чувство к Альме все же росло, развивалось, менялось.



Альма Борман и Елена Девочкина (1889 год).

Появилась какая-то ревнивая тревога. Я ревновал ее не к настоящему, а к будущему, ждал, что явится кто-то, кому она отдаст таившуюся в ней страсть. Я знал, что она готова отдать эту страсть мне. Но смел ли я строить свое счастье на несчастьи Саши и наших деток?

В Берн приехала Анна Марковна Кулешева, участница революционного движения семидесятых годов, эмигрировавшая в Италию, где она окончила медицинский факультет и приобрела славу искусного врача. Принимала живейшее участие в рабочем и женском движении. Была сначала женой социалиста Коста, а затем лидера правого крыла итальянской социалистической партии Турати.

Меня с ней познакомила ее старая приятельница Воронцова. Один вечер мы провели с Кулешевой вдвоем в необычайно интересной для меня беседе. Не книжно, а жизненно она говорила о судьбе женщины, о ее порабощении не только экономическом, но физиологическом, половом. Она говорила, что самые лучшие мужчины не понимают женской психики и ради мимолетных наслаждений топчут в грязь женскую любовь.

Не помню всего, что говорила Кулешева, но знаю, что она заставила меня до конца продумать свое отношение как к Альме, так и к Саше.

Я провожал Кулешеву, когда она уезжала из Берна. Кроме меня, Кулешеву провожали Воронцова и Георгий Валентинович Плеханов. Пришла и Альма со своей подругой Гейман.

Плеханов был тогда еще молод. Изящная фигура, интеллигентное лицо с небольшой бородкой клином и густыми черными бровями, по-мефистофельски изогнутыми над живыми, насмешливо-стреляющими по сторонам глазами.

Когда Кулешева представила Плеханова Воронцовой, он, приподняв свой котелок, с подчеркнутой любезностью спросил, не родственница ли она известного экономиста В. В.?

С В. В. Плеханов, как известно, вел тогда ожесточенную полемику.

Воронцова с усмешкой ответила, что родство ее с Василием Павловичем фиктивное. Брови Плеханова еще более изогнулись. Альма с Гейман из стеснения отошли в сторону и держались вдали.

Глаза Плеханова несколько раз стрельнули в них, и затем он сказал:

— Одна — прехорошенькая.

Добавил еще какую-то галантную шутку. Я ее забыл. Но хорошо помню, что Воронцова со свойственной старым нигилисткам прямотой сказала:

— Эх вы, революционные вожди! Как только увидят хорошенькую женщину, так непременно выпалят какую-нибудь пошлость.

Семестр кончился, наступили каникулы. Я полушутя, полусерьезно предложил Альме поехать со мной в Италию.

— С вами, — сказала она, — куда угодно. В Италию, в Сибирь, на край света.

Эти слова обрадовали и в то же время испугали меня.

Наша студенческая компания собралась пойти в горы смотреть на белоснежную Юнгфрау с черным крестом на груди в лучах восходящего солнца.

Чтобы не проспать, Альма решилась остаться до утра у меня. Наступил решительный момент. Мы без слов уже знали, что любим друг друга. Но обидеть Сашу, растоптать ее любовь — этого я не мог.

— Нам необходимо расстаться и постараться больше до разлуки не оставаться вдвоем. Еще не поздно, пойдемте к Пустошкиной.

Мы шли по темной лестнице. Что-то бросило нас друг к другу, и мы на минуту застыли в страстном, скорбном, прощальном поцелуе.

В горном городке Циммервальдене близ Берна я нанял большой дом. Туда переехала Саша с детьми, там же поселились: Альма, приехавшая из костромской глуши Девочкина, Е. С. Лувещук и еще несколько бернских студенток.

Я один уехал в Дрезден.

В Берн я решил больше не возвращаться.

XI. ДРЕЗДЕН

Дрезденский квартирный кризис. — Дрезденская картинная галерея. — Мадонна Сикстинская. — Картины Гофмана. — «Эгмонт» Гете. — Победа разума.

Дрезден, когда я туда приехал, переживал квартирный кризис, прямо противоположный тому кризису, который переживают города СССР. В Дрездене тогда было много пустующих квартир и еще больше свободных комнат.

В распространенной обывательской газете я поместил объявление о том, что иностранец ищет меблированную комнату с пансионом. На следующий день мне на главном почтамте, куда я просил адресовать предложения, передали более шестисот писем и открыток. Предложения были самые разнообразные и самые заманчивые.

Предлагались комнаты не только с хорошим пансионом, но и с «интересным знакомством». Я нанял комнату без «интересного знакомства», но очень удобную, в хорошем районе, за баснословно дешевую цену. За комнату с полным пансионом (завтрак, обед, ужин) я платил пятьдесят марок, т. е. двадцать четыре рубля в месяц. Кормили, правда, довольно скудно, но для меня в то время это было совершенно неважно.

Я переживал трудную, мучительную борьбу между тем, что можно назвать долгом или совестью, и тем, что можно назвать любовной страстью, переплетенной с ревностью.

Ибсен устами Бранда говорит:

«Нет более опошленного, обрызганного ложью слова, как любовь».

То же можно сказать о всякой страсти, о совести, о долге.

Тонкие, сложные душевные переживания так индивидуальны, так личны, что для обозначения их хотелось бы выдумать свои, собственные, слова. Мне до известной степени понятно стремление Блока передавать свои наиболее интимные переживания стихами туманными, загадочными, мало понятными.

Мережковский как-то говорил мне, что есть три способа писать: понятно о понятном, непонятно о непонятном и непонятно о понятном.

Я всегда старался писать только о понятном и только понятно. Но теперь, когда я хочу передать свои интимные порывы и прорывы, слишком понятное мне кажется слишком грубым.

Раздвоение терзало меня. Писал письма Альме и Саше, но не посылал их, а рвал на мелкие клочки.

Осунулся, заболел, выглядел так плохо, что моя квартирная

хозяйка, почтенная бюргерша, начала бояться, как бы я не причинил ей похоронных забот и стала уговаривать меня поехать полечиться водой к пастору Кнейпу.

Но меня вылечил не пастор Кнейп. Меня вылечила серьезная работа мысли и чувства, пробужденных гением Рафаэля, Гете и Шиллера. В Дрездене я ежедневно по несколько часов проводил в его знаменитой картинной галерее.

Из картин Дрезденской галереи внимание Достоевского больше всего превлекала картина Клода-Лоррена «Асис и Галатея». Он ее называл «золотым веком»; он заставляет Версилова увидеть ее во сне:

«. . . уголок греческого Архипелага, при чем и время как бы перешло за три тысячи лет назад. Голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце . . .»

Меня эта картина тоже радовала, но все же не она исцеляла меня. Исцеляла Сикстинская Мадонна Рафаэля. Никогда не забуду того момента, когда глаза мои встретились с ее глазами . . . За минуту еще сердце ныло, душу кололи и рвали свои и чужие ошибки и преступления, но в момент встречи наших взоров на душе сделалось спокойно и радостно. Я почуял непередаваемую словами силу чистой красоты . . . Ах, как жаль, что крылья, на которых подымаешься ввысь, так слабы, и так быстро снова падаешь вниз!

В дрезденском драматическом театре я смотрел трагедии Шиллера и Гете. Сильнее всего подействовала на меня трагедия Гете «Эгмонт». Клерхен, пытающаяся поднять народное восстание, чтобы спасти Эгмонта, стала мне после этого ближе и дороже, чем Гретхен, которую я так любил в годы юности.

Во время представления я часто вспоминал Сашу, то отождествляя ее с Клерхен, то, как это ни странно, с покинутым ради Эгмонта простым, честным, любящим и незлобным Бракенбургом.

Слышу, как бедняга Бракенбург откровенно говорил Клерхен, что он не может любить Эгмонта. Эгмонт был богатым человеком и переманил у бедного лучшим пастбищем его единственную овечку.

«Я его никогда не проклинал, бог создал меня верным и мягким, в страданиях протекала моя жизнь».

Впечатление от трагедии Гете было тем сильнее, что она сопровождалась гениальной музыкой Бетховена.

Как раз на другой день после «Эгмонта» наступил в моей душе кризис. Чувство психического выздоровления было сходно с тем ощущением радости, которое я испытал ребенком, когда стал выздоравливать после крупозного воспаления легких.

Бродил я по дрезденскому парку и шатался, как пьяный, от внутренней борьбы, и вдруг после болезненного напряжения мысли что-то вспыхнуло в душе, и сразу я понял и почувствовал, что страсть к Альме необходимо победить. Стало легко. Немного грустно, но хорошо. В освеженную душу ворвались свет и шум окружающей природы и жизни. С глаз точно спала пелена. Солнце засветило ярче,

лица гуляющих стали красивее и добрее, все улыбались мне приветливо, точно поздравляли меня.

Альме я написал спокойное письмо, прощался с нею навсегда. Она ничего не ответила, но из письма Саши я увидел, что разрыв со мною Альма перенесла сравнительно легко. Не унывала, а рвалась к новым впечатлениям и новым переживаниям.

Вернуться к Саше я считал еще невозможным. Поехал учиться в самый маленький и, пожалуй, самый знаменитый из германских университетов, поехал в Иену.

XII. ИЕНА

Город ученых и поэтов. — Первая встреча с Эрнестом Геккелем. — Эволюционное учение. — Онтогения и филогения. — Монизм. — Жизнь Геккеля. — Геккель и великий герцог. — Борьба за истину. — На коммерсе вместе с Бисмарком. — Геккель и Бисмарк. — Шульце. — Неймейстер. — В анатомическом театре. — Анатом Фюрбрингер. — Литературный спор. — Анатом Барделебен. — Гильотинированный. — Геккель о смертной казни. — Лейх-Миллер. — Кесарево сечение. — Счастливая рука Шульце и злополучный нож Риделя. — Леля на волосок от смерти. — Бинсвангер и болезнь Ницше. — Цизн. — Счастливый брак по объявлению. — Физиолог Ферфорн о витализме и механизме. — Немецкое студенчество. — На «мензурах». — Японец Накарай. — Японская улыбка и русская шутка. — Латыши Бельдау, Залит, Баллод и Стучка. — Атлантикус. — Гагарин. — Штрейхер. — «Лесной царь». — Прощание с Иеной.

Удивительный город Иена! Нет равного ему в мире! В 1890 году в нем было четырнадцать тысяч жителей. Раньше еще меньше. А между тем его университет славится уж несколько столетий. Он связан с историей науки, литературы, религии.

В Иене жили, учились, учили, творили Лютер, Меланхтон, Лейбниц, Фихте, Гете, Шиллер, Гегель, Шлегель, Окен и др.

Старинные домики Иены положительно увешаны памятными дощечками с именами великих людей, живших в них.

В мое время ученым героем Иены был Эрнест Геккель, этот наиболее смелый и последовательный из друзей и учеников Дарвина, первый высказавший и обосновавший гипотезу о происхождении человека от обезьяны. Я встретился с ним на другой же день по приезде в Иену. Я входил в зоологический институт, чтоб узнать, когда начинаются там лекции и занятия. Навстречу мне легко и быстро спускался по лестнице высокий, стройный господин, в длинном, черном сюртуке и мягкой, черной шляпе с широкими полями. Я тотчас почувствовал, что это Геккель, и невольно поклонился ему. Он весело взглянул на меня и, приподняв шляпу, тонким, совершенно детским голосом бросил мне приветливое: «Guten Morgen».

Прекрасное лицо! Широкий, благородный лоб, густые, белокурые, откинутые назад волосы, ясные, определенные глаза, прямой породистый нос, широкая, мягкая борода, окаймляющая маленький, добродушный рот; свежий румянец, пробивающийся сквозь нежную кожу щек. Ему было тогда уже шестьдесят лет, но он неустанно работал с утра до вечера.

Первая лекция, прочитанная Геккелем крайне просто, произвела на меня сильное впечатление. Мне казалось, что он относился к науке

с какой-то родственной любовью: в его голосе, когда он говорил об успехах науки за последние годы, как-будто слышалась гордость отца, любующегося своим сыном-молодцом, оправдавшим возлагавшиеся на него надежды. Разумеется, я стал знакомиться с сочинениями Геккеля, и мне вскоре стало ясно значение его в науке.

Эрнест Геккель более чем кто-либо другой поработал над укреплением эволюционного учения тремя незыблемыми опорами: эмбриологией, сравнительной анатомией и палеонтологией. Он показал, что индивидуальное развитие животного из зародышевой клетки, которое продолжается самое большее несколько месяцев, есть не что иное, как сокращенное повторение исторического развития данного вида животного из низших видов, начиная с простого клочка протоплазмы (монеры). Это историческое развитие продолжалось несколько миллионов лет.

Геккель, несомненно, один из остроумнейших историков развития животного царства. Он вывел стройную научно-обоснованную родословную млекопитающих, начиная с их древнейших предков, одноклеточных животных (протозоев).

Теорию эволюции Геккель связал со своим философским мировоззрением. Он был прежде всего философ, но философ, отрицающий метафизику и мистику. Философией он называл научную работу над разрешением основных вопросов о мире и отношением к нему человека.

Свое философское мировоззрение Геккель называл монизмом (учением об единстве). Его монизм очень близок к пантеизму, всебожию Спинозы и Гете.

«Единый дух, — говорил Геккель, — живет во всех вещах, и весь познаваемый мир существует и развивается по одному общему основному закону».

По его убеждению, нельзя провести резкой границы между неорганической и органической природой, нельзя признать и абсолютного различия между царством животным и царством растительным, между миром зверей и миром людей. Нет двух наук: науки о природе и науки о духе: обе — одно.

Три области охватывает его монизм: исследование природы как познание истинного, этику как воспитание к доброму, эстетику как заботу о прекрасном.

Геккель был не только ученым исследователем, он был и неутомимым борцом за научные истины. Именно он пробил путь дарвинизму в немецкую науку, несмотря на упорное сопротивление таких крупных ученых, как Дюбуа-де-Реймон и Вирхов.

Любимым поэтом Геккеля был Гете: все, даже самые специальные сочинения Геккеля снабжены эпиграфами, взятыми из сочинений этого великого поэта и мыслителя Германии. Преклонение перед Гете снискало Геккелю расположение великого герцога веймарского, в семье которого неизменно поддерживается гетевский культ. Великий герцог не только приютил в своем Иенском университете отчаянного

дарвиниста, на которого сыпались со всех сторон тяжелые обвинения и в атеизме, и в шарлатанстве — он даже постоянно оказывал ему особенное покровительство и давал деньги на ученые экспедиции.

Геккель брал от герцога деньги на научные экспедиции, но он отказался принять от него чины (надворного советника, тайного советника и т. д.), которыми так гордятся выдающиеся немецкие ученые. Отказываясь, он скромно сказал:

— Достаточно того, что я Геккель.

Смущало почтенного монарха учение Геккеля о происхождении человека от обезьяны.

— Во всем я с вами согласен, профессор, — сказал как-то герцог ученому на придворном обеде, — но не могу переварить вашего утверждения, что мы произошли от обезьян.

— Не знаю, ваше высочество, произошли ли вы от обезьяны, — ответил, улыбаясь, Геккель, — но про себя я не сомневаюсь: посмотрите на мои заостренные уши, они прямое тому доказательство.

Как ни много Геккель работал для науки, про него все же нельзя сказать, чтобы он жил только ею. У него были и радости и горести личной жизни.

Совсем молодым он очень счастливо женился: жена его Агнеса была самым близким другом, разделяла его увлечения, помогала ему в его научных работах. Но Агнеса жила недолго. Она умерла, едва достигнув тридцатилетнего возраста.

Геккель был в отчаянии, он заперся в своей комнате и буквально бился головою о стену. Друзья с трудом удержали его от самоубийства. Но раз он остался жить, он хотел жить полной и радостной жизнью. На время он оставил свои занятия и, передав чтение лекций своему другу, знаменитому анатому Гегенбауеру, отправился в дальнее путешествие.

На обратном пути он познакомился с девушкой, которая напомнила ему его покойную Агнесу. Она сделалась его женой и другом.

У Геккеля я проработал больше года. О Геккеле я вспоминаю с чувством благодарности, так как он оформил мое миросозерцание, но все же и в Геккеле были странности и несообразности, которые отталкивали меня, с которыми я не мог примириться.

Несообразным казалось мне увлечение Геккеля «железным канцлером» Бисмарком.

В июле 1892 года ссора между императором Вильгельмом и князем Бисмарком достигла своего высшего напряжения. Император запретил германскому посланнику в Вене принимать какое бы то ни было участие в празднествах по поводу свадьбы старшего сына Бисмарка, Герберта, и в телеграмме нового канцлера Каприви, сообщавшей о воле императора, было указано, что последний делает существенное различие между Бисмарком прежде и Бисмарком теперь. Телеграмма появилась в газетах и вызвала в обществе скрытое негодование против монарха и открытое сочувствие бывшему канцлеру. Особенно сильное брожение поднялось среди профессоров Иенского универси-

тета, при чем Эрнест Геккель проявил себя самым горячим поклонником «человека железа и крови». Он, всегда говоривший, что для него политика в вопросах, не касающихся свободы мысли, — tabula rasa, стал теперь во главе политической демонстрации в пользу Бисмарка. Из Иены была послана в Киссинген, где находился в то время Бисмарк, депутация от города и университета: во главе ее стоял Геккель.

Он обратился к Бисмарку с речью, в которой до небес превозносил заслуги «творца единой Германии» и, между прочим, заметил как бы в ответ на слова императора, что для него «нет различия между Бисмарком прежде и Бисмарком теперь». В конце концов он просил бывшего канцлера вместе с его супругою и новобрачными посетить Иену, где им сумеют сделать достойный прием. Долго ломался Бисмарк, но в конце концов в Иену прилетела радостная телеграмма, что князь и вся его семья осчастливят город науки своим посещением.

Иена убралась флагами и цветами. От дома к дому через узенькие улицы перекинуты гирлянды из зелени и разноцветных фонарей, кое-где на балконах и в окнах бюсты и портреты Бисмарка, и повсюду назойливо режет глаза его пресловутая пустозвонная фраза: «Мы, немцы, боимся только бога, и больше никого на свете».

Наконец торжественный день наступил. Чего тут только не было! Процессия из детей и молодых девушек в белых платьях с венками на головах, факельцуги в несколько верст с участием всех студентов и учеников средних и низших учебных заведений, серенады, банкет с участием всех профессоров и наконец коммерс[1] на открытом воздухе, в котором участвовало более десяти тысяч человек. Именитых гостей несколько раз возили по городу среди ликующего народа, при чем некоторые из известных профессоров красовались в цилиндрах на козлах коляски новобрачных. Говорили, кричали «hoch!» и «ура!», а главное — бесконечно пили. Бисмарк был тронут и позволял собою любоваться вдоволь. Он выходил на балкон вместе со своей любимой собакой и говорил собравшемуся народу речи; на коммерсе он чокался с кем попало, и многие маленькие граждане были осчастливлены его рукопожатием.

Фигура поистине фундаментальная. Громадный, но не долговязый. Большая голова крепко посажена на широкие плечи. Совершенно обнаженный череп. Над суровыми глазами большие дуги, покрытые густыми седыми бровями. Под коротким носом резко очерченный жесткий рот и выдающийся энергичный подбородок.

Одет был Бисмарк в черный сюртук без всяких регалий, с красной гвоздикой в петлице. И жалко было смотреть на почтительно склонявшегося перед ним Геккеля во фраке, с какой-то лентой через плечо.

На банкете Геккель провозгласил Бисмарка первым из немцев. Мало того, он произвел его в сверхчеловека.

Научное видовое название человека — homo sapiens (человек

[1] Торжественное собрание с тостами, речами и, главным образом, с пивом.

мудрый), а Бисмарк, по словам Геккеля, должен называться homo sapientissimus (человек мудрейший).

Справедливость требует сказать, что не все иенские профессора принимали участие в бисмаркобесии. Известный математик Аббэ, руководитель микроскопной фабрики Цейсса, открыто протестовал против празднества в честь Бисмарка. Вдали от празднеств стоял и знаменитый гинеколог Шульце. Есть основания думать, что он не без насмешки относился ко многим проявлениям бисмарковского культа. Я знаю по этому поводу следующий случай.

Одна иенская дама написала в честь Бисмарка стихотворение, которое и поднесла князю во время празднеств. Подношение было, разумеется, милостиво принято, и поклонница Бисмарка, напечатав свое произведение, раздавала его наиболее почетным гражданам Иены. Она пожелала осчастливить и своего постоянного доктора, профессора Шульце. На приеме тотчас после того, как Шульце кончил ее осмотр, она торжественно вынула из своего ридикюля изящно перевязанный сверток и с приседанием передала его знаменитому гинекологу.

— Что это такое? — спросил изумленный Шульце.

— Это мое стихотворение в честь его светлости князя Бисмарка, господин тайно-надворный советник! — ответила с приятной улыбкой дама.

— Ах, возьмите, пожалуйста, обратно, мне некогда заниматься таким вздором, — заметил сурово ученый.

— Я сожалею о вас, господин тайно-надворный советник! — вскрикнула оскорбленная дама, окидывая Шульце презрительным взглядом.

— О, сударыня, вы правы, я действительно достоин сожаления, — добродушно рассмеялся ученый, раскланиваясь с гневно удалявшейся поэтессой.

Из молодых ученых нисколько не волновался по поводу приезда Бисмарка профессор физиологической химии Неймейстер. Он — редкий экземпляр в немецком профессорском мире, и на нем стоит остановиться подробнее.

Сначала он был офицером, затем вышел в отставку и, подобно Сеченову, поступив студентом на медицинский факультет, работал специально по химии и физиологии под руководством знаменитого Кюне, сделался доктором философии и медицины, приват-доцентом и, наконец, профессором, написал подробный учебник физиологической химии и показал себя передовым человеком, высказавшись за допущение женщин в Иенский университет, в то время как большинство иенских профессоров-медиков были решительно против такого допущения. Вот внешние факты. Они оригинальны, но чтобы понять суть этой оригинальности, необходимо познакомиться с подробностями, с внутренней стороной этих фактов. Я хорошо знаю Неймейстера, со мною он не стеснялся, и мне легко удалось познакомиться с этой внутренней стороной.

«Я бросил военную службу и поступил в университет, чтобы не быть стесненным формой и всякими офицерскими условностями,



В. А. Поссе в 1892 году

а отдаться жизни во-всю, — говорил он мне. — В университете я не поступал ни в какие «соединения», жил свободно, индивидуально. Редкую ночь ночевал я дома, я, что называется, погряз (versumpft); не было такого злачного места, где б я не бывал, — но сил у меня было вдоволь: после ночной оргии, не сомкнув ни на минуту глаз, я все же шел утром в лабораторию и производил тончайшие анализы».

«Я стою за высшее женское образование, — говорил он мне другой раз, — уже по одному тому, что мне было бы крайне приятно, если бы здесь, в лаборатории, занималась хорошенькая студентка (ведь есть же между ними хорошенькие!), — хоть поухаживать бы за нею».

Наукой Нейместер нисколько не увлекался, но он занимался довольно усердно, боясь всю жизнь просидеть в приват-доцентах. В сущности он даже жалел, что выбрал научное ремесло.

«Чорт возьми, — сказал он как-то мне, — может было бы лучше, если бы я в купцы пошел. Того уважения, как теперь, правда не было бы, зато веселее и можно бы много денег нажить».

Серьезных убеждений у него не было, не было и обычного немецкого шовинизма: «железо и кровь» его не увлекали.

«К чему драться с такими милыми и веселыми людьми, как русские и французы? Зачем нам в сущности Эльзас-Лотарингия? Все вздор!»

На борьбу с социал-демократами он смотрел так:

«Социал-демократы зарятся на туго-набитый карман капиталистов и требуют дележа; те, само-собой, огрызаются и кричат: самим мало!»

К философии, будь она метафизическая или позитивная, Нейместер неизменно относился презрительно, и лишь только вопрос выходил за область голых фактов, он тотчас начинал насмешливо декламировать слова Фауста:

«Кто смеет его назвать? И кто смеет признаться: я верю в него?» и т. д.

Иенский ученый мир разнообразен, и каждый представитель его своеобразен.

Профессоров анатомии в мое время в Иенском университете было два: Фюрбрингер и Барделебен.

Фюрбрингера студенты называли Sperling (воробей) за его необычайную живость: так и щебечет, так и прыгает. Каждый день он по два раза обходил всех работавших в «анатомическом театре». Одного что-нибудь спросит, другому покажет, глаз у него зоркий, ни один промах препаровки от него не ускользнет.

Препаровка трупов мне далась не легко. На первый раз мне досталась нога, она быстро начала разлагаться. Фюрбрингер не давал мне другого препарата, пока я не осилю эту несчастную ногу. И пришлось мне дней десять копаться в гнилом, омерзительно-пахнувшем человеческом мясе. Особенно тяжелые часы я пережил в анатомическом театре, когда мне пришлось препарировать шейные мускулы

совершенно свежего трупа старушки, ужасно походившей на мою няню Марьюшку.

Я перерезал вену, переполненную кровью, и должен был ежеминутно собирать кровь губкой. Руки мои тряслись, голова старушки, в рот которой был всунут крюк с подвешенной к нему гирей, качалась из стороны в сторону. Нервничая я хватался окровавленными руками за лицо и вообще весь измазался в крови.

В это время ко мне подошел Фюрбрингер и бросил обычную фразу:

— Wie geht's (Ну, как ваши дела?)?

— Nicht besonders gut (Не особенно хорошо), — сказал я смущенно.

Фюрбрингер посмотрел на перерезанные мускулы старушки и на мое окровавленное лицо и сказал:

— Leider, kann ich nicht sagen nicht besonders schlecht, — sehr schlecht (К сожалению, я не могу сказать не особенно худо, — очень худо!)!

В конце концов я научился хорошо препарировать и работал так усердно, что Фюрбрингер включил меня в число ближайших своих учеников, которых иногда приглашал к себе на ужин. На первом же ужине я позорно провалился.

Фюрбрингер, проявляя ко мне особенное внимание, завел разговор о русской литературе. Он читал, в немецком переводе конечно, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого. Особенно ему нравились романы Достоевского и народные сказки Толстого.

— У меня, — говорил он, — на столике около кровати лежит томик со сказками Толстого и я обыкновенно прежде чем заснуть перечитываю ту или другую из этих чудесных сказок.

Толстого Фюрбрингер ставил неизмеримо выше Ибсена. У Толстого, по его словам, все ясно, прозрачно, естественно, а у Ибсена — туманно, запутанно, фальшиво.

Я как раз в то время изучал Ибсена и увлекался им, поэтому стал горячо возражать Фюрбрингеру. В завязавшемся споре Фюрбрингер, между прочим, заметил:

— На днях мы с женой смотрели в веймарском театре пресловутую «Нору», которой восхищаются иные немецкие критики. Мы же с трудом досидели до конца спектакля. Все придумано и придумано неудачно. Ну скажите, разве есть в интеллигентном обществе мужья, подобные Гельмеру?

— Nur solche (Только такие!)! — невольно и необдуманно вырвалось у меня.

Наступила минута неловкого молчания. У Фюрбрингера лицо вытянулось, жена его, молодая, красивая блондинка, скромно, но изящно одетая, посмотрела на меня со скорбным недоумением, на лицах гостей студентов было не то возмущение, не то испуг.

Литературный спор прервался, и гости поспешили проститься с гостеприимными хозяевами.

Когда мы вышли из виллы Фюрбрингера, один из немецких студентов, с которым я был в хороших отношениях, с досадой в голосе сказал мне:

— Зачем вы испортили нам весь вечер? Как вы могли решиться оскорбить нашего дорогого профессора и его прелестную супругу? Ведь выходило так, что вы их брак приравниваете к несчастному и позорному браку Гельмера.

Я не пытался оправдываться.

Больше я у Фюрбрингера не ужинал.

Профессор Барделебен был прямой противоположностью Фюрбрингера. Его высокая фигура с лысой головой и громадной седой бородой неизменно выражала полное безразличие ко всему окружающему. Говорил он едва слышными, отрывочными фразами. Анатомия, в которой он сделал себе имя, была ему как-будто и скучна, и противна.

— И удивительно это, как я сделался анатомом, — говорил он как-то раз, покуривая папироску и безучастно посматривая на разложенные по столам трупы: — до сих пор не могу хорошенько привыкнуть к этой вони.

По временам на него нападало желание оживить свои до-нельзя скучные лекции по топографической анатомии каким-нибудь общеинтересным вопросом. Как-то раз заговорил он о смертной казни. Начал было обстоятельно приводить доводы за и против, но в конце концов все смял в циничной фразе:

— Впрочем, что из того, что кто-нибудь станет на голову короче, у нас за то будут хорошие микроскопические препараты.

Надо заметить, что некоторые препараты, например слюнной железы, удаются только «из совершенно свежего материала», т. е. из трупов не позже двух-трех часов после смерти. Разумеется, этот свежий человеческий материал могут доставлять лишь казни. Казнь поэтому «важна» для анатомов.

В Швейцарии университеты спорят о праве на труп казненного. Базельский профессор анатомии Кольмар не пропускал в мое время ни одной швейцарской смертной казни и даже принимал живое участие в «церемонии», ободряя преступника и читая вместе с ним «Отче наш».

Барделебена великий герцог веймарский, колебавшийся, подписать ли ему смертный приговор одному убийце, попросил разъяснить с научной точки зрения, необходима ли вообще смертная казнь? Барделебен сумел так разъяснить, что приговор был подписан.

В Веймаре закон, принятый еще во времена наполеоновской диктатуры, предписывает отрубать преступнику голову гильотиной. Ее пришлось взять напрокат из Франции, так как в других немецких государствах, в том числе в Пруссии, закон предписывал рубить голову преступнику просто топором, при чем палач или, как он официально называется, «господин острый судья» (Herr Scharfrichter), должен быть одет в черный фрак, белые перчатки и цилиндр, совсем по-бальному.

В Пруссии одно время поднимался вопрос о замене топора гильотиной, но этому воспротивился император Вильгельм II, переносивший свою ненависть к республиканской форме правления и на республиканское орудие казни.

Барделебен звал меня поехать на казнь в Веймар, но я отказался.

На казни присутствовало несколько иенских профессоров со своими ассистентами. Немедленно после удара ножа гильотины ученые бросились препарировать голову казненного. В это время, как рассказывал мне один из ассистентов, кишки продолжали двигаться и работать. Мозг был передан известному психиатру Бинсвангеру, железы и органы чувств взяты в анатомический институт, и мы вскоре получили «редкие препараты». Труп без головы был выставлен в препаровочной.

Записывая фамилии студентов, получивших для препаровки различные части трупа, Барделебен против слова голова (Kopf) поставил несколько восклицательных знаков.

Фюрбрингер, делая обычный обход, не без удовольствия посмотрел на стройное тело и крепкие мускулы казненного и посоветовал студентам препарировать особенно старательно, так как свежий материал попадается, к сожалению, не часто.

Служитель института, пожилой бородатый человек с черным колпаком на голове, окинул беглым взглядом безголовое тело, покачал головой и проворчал:

— Ишь, какого молодца зарезали!

Я не удержался, чтобы не выразить громко своего отвращения к юридическому убийству. Некоторые из студентов посмотрели на меня с недоумением, другие ощетинились и принялись раздраженно защищать необходимость и справедливость смертной казни. Свои доводы они отчасти заимствовали у Геккеля.

Геккель в своей «Истории естественного творения» решительно высказывается в пользу смертной казни. Она, по его мнению, служит благодетельным искусственным подбором, удаляя из жизни испорченные элементы и облегчая остающимся, нравственно-здоровым борьбу за существование. Противников смертной казни он обвиняет в «фальшивой гуманности».

Профессором патологии, точнее патологической анатомии был в мое время старый Мюллер, прозванный студентами Лейх-Мюллер (Труп-Мюллер). Он как будто всю жизнь провел с трупами и пропитался их запахом. Худенький старикашка с редкой седенькой бородкой и большим красным носом Лейх-Мюллер, дослужившийся до чина тайного советника, был прямо влюблен в свое ремесло. С шести часов утра он уже на своем посту в патологическом институте и копается в полусгнившем мясе. Каждое вскрытие он делает сам и делает очень внимательно, что не всегда бывает приятным профессору хирургии Риделю.

Ридель единственный из иенских профессоров, о котором у меня сохранилось неприятное воспоминание.

Когда я работал в хирургической клинике, Саша с детьми уже переехала из Фрейбурга в Иену, и мы жили вместе.

У Лели, которой тогда было около четырех лет, сильно увеличились миндалевидные железы, и я думал, что их следует удалить. Обратился за советом к Риделю; он нашел, что нужно сделать операцию, не теряя времени.

Я знал, что операция пустяшная, и ее обыкновенно делают без общего наркоза. Знал также, что для вырезывания гланд существует особый инструмент.

Но у Риделя был свой хирургический метод. Он, по его словам, верил только в нож.

Я хотел присутствовать при операции, но Ридель потребовал, чтобы я удалился, как только Лелю захлороформировали.

Сидим с Сашей в приемной и ждем, когда нас позовут. Время тянется томительно долго. Проходит полчаса, а нас не зовут. Иду в операционную, меня не пускают. Слышу раздраженный крик Риделя, пробегает ассистент в залитом кровью халате и на мой вопрос, что случилось, растерянно разводит руками.

Только через час из операционной вынесли бедную девочку. Личико бледное, как полотно, губки посиневшие, головка безжизненно свесилась на сторону.

Саша берет ее на руки, прижимает к груди, она открывает глазки, но ничего не говорит. Мы понесли Лелю домой. По дороге ее все время рвало сгустками крови.

Риделевский нож перерезал в горле Лели артерию, и наша девочка была буквально на волосок от смерти. Мне потом «сестра», присутствовавшая при операции, рассказывала, что Риделю никак не удавалось остановить кровь, и одно время казалось, что спасти нашу девочку невозможно.

Медленно восстанавливались силы Лели, и опытный терапевт, фамилию которого я, к сожалению, забыл, первую неделю после операции опасался, что мы потеряем нашу девочку.

В тот же день Ридель делал операцию, тоже пустяшную, — удаление геморроидальных шишек заслуженному профессору теологии, тайному советнику Липсиусу, которого называли «протестантским папой». И в этом случае Ридель работал ножом.

В результате операции Липсиус истек кровью. Смерть Липсиуса вызвала всеобщее возмущение, и в местной газете появилась статья о необходимости строгого расследования причин неудачных операций Риделя.

Ридель, оправдываясь, уверял нас, своих слушателей и учеников, что в смерти Липсиуса виноват сам «протестантский папа», так как вскрытие тела показало, что он будто бы был горький пьяница, но это было скрыто от Риделя, иначе он остерегся бы делать ему операцию.

Через несколько дней после смерти Липсиуса Ридель оперировал двух младенцев с так называемой «заячьей губой». Он хвастливо ука-

зывал нам, как быстро, легко и чисто он сделал эти операции. Через два дня после этого я видел трупики обоих младенцев на столе у Лейх-Мюллера.

Оказалось, что и в этом случае виноват не оператор, а сами младенцы. Они, по словам Риделя, были глупее кроликов и не умели дышать не то носом, не то ртом.

Я видел еще много таких же «удачных» операций Риделя, а между тем у него очень почетное научное имя, и его очень усердно защищали многие из коллег.

У некоторых медиков существует довольно странное представление о медицинской этике. Она будто бы требует замалчивания неудач и ошибок товарищей по профессии. Кто сочтет число жертв хирургической и вообще врачебной небрежности? Нередки случаи, когда во внутренностях оперируемого забываются инструменты, тампоны и даже целые полотенца. И большей частью все это сходит благополучно с рук, для врача, конечно, а не для пациента.

Но есть врачи с необычайно чуткою совестью. Мне, например, припоминается петербургский профессор Коломнин, который застрелился, когда убедился, что оперированный им солдат умер от его неосмотрительности. К таким чутким и совестливым врачам несомненно принадлежал профессор Шульце, о котором я уже упоминал.

Два часа ночи. Звонок. Встаю, отворяю дверь. Добродушная физиономия служителя акушерской клиники.

— Торопитесь, господин Поссе. Профессор прислал за вами. Какой-то чрезвычайно редкий случай.

Бегу в клинику, облекаюсь в белый халат. Вхожу в операционный зал. Там уже профессор Шульце, два ассистента, фельдшерица, «сестра» и три или четыре студента-практиканта.

На столе лежит маленькая женщина, почти карлица с большим животом. Один из ассистентов хлороформирует, заставляя карлицу считать «ein, zwei, drei».

Мы, практиканты, становимся на стулья, чтобы лучше видеть то важное и редкое, что должно сейчас произойти.

Шульце, старательно моя руки, говорит нам:

— Сейчас вы увидите кесарево сечение. Кесарево сечение я делаю этой карлице уже третий раз. Два мальчугана, вырезанные мною три и четыре года тому назад, здравствуют и прекрасно развиваются, несмотря на то, что оба — дети свободной любви. Будем рассчитывать на благополучное появление на свет и этого третьего «кесарева» младенца. Я уже обещал матери, что буду его крестным отцом, как и двух предыдущих. В литературе известно только два случая трех благополучных кесаревых сечений одной и той же женщине. Разрез можно делать только, когда уж начались родовые схватки и в самый момент одной из них, иначе не избежать рокового кровотечения. Трудность не в разрезе, а в наложении шва. С каждым новым сечением накладывать шов все труднее, так как надо выбирать новое место. В былые времена кесарево сечение было неминуемой смертью для матери. Те-

перь кесарево сечение не многим опаснее обычных родов. Смею думать, что изобретенный мною шов спасет жизнь многим матерям, обиженным природой.

Карлица перестала считать. Заснула. Шульце кладет ей на живот левую руку, выжидая схватки. Быстрый удар ножа, и через мгновение в руках крестного отца копошится красное тельце и раздается приветственный крик старому миру нового человека. Сестра уносит младенца, а Шульце накладывает свой знаменитый шов. Двенадцать стежков, двенадцать игл.

— Все двенадцать налицо? — спрашивает Шульце.

— Здесь только одиннадцать, — смущенно говорит ассистент.

— Ищите двенадцатую, — глухо произносит Шульце.

Ищут, не находят. Гробовая тишина. Слышу, как усиленно бьется мое сердце. Так же, вероятно, бьются сердца и всех других.

Неужели игла осталась в чреве матери, просыпающейся после наркоза?

Старый профессор склонил свою умную голову на руку и думает тяжелую думу.

И вдруг раздается радостный возглас фельдшерицы-акушерки, в руках ее блестит найденная на полу игла. Единодушный вздох облегчения.

В клинике Шульце я не видел ни одной неудачной операции, ни одних несчастных родов.

Большой ученый, великолепный врач, прекрасный человек, внимательный и ласковый с больными женщинами.

Психиатрической клиникой в Иене руководил профессор Бинсвангер. Маленький, шустрый, рыжеватый, с многочисленными шрамами от студенческих дуэлей Бинсвангер необычайно интересно вел клинические занятия. По временам он бывал слишком развязен и весел и своими шутками оскорблял душевнобольных. Сумасшествие не глупость, и случалось, что душевнобольные давали зарвавшемуся профессору жестокий отпор.

Под наблюдением жизнерадостного Бинсвангера, в то время как я учился в Иене, находился Фридрих Ницше. Бинсвангер часто ездил к нему на виллу его сестры в Веймаре, но никакой помощи оказать не мог, так как ужасная душевная болезнь философа-поэта была неизлечима.

Если бы Бинсвангер решился пошутить над Ницше, то тот не в состоянии был бы дать ему никакого отпора. В течение десяти слишком лет Ницше влачил существование в полном отупении. Оно иногда «прерывалось» безумными головными болями. Раздавались дикие крики. Крестьяне, проезжавшие с базара мимо виллы Ницше, слыша эти крики, пощелкивали бичом и спокойно говорили:

— Профессор опять кричит. Верно завтра будет дождь.

Часто задумываюсь я над трагедией Ницше, остроумные афоризмы которого будили и будоражили мою мысль.

Ницше был проповедником «смерти во-время». Он надеялся уме-

×) Все три „Состояние", „Симптома" — как раз у меня Апрель 1974

реть «своею смертью», умереть «победоносно, окруженный теми, кто надеется и дает священный обет».

А между тем в течение многих лет он не сознавал ничего, кроме жестокой боли в голове.

И не нашлось друга, который поднес бы ему чашу успокоения.

По словам Геккеля в восьмидесятых годах прошлого столетия в одной только Европе было более двух миллионов душевнобольных, из них не менее двухсот тысяч безусловно неизлечимых. Уничтожение неизлечимых сумасшедших было, по словам Геккеля, уничтожением страданий и для них, и для их близких. Не говоря уже о том, что освободилось бы для полезного труда много жизненной энергии, поглощаемой уходом за сумасшедшими.

Мне кажется, что для оздоровления человечества нужно серьезно и дельно подумать не столько об уничтожении безнадежных сумасшедших, сколько о лечении массы нервнобольных, гуляющих на свободе. Между этими больными и сумасшедшими трудно провести резкую грань. Сколько горя и себе и другим приносят, например, неврастеники.

Бинсвангер едва ли не первый разработал учение о неврастении и ее лечении.

«Неврастеники, — говорил он, — приносят, пожалуй, больше зла, чем сумасшедшие. Излечить их можно только в том случае, если изменить их бытовую обстановку и прежде всего отделить от близких им людей».

С медицинской точки зрения неврастеничных супругов (будь они оба неврастеники или только один) нужно разводить до выздоровления. Неврастения родственна истерии, психостении и другим так называемым функциональным нервным болезням. Общим признаком этих болезней можно считать понижение работоспособности, быструю смену настроений, беспричинную раздражительность. ×)

Первым ассистентом Бинсвангера был Циэн (Ziehen). Человек крупный, с большой круглой головой, без бороды и усов, спокойный, уравновешенный, Циэн был идеальным врачом для душевнобольных. Читал лекции умно, красиво, изящно.

Слушая, как он просто, ясно рассказывал о сложной работе здоровых и больных клеток головного мозга, я всегда думал:

«Вот человек, который сумеет прожить счастливо долгую, здоровую жизнь, если найдет себе соответствующую спутницу».

Этой спутницей оказалась наша соседка. Мы познакомились с ней и ее семьей, и нам пришлось узнать историю брака Циэна, так как в небольшом домике маленькой Иены все жили «открыто».

Семья наших соседей состояла из старухи матери и двух дочерей: старшей, красивой, стройной брюнетке было уже двадцать семь лет — возраст, когда девушке по буржуазным понятиям надо торопиться с поиском жениха, чтобы не остаться (о, ужас!) старой девой. Наша знакомая по совету матери напечатала в местной иенской газете объявление такого приблизительно содержания:

«Девица двадцати семи лет с небольшим приданым, любящая музыку и немецких классиков, интересующаяся философией и естествознанием, желает познакомиться с академически образованным господином не старше сорока лет в надежде, что знакомство может закончиться законным браком».

На это объявление откликнулся Циэн, и вскоре мы с Сашей могли наблюдать, как молодые люди отправлялись вместе на прогулку в окрестности Иены, и слушать, как они в четыре руки разыгрывали несложные музыкальные вещи.

Было условлено между ними, что если в течение шести месяцев не произойдет ни одной ссоры, ни одного недоразумения и склонность друг к другу будет все усиливаться, то знакомство закончится браком. Само собою разумеется, что Циэн в течение испытательного срока постарался узнать состояние здоровья не только своей будущей жены, но и ее родных.

Все было взвешено и обдуманно.

Через шесть месяцев состоялась свадьба.

Думаю, что этот брак оказался счастливым. Во всяком случае такие браки по расчету более гарантированы от трагических надрывов и разрывов, чем браки по внезапно вспыхнувшей влюбленности, когда люди бросаются друг другу на шею, друг другу отдаются, не зная прошлого, не думая о будущем.

Конечно, не всякий сумеет жениться или выйти замуж по объявлению и быть потом счастливым. Я бы, например, не сумел. Циэн сумел не только удачно жениться по объявлению, но и приобрести известность мирового ученого. Его работы по физиологии нервной системы переведены на многие языки, в том числе на русский.

С Циэном у меня были хорошие отношения, и в 1896 году я пригласил его сотрудничать в «Новом Слове», обещая лично переводить его немецкие рукописи на русский язык. Он охотно согласился, но фактически сотрудничество не состоялось вследствие гибели журнала.

Не состоялось по той же причине и сотрудничество Геккеля, который пошел навстречу моей просьбе написать свою автобиографию.

Из иенских профессоров фактически приняли участие в «Новом Слове» только профессор педагогики В. Рейн, статья которого «Культура и образование» была напечатана в февральской книжке «Нового Слова» за 1897 год, последней книжке народнического направления, и профессор Ферфорн, статья которого «Витализм» была напечатана в мартовской книжке, первой книжке марксистского направления.

С Ферфорном я познакомился в 1891 году, когда он был еще совсем молодым человеком, только что окончившим университет. Маленький, с большими черными глазами, со свежими черными усиками и с черной, только что пробившейся бородкой, Ферфорн уже тогда решил отдать все свои силы изучению того, что он полушутя, полусерьезно называл душою клетки.

В 1897 году он был уже профессором и видным ученым. В статье, присланной для «Нового Слова», он основательно разбивает все тео-

рии, признающие существование какой-то жизненной силы, независимой от сил механической и химической.

Свою статью он заканчивал словами:

«Не витализм, а механизм — девиз современной физиологии».

Вспоминая Иену девяностых годов прошлого столетия, удивляешься, как много тогда в ней было талантливых научных тружеников, пробивавших новые пути, удивляешься потому, что студенческая среда казалась мне мало культурной, лишенной высоких идейных порывов.

В начале девяностых годов в Германии был двадцать один университет с тридцатью тысячами студентов. Немецкое студенчество распадалось на студентов обыкновенных и студентов «цветных», т. е. принадлежавших к различным корпорациям и буршеншафтам, именовавшимся латинскими названиями германских племен. У каждой корпорации каждого буршеншафта своя форма (цветная лента через плечо, особая фуражка), свое знамя.

Корпорации считались более аристократическими, чем буршеншафты; последние в начале XIX века играли революционную роль. От того времени остались лишь песни, в них поется о «великой немецкой республике», «о свободном слове, о смелом деле», об «уважении к женщине» и о «великих освободительных задачах свободного бурша». «Свободен бурш, свободен бурш!» поется в одной из распространенных студенческих песен. Но в мое время этот припев имел лишь тот смысл, что бурш был свободен от чувства истинного долга, свободен от понимания великих задач современного общества, свободен от любви к науке и уважения к великим деятелям своей родины (за исключением Бисмарка, разумеется), но он был жалкий раб ничтожных предрассудков окружающей среды.

«Демократический бурш» ассимилировался и уподобился «аристократическому корпоративному студенту», разница только в том, что жизнь члена буршеншафта была дешевле жизни члена корпорации. В корпорациях преобладали, да вероятно и теперь преобладают бароны и фоны, в буршеншафтах — сыновья видных, но не титулованных буржуа. Корпорации и буршеншафты состояли при университетах, но их членам решительно некогда было заниматься наукой, их университетская жизнь слагалась из бесконечных попоек, грязных похождений и так называемых «мензур».

Мензуры Вильгельм II тотчас по восшествии на престол в одной из своих речей назвал «лучшим воспитательным средством». Он видел в них залог будущих побед великой Германии. Но что такое эти пресловутые мензуры?

Это не дуэли. В мензурах нет оскорбленной чести и риска своею жизнью, мензуры не рыцарские турниры, так как в них нет ни блеска, ни изящества последних, мензуры, наконец и не наши кулачные бои, участникам которых нельзя было отказать в известной удали. Мензуры это просто взаимное тщеславное кровопускание, без риска для жизни. Противники дерутся, защищенные бандажами вплоть до го-

ловы, на которую (в особенности на физиономию) сыплются удары легких рапир.

Вскоре по приезде в Иену я присутствовал на мензурном состязании, происходившем в окрестностях Иены в деревенском трактире и продолжавшемся двенадцать часов, от шести часов утра до шести часов вечера.

Зрелище было очень поучительное для понимания настроений привилегированной части немецкой интеллегенции.

Танцовальный зал, где по воскресеньям под звуки доморощенного оркестра отплясывает деревенская молодежь, превращен был в грозную боевую арену.

По середине комнаты, на растянутой коже стояли две мрачные фигуры противников, обернутые в кожаные бандажи вплоть до обнаженных голов, глаза защищались особыми очками в черной, широкой, кожаной оправе, в правой руке, поддерживаемой студентом-пажом, крепко была стиснута длинная, острая рапира, у одного из противников с красной, у другого — с синей рукояткой. По бокам стояли два секунданта, тоже с рапирами в руках, один в красном одеянии, другой — в синем. На возвышении помещался судья в белой фуражке с записной книжкой, против него на стульях — два «врача» (студенты-медики старшего курса) в черных кожаных передниках. Один из них был в высшей степени характерен: огромная толстая фигура, жирная бритая физиономия, двойной подбородок, заплывшие глаза, плешивая голова, — настоящий Калхас из «Прекрасной Елены». Ему уж, наверно, сильно за тридцать, видно, что он прошел «основательную школу».

Красные, синие и белые студенты соответственно группировались по сторонам своих бойцов и около судьи. Посторонних зрителей было не слишком много: несколько деревенских мальчишек, кучка заскорузлых рабочих с темными запыленными лицами, с голыми жилистыми руками и, наконец, кое-кто из интеллигентных любителей сильных ощущений. Между последними бросалась в глаза высокая фигура в длиннополом, черном сюртуке; гладко выбритое, невозмутимо-спокойное лицо-маска сразу выдавало лютеранского пастора.

Все находились в ожидании. Противники были сильно взволнованы: один чрезмерно бледен, другой чрезмерно красен.

— Bindet! (Свяжитесь!) — раздалась команда судьи.

Противники стиснули зубы, рапиры скрестились.

— Los! (Развяжитесь!) — послышалась команда.

Рапиры свистнули в воздухе, несколько секунд слышался характерный стук оружия, и щеки обоих противников почти одновременно покрылись алой кровью.

Секунданты стали разнимать рапиры бойцов, пажи поддерживали их руки, судья делал в своей записной книжке отметки, врач обтер сулемой раны и, отряхнув с жирных ладоней свежую кровь, спокойно сел на свое место.

Новая команда, новая кровь, новая пауза и т. д. Кровь у обоих

бойцов так и струится и с головы, и с лица... Рубашки, видные из-под бандажей, насквозь пропитались кровью и кажутся кумачными... Слипшиеся, красные от крови волосы поднялись дыбом... Но никто не сдается, резня продолжается. Смотреть на бойцов становится противно, я смотрю на окружающих.

Секунданты невыносимо кривляются, стараясь, повидимому, поразить зрителей своим изяществом и ловкостью, на лицах их играет довольная, тщеславная улыбка. Лицо судьи, как и многих других студентов, принимает какое-то сладострастное выражение, и чем больше льется кровь, тем сильнее выступает это странное сладострастие. Один из «пажей», «желторотенький» студентик, смотрит на окровавленные лица сражающихся со страхом и жалостью. Видно, что он здесь еще в первый раз, что ему неловко, что ему совестно, что что-то щемит его сердце. Так именно должен выглядеть невинный мальчик, которого «добрый малый» в первый раз привел в известный дом. Пастор сохраняет невозмутимое спокойствие. Рабочие смотрят с презрительной насмешкой, видимо, не считая этих людей в разноцветных шапках за сходные с собою существа.

Резня продолжается уже около часа. Один из противников сильно утомлен: удары слабы, дыхание тяжело, он что-то шепчет своему секунданту, тот сердито и недовольно отворачивается, как будто не желая и слушать. Бой продолжается, бедняге совсем плохо, ему подают кружку с пивом, но он не в силах глотать. Он взорами просит товарищей, чтобы ему позволили сдаться, что он не в силах больше держаться на ногах. Товарищи недовольны, но в конце концов принуждены сдаться. Бой кончен. Раненых раздевают «врачи», обмывают и перевязывают раны.

Я не без содрогания смотрю на одного из «подбитых», в изнеможении опустившегося на стул. Небольшая, слабенькая фигурка, тонкая, длинная шея, маленькая окровавленная голова свесилась на бок, руки бессильно опустились к земле. Совершенно — тетерка-подранок, у которой голова разбита, но жизнь осталась: она неподвижно сидит на земле, бессильно растопырив крылья, свесив окровавленную голову, не замечая подходящей собаки.

Через двадцать пять минут — новый поединок, и на этот раз еще более противный. Один из бойцов, видимо, страдает пороком сердца и с первых же ударов слабеет и буквально начинает задыхаться, широко раскрывая рот и со страшным трудом глотая воздух. Он ежеминутно просит перерыва! Ему подставляют спинку стула, на которую он склоняется в изнеможении. Тяжелое дыхание, посиневшие губы... Все смотрят на него с презрением и нетерпеливым ожиданием. Он старается улыбнуться — выходит жалкая гримаса. Он собирается с последними силами и с остервенением машет рапирой. Он шатается. Ему кладут на сердце холодные компрессы, но это помогает ненадолго.

«Burschenschaft, Ariminia ex» — раздается, наконец, голос судьи, т. е. «Ариминия сдается».

Больного под-руки уводят в другую комнату.

У судьи попрежнему играет на лице сладострастная улыбка, рабочие попрежнему смотрят насмешливо и презрительно, пастор попрежнему невозмутим, только у молоденького студентика глаза покрылись влажной поволокой, и он готов расплакаться.

«Как все здесь грубо, неизящно, кроваво и . . . развратно!» — думаю я, выходя из залы.

В пять часов вечера я снова возвращаюсь, чтобы проверить первое впечатление. Повсюду «подбитые»: перевязанные головы, починенные носы и т. д. «Красные» уже сдались. Бьются синий с белым. Оба бойца крепкие и рьяные. Несколько ударов, — и рапира белого с силой ударяется в голову синего. Кусок кожи с волосами отлетает в сторону, из виска брызжет кровь. Мой сосед отирает с лица долетевшие до него капли крови. Рана сравнительно серьезная (перерезана височная артерия), и бой сразу окончен. Окровавленное лицо победителя положительно сияет торжеством. Его окружают, поздравляют.

Белые ликуют, синие раздражены и бесцеремонно гонят вон публику, и публика повинуется, а то ведь «и побить могут». С особенным неудовольствием уходит пастор, он, видимо, разлакомился.

Я выхожу с тяжелой головой, с чувством омерзения на сердце, но с ясным пониманием истинного общественно-воспитательного значения этих «великолепных мензур». Я понял, что они стоят в неразрывной связи с кровожадностью и развратом части так называемого образованного немецкого общества, с необычайною узостью его кругозора, с рабскою подчиненностью мнению господствующей силы и с неспособностью усвоить великие современные идеи.

В выпивках, грязных приключениях и мензурах «цветные» студенты проводили обыкновенно два-три года, потом выходили из действительных членов корпорации и начинали «наскоро» по конспектам готовиться к экзаменам, что не мешало им потом добиваться высоких положений.

«Цветные» студенты составляли не все студенчество и даже не большинство.

Большинство составляли студенты, не имевшие средств поддерживать «честь» корпораций и буршеншафтов. Они если и объединялись, то в певческие, музыкальные и научные ферейны. Между ними много добросовестных работников, но «идеалистов» было очень мало.

Товарищеских отношений с немецкими студентами у меня не было. Вот молодого японца Накарая я мог назвать товарищем. Нас почему-то тянуло друг к другу. В течение двух лет мы виделись ежедневно, вместе работали в анатомическом театре, в лабораториях, в клиниках. Ходили друг к другу в гости. По рассказам Накарая я довольно основательно познакомился с бытом тогдашней Японии.

Общественно-политические взгляды у нас были совершенно различные, но это делало наши беседы, для меня по крайней мере, тем более занятными. Я, например, с интересом выслушивал рассуждения

Накарая о том, что езда на людях (рикшах), введенная в Японии в середине XIX столетия, была большим «культурным завоеванием», так как уменьшила безработицу и освободила лошадей для кавалерии.

Точно также с интересом я выслушивал рассуждения Накарая о том, что гейши, продающие свои ласки, необходимы для укрепления семьи и для укрепления здоровья молодого поколения.

Спорить с Накараем по таким вопросам мне казалось просто нелепо, так как мы были люди разных культур. Накарай никак не мог понять, почему я рассмеялся, когда он начал, волнуясь, извиняться за то, что какой-то японский фанатик хватил саблей по голове наследника русского престола Николая Романова, приехавшего в гости к микадо.

Мой смех не вызвал у Накарая улыбки. Вообще же он, как и большинство японцев, постоянно улыбался, а шуток не понимал.

Как-то раз после небольшого кутежа со своими земляками по случаю какого-то национального праздника Накарай пропустил практические занятия у Фюрбрингера. Фюрбрингер не обратил на это никакого внимания, но Накарай очень боялся как бы тот не осудил его. Встретив меня на улице, Накарай озабоченно спросил:

— Ну, что сказал Фюрбрингер, увидев, что меня нет?

Мне захотелось подразнить милого японца.

— Фюрбрингер был очень недоволен. И зачем это желтолицые едут к нам за десятки тысяч верст, сказал он, раз они не желают прилежно учиться и проводят время в кутежах?

Накарай задрожал от волнения, посерело его желтое лицо, заблестели черные щели узких глаз, и он забормотал своим тусклым гортанным голосом:

— Этого нельзя так оставить. Сейчас бегу, чтобы объясниться с ним.

— Ну полноте, — сказал я, улыбаясь русской улыбкой, — я пошутил, ничего он не говорил.

Не успел я кончить фразу, как Накарай подпрыгнул и своими тонкими, цепкими пальцами с острыми ногтями схватил меня за горло. У меня закружилась голова, но я успел ударом кулака отбросить его от себя.

Мы стояли друг перед другом, тяжело дыша. Первый заговорил Накарай. Протягивая мне руку, он сказал:

— Простите меня. Но никогда больше не шутите. Мы, японцы, любим улыбаться, но шуток мы не понимаем.

Накарай часто угощал меня кушаньями, приготовленными по-японски, приправленными острым соусом сои, и учил есть палочками. Я в ответ угощал его русскими блюдами. Накараю особенно нравилась простокваша, и он выучил ее русское название.

— Просто-кваша, просто-кваша, — повторял он, мило улыбаясь.

Во время русско-японской войны я нередко вспоминал Накарая. Он, вероятно, принимал в ней участие в качестве врача, и не повторял ли он, мило улыбаясь: «просто-кваша, просто-кваша».

Русских студентов, когда я поступил в иенский университет, там

не было. Впрочем за русских сходили три латыша: Бельдау, Баллод и Залит.

Бельдау, малый забулдыжного вида, был студентом-медиком. Человек совершенно беспринципный, он пил не хуже любого немецкого студента, еженедельно ездил в Лейпциг для легких «утех любви» и все же преуспевал в медицине, проявив еще до окончания курса врачебную предприимчивость. Прочитав как-то в «Неделе» (ее я получал, как сотрудник) статью Португалова о лечении алкоголизма впрыскиванием стрихнина, он состряпал об этом способе «сообщение» для немецкого медицинского журнала, и таким образом получил «имя».

А затем стал и сам лечить алкоголиков впрыскиванием стрихнина и не без успеха, хотя я думаю, что в данном случае успех объяснялся не столько стрихнином, сколько гипнозом.

Баллод, высокий, худой неуклюжий брюнет в золотых очках, похож был на пса хорошей породы. Ходил осторожно, как будто на цыпочках. Говорил тихо, медленно, часто отхаркиваясь. Плевал в носовой платок и после плевка внимательно рассматривал мокроту.

Сестра его, некрасивая, болтливая бабенка, была замужем за Залитом.

В Залите что-то тоже было собачье, но породой он не вышел. Весь серый, выцветший, он держался боязливо-ласково. Постоянно улыбался улыбкой сладкой. И слова у него были какие-то сладкие. Вообще весь сладкий.

Мне кто-то рассказывал, что на каком-то торжественном обеде Залит произнес сладкую верноподданническую речь. Товарищ Стучка, латыш совершенно другого типа, чем мои иенские знакомые, сидевший на обеде рядом с Залитом, смешал на своей тарелке горчицу с уксусом и этот кисло-горький соус вылил на голову своего соседа, спокойно сказав:

— Вы невыносимо сладки.

В начале девятисотых годов в период моей эмиграционной жизни я был дружен с латышами социал-демократами, как и Стучка, людьми твердыми, решительными, последовательными. Этого, конечно, нельзя сказать про Бельдау, Залита и Баллода, но и эти последние были людьми даровитыми и деловитыми.

Залит писал в двух латышских газетах, изучал философию и получил докторский титул за диссертацию «О свободе воли в учении Канта». Диссертацию одобрил известный немецкий философ Эйкен. На Баллода Залит смотрел с подобострастием, предвидя, что тот сделается знаменитостью.

Предвидение Залита оправдалось.

Окончив богословский факультет в Юрьеве Баллод специализировался по... географии. Устраивал латышские колонии в Бразилии, куда ездил два раза. Колонии не удались. Но статьи о Бразилии, напечатанные в одной из солидных немецких газет, удались и были первым шагом к известности.

В Иене Баллод занимался не только географией, но и общественными науками. Я убедил его прочесть первый том «Капитала» Маркса. Меня поразило, как быстро он прочел и усвоил этот труд. К трудовой теории ценности отнесся он критически, и критика его была не глупее критики Бем-Баверка.

По окончании Иенского университета он хотел сразу держать магистерский экзамен на физико-математическом факультете Петербургского университета, надеясь быстро добиться профессорской кафедры, несмотря на плохое знание русского языка.

Но здесь ему не повезло. Факультет, деканом которого в то время был известный химик Меньшуткин, потребовал, чтобы он раньше сдал кандидатский экзамен по всем предметам естественного отделения, в том числе по химии. Химии Баллод не знал. Не попав в профессора географии, он использует богословский диплом и берет место пастора где-то на Урале. Пишет какую-то солидную работу по политической экономии на немецком языке. Бросает пасторство и едет в Берлин, где работает у известных буржуазных экономистов Шмоллера и Адольфа Вагнера. По их рекомендации приглашается заведующим экономическим отделом консервативной «Kreuzzeitung» («Крестовой газеты»), органа прусских «юнкеров» или по-нашему «зубров».

В это время пишет «социалистическую книгу»: «Взгляд на государство будущего». Книга эта с хвалебным предисловием Карла Каутского издается социал-демократическим издательством Дитца, причем Баллод скрывается под псевдонимом «Атлантикус».

Каутский, вероятно, не знал, что Баллод был сотрудником «Крестовой газеты», а «Крестовая газета» не знала, что социалист Атлантикус и Баллод одно и то же лицо.

Псевдоним охранялся очень строго, но я, прочитав «Взгляд на государство будущего», тотчас догадался, кто его автор, так как в беседах со мной в Иене Баллод развивал приблизительно те мысли, которые впоследствии изложил в своей книге. И псевдоним был мне понятен. Баллод тщеславился тем, что четыре раза пересек Атлантический океан.

Мою догадку подтвердил мне в 1906 году Залит, удивившийся и даже испугавшийся, что я открыл псевдоним его друга.

Атлантикус в своей книге примиряет интересы социал-демократов с интересами прусских помещиков, попов, офицеров и т. д. Социал-демократическое государство, по проекту Атлантикуса, покупает у помещиков имения на очень для них выгодных условиях и платит очень высокое жалованье попам и офицерам. В колониях Атлантикус рекомендует ввести принудительные работы, т. е. рабство для чернокожих туземцев.

«Если, — говорит он, — из-за туманной сентиментальности не захотят решиться на такое временное принуждение работать для чернокожих, тогда, конечно, ничего не поделать. По своей воле в современных условиях негр при ограниченности его потребностей редко

станет работать. Если иногда, особенно в социал-демократической прессе, проклинается жестокосердие голландцев, принуждавших на Яве туземцев к работе, то при этом не знают, как незначительна работа и как несказанно лениво и невнимательно она выполняется туземцами».

Эту книгу в русском переводе после революции 1905 года издали три солидных издательства, редакторами которых состояли известные социал-демократы.

Авторитет Каутского в то время был так велик, что социал-демократы примирялись с призывом Атлантикуса сохранить в социалистическом государстве монархию.

Баллода хорошо оценили не только социал-демократы типа Каутского, но и прусские государственные люди.

В 1906 году он приезжал в Петербург для переговоров с Витте о русско-германском торговом договоре в качестве профессора Берлинского университета и уполномоченного германского правительства.

Зашел ко мне, не зная, что я его разоблачил и заклеймил в своей книге «Теория и практика пролетарского социализма». Принял я его, конечно, очень прохладно, и он, поплевав в свой носовой платок, быстро смылся.

Во время империалистической войны Баллод состоял экспертом по хозяйственным вопросам, касающимся России, при штабе Гинденбурга. После образования Латвийского государства он, как истый патриот, поселился в Риге, где ему была, конечно, предоставлена профессорская кафедра.

В 1923 году во время всесоюзной сельскохозяйственной выставки он приезжал в Москву. О его приезде в газетах сообщалось, как о приезде крупного ученого. В интервью с сотрудником «Известий» он отозвался о советском государстве довольно снисходительно.

С латышами я в Иене разговаривал исключительно по-немецки. Вообще в первый год своего пребывания в этом городе мне не пришлось сказать по-русски ни одного слова. Во второй год, когда я жил с семьей, мне приходилось говорить по-русски со старым князем Гагариным и молодым русским евреем Штрейхером.

Князь родился в Риме, служил в гвардии во время крымской кампании, много путешествовал по Европе и Азии, а теперь, совершенно опустившийся и обрюзгший, заканчивал свою жизнь одиноким в наемной комнатушке маленького домика на окраине Иены.

Он ругательски ругал всех немцев, ненавидел Иену, ежедневно собирался в Россию, но проходили месяцы и годы, а он не двигался с места и, вероятно, так и умер среди ненавистных немцев в ненавистной Иене.

Штрейхер, маленький, худенький, с добрыми печальными глазами, приехал в Иену, чтобы держать докторские экзамены и писать докторскую диссертацию. Он происходил из бедной еврейской семьи, и ему стоило огромных усилий получить медицинское образование. Учился он в Берне, а в Иену приехал не потому, что там были луч-

шие, чем в Швейцарии профессора, а потому, что там жил я. Он знал, что у меня есть возможность оказать ему материальную поддержку для получения докторского диплома и напечатания докторской диссертации, что стоит за границей недешево. Я ему эту поддержку оказал очень охотно.

Невеста Штрейхера, жившая в Херсоне и несколько лет ждавшая, когда ее жених сделается доктором и вместе с тем ее любимым мужем, написала чрезвычайно трогательное письмо мне и Саше.

Получив докторский диплом, Штрейхер уехал в Россию, и мы потеряли друг друга из виду.

Прошло около сорока лет. Я читал публичные лекции в Херсоне. Кто-то постучался в номер гостиницы, где я остановился, и я увидел худенького старичка, печальные глаза которого ласково улыбались.

Штрейхер пригласил меня к себе, познакомил с женой, больной старушкой, и дочерью, молодой девушкой. Сожалел, что я не могу повидать его двух сыновей, живших в Москве. Оба коммунисты и занимают ответственные места.

— Зайдите к ним, они вас встретят как близкого и родного человека. Вся наша семья хранит о вас благодарную память, и на письменном столе моей дочери стоит в рамке ваша карточка, которую вы мне подарили, когда мы оба были молоды, в нашей милой Иене.

Да, Иена — милая, славная, много я в ней пережил, много я в ней передумал.

В ней я не только приобрел хорошие знания в области естествознания, медицины и даже философии, в ней я написал много статей и очерков, напечатанных преимущественно в «Неделе» и ее «Книжках». Первым моим напечатанным очерком был очерк: «Русские студентки за границей». Появился он в «Неделе» 11 ноября 1890 года.

Идя от Штрейхера по пустынным улицам Херсона, я вспомнил «Лисью башню», возвышающуюся на одном из холмов, окружающих Иену, вспоминал и как будто вновь любовался широкою далью долины Заалы с разбросанными по ее извилистым берегам беленькими домиками и красными остроконечными кирками.

Сердце защемила часто посещающая меня тоска по родной «чужбине». Захотелось подойти к развесистому дереву со старым железным столиком, где часто обменивались своими мыслями Шиллер и Гете, где последний сбрасывал с себя свое «тайное советничество» и становился другом-поэтом.

Захотелось пойти к «лесному царю» «в белой короне с седой бородой», белеющему среди леса невдалеке от Иены, то пугающему, то чарующему запоздалого путника.

В первый раз эту удивительную статую я увидел случайно во время прогулки поздно вечером. Белый призрак вырос передо мной и протянул ко мне свою белую руку, как бы пытаясь схватить меня.

Статуя поставлена как раз на том месте, где Гете во время ночной

прогулки верхом пришла идея написать своего знаменитого «Лесного царя».

Захотелось уйти в глубь гор и лесов Тюрингии, где когда-то Гете написал вдохновенно-грустные строки, вдохновенно переведенные Лермонтовым:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Прощай Иена! Никогда не увижу я тебя. Близится мой последний отдых...

XIII. ИБСЕН, ЗУДЕРМАН, ГАУПТМАН

Предрассветные сумерки. — Призраки. — Апофеоз индивидуализма. — Мои споры с Ибсеном. — Жизненная ложь и счастье. — Борьба долга с любовью. — Вещные отношения. — Критическая пьеса Поля Линдау. — Немецкий реалист. — Честь и оппортунизм. — «Коварство и любовь». — «Конец Содома». — «Госпожа Забота». — Мелочи жизни. — «Желание». — Женщина-животное. — «Одинокие» Гауптмана. — «Вознесение Ганнеле». — «Ткачи» в «Немецком театре». — «Ткачи» на марксистском вечере. — Письмо Гауптмана. — «Потонувший колокол».

Живя в Германии, я впитывал в себя ее культуру. Учился не только в университетских аудиториях, лабораториях и клиниках, но и в театрах, на народных собраниях, на художественных и промышленных выставках.

Читал немецких классиков и тех современных писателей, которые в мое время волновали немецкую интеллигенцию и передовые слои немецкого рабочего класса.

В начале девяностых годов прошлого столетия наиболее талантливые молодые немецкие драматурги и беллетристы находились под сильным влиянием великого скандинавца Генрика Ибсена.

Новые драмы Ибсена появлялись одновременно на норвежском и немецком языках, одновременно ставились в лучших норвежских и немецких театрах.

На русский язык произведения Ибсена не были еще переведены. Я читал их на немецком языке. Это чтение вызвало много внутренних переживаний. Отголоском их была моя статья об Ибсене, появившаяся в майском номере «Книжек Недели» за 1891 год. Если я не ошибаюсь, это была первая статья об Ибсене на русском языке.

Ибсена я считал писателем сумерек, но сумерек не вечерних, а утренних. В сумерках бродят призраки или привидения, о них говорит Елена Альвинг в одной из самых сильных и в то же время самых спорных драм Ибсена.

«Мы все — призраки, — говорит Елена Альвинг. — Это не только то, унаследованное от отца и матери, что живет в нас, это — разнообразные старые, мертвые взгляды, всевозможные старые верования и т. п. Это не живет, но прячется в нас, и мы не можем от него освободиться. Лишь только я беру в руки газету, чтобы читать, — я уже вижу, как призраки, крадучись, ползают между строк. Повсюду в жизни должны жить призраки. Мне кажется, они должны быть многочисленны, как песок морской. Оттого-то все мы так жалко светобоязливы».

В большинстве произведений Ибсена я чувствовал страстную борьбу с призраками, и за нее я любил его. Но его крайний индивидуализм вызывал во мне чувство отпора.

Читая Ибсена, я постоянно спорил с ним, и мне казалось, что сам Ибсен постоянно спорил с собой.

В одном небольшом стихотворении Ибсен определяет творчество, как нелицемерный суд над собою. Таково именно было творчество Ибсена. Он призывает и читателей судить его.

Но я, вдумываясь в произведения Ибсена, от споров с ним переходил к суду над собой. Ибсен более чем какой-нибудь другой автор научил меня читать творчески.

Ибсен хорошо понимал, что «каждый пересоздает творение поэта по-своему, согласно своей индивидуальности, украшает его, отделывает».

Противоречий в произведениях Ибсена я находил много, но как раз эти противоречия и были мне особенно дороги, как раз они воспитывали и мою мысль, и мое чувство.

В «Бранде» он выставляет требование: «все или ничего» и в то же время призывает к снисходительности по отношению к слабым существам. Из чувства жалости он готов пожертвовать правдивостью.

В «Дикой утке» доктор Реллинг говорит:

«Возьмите у среднего человека жизненную ложь и вы возьмете вместе с нею счастье».

«Если *вы* правы, а *я* неправ, — возражает молодой Верлэ, — то жизнь не стоит больше жизни».

«О, — отвечает Реллинг, — жизнь могла бы быть уже вполне хороша, если бы нас пощадили эти милые кредиторы, которые разоряют нас бедных своими идеальными требованиями».

В спор вмешиваюсь я, как читатель, и вспоминаю целый ряд ибсеновских образов, привлекательных именно потому, что они непреклонно требовали «все или ничего», и говорю:

— Сколько бы ни говорили людям: «не пóртите жизни из-за идеалов», — они будут ее «портить», если они действительно сознают эти идеалы, а не только говорят о них. Пусть эта порча — несчастье для отдельных личностей, но она необходима для развития человеческого духа, для движения человечества вперед.

В большинстве драм Ибсена остро ставится вопрос об отношении полов, о борьбе стойкого чувства долга с влечениями изменчивой половой любви; драмы Ибсена в этом отношении созвучны романам Тургенева и в особенности трем радикальным романам Герцена, Чернышевского и Омулевского («Кто виноват», «Что делать» и «Шаг за шагом»).

Ибсен оживлял в моей душе то, что я в дни юности продумывал, читая эти романы, и в союзе с их авторами звал меня к ответу за мои переживания и поступки.

Я приветствовал ответ Норы мужу, призывавшему помнить ее

священнейшие обязанности по отношению к своему мужу и к своим детям.

«Я имею другие столь же священнейшие обязанности — обязанности по отношению к себе самой».

Меня радостно волновало, что Нора считала себя прежде всего человеком в полном смысле этого слова, а только потом уже супругой и матерью.

Поясняя семейные драмы Ибсена, я указывал, что в браках буржуазного общества отношения супругов носят вещный характер. При вещных отношениях муж старается так устроить семейную жизнь, чтобы у жены развивалось лишь то, что доставляет ему выгоды или наслаждения. Даже в так называемом интеллигентном обществе в большинстве случаев мужчина смотрит на женщину, как на свое приобретение, и делает из нее или кокетку или экономку, смотря по своим потребностям и отчасти по качествам своего приобретения.

Я подчеркивал, что рабство женщины есть часть сложного общественного рабства, отмена которого была, есть и будет одной из главных задач человеческого прогресса.

У Ибсена, в то время когда я писал о нем, в Германии наряду с горячими поклонниками были и свирепые враги. Каждая новая его пьеса встречалась не только восторженным вниманием, но и озлобленными криками, что он писатель фальшивый, вредный, сгоняющий Шиллера с пьедестала, позорящий Германию своим немецким успехом.

Среди ненавистников Ибсена выделялся изящный Поль Линдау, любимец аристократии и высшей буржуазии. В 1890 году он выступил против Ибсена с критической пьесой «Солнце».

В ней адвокат Грегор Энгардт спорит с художником Виктором, сторонником реалистической скандинавской школы. Виктор рисует картину «Освальдово солнце», то солнце, которое призывает герой «Призраков» перед своей гибелью.

«Эту раскаленную дымную харю, — говорит Грегор, — которую вы там рисуете, я не назвал бы «Освальдовым солнцем». К чему это боязливое ограничение? Скажите смелее и шире: «современное солнце». Солнце без тепла, без света, без очищающей силы, без лучистой жизненной радости, — это плаксивое светило, которое мы приветствуем. Таким должен видеть его не только несчастный Освальд, — таким должны его видеть мы все сквозь пары густого норвежского тумана. Если бы я был художником, я нарисовал бы его иначе. Блестящее светило белокурого феба, свет которого слепит глаза смертного и жар которого пожирает нас, я бы символически свел к дружеским отношениям человечески-понятного, я представил бы наиболее возбуждающее, светящее и согревающее, что только может видеть человеческий глаз и чувствовать человеческое сердце, светлую, целомудренную, прекрасную девушку с выразительными глазами и небесной улыбкой, и назвал бы ее «моим солнцем».

Грегор Линдау отвергает искусство норвежской школы, так как оно «принижает, мучит, лишает бодрости».

«Кто похищает у меня радость жизни, — говорит он, — тот не художник, тот — разбойник. Он отнимает у меня мое драгоценнейшее достояние. И пусть это будет, чорт возьми, еще более устаревшим, а все-таки искусство — радостно! Оно для того, чтобы вносить в жизнь свет, а не заставлять чувствовать горечь бытия. И если нехватает масла в ваших ночниках, нам долго еще не нужно поправлять наши электрические лампы».

В ответ на это художник Виктор замечает:

«Радостное и печальное! Я совершенно не понимаю ваших слов по отношению к искусству. Искусство должно быть правдивым, прежде всего».

Грегор соглашается, что искусство должно быть правдивым, но поэтому оно должно быть радостным, ибо радостна сама природа. Он надеется, что стон и плач ибсеновских творений заглушит старая песнь немецкой молодежи: «Gaudeamus igitur» и «pereat tristitia» («Возрадуемся же», и «да погибнет печаль!»).

Я становился на сторону художника Виктора и, обращаясь к сторонникам Грегора, говорил:

— Ах, господа! Эту хорошую старую песнь лучше вас понимает Ибсен; но что же делать, если глаз его зорче вашего, если за «вашим солнцем», за хорошенькой, смеющейся девушкой он видит поругание, видит слезы несчастных сестер ее? Что же делать, если он не может ваш фонарь, хотя бы и электрический, принять за настоящее солнце? Но вы глубоко ошибаетесь, что солнце, которое просил Освальд и которое хотела бы дать ему мать — раскаленная, дымная харя; нет, это настоящее светлое, радостное солнце, которое взойдет в великом царстве знания, творчества и любви.

Наступление этого царства Ибсен предвещает устами мистика Максимоса в своей исторической драме «Император и галилеянин».

От творческого чтения Ибсена я перешел к творческому чтению молодого немецкого драматурга и романиста Германа Зудермана.

Зудерман прорвался если не к славе, то во всяком случае к большой известности своею драмою «Честь», прошедшей в конце восьмидесятых и начале девяностых годов с огромным успехом на всех немецких сценах. Он был провозглашен вторым Ибсеном, вокруг его имени разгорелась полемика, охранители нравственных устоев проклинали его еще с большим ожесточением, чем Ибсена, обвиняя в распространении разврата, особенно после второй его драмы «Конец Содома».

«Цветные» студенты, защищая честь и нравственность немецкого народа, на первом представлении «Конца Содома» устроили грандиозный скандал, о значении которого возвестили в широковещательном манифесте.

Как раз возмущение охранителей всевозможных священных устоев побудило меня к изучению всего, что было написано Зудер-

маном, и я нашел много родственного своим переживаниям, при том еще больше в его романах и рассказах, чем в его драмах.

Результатом изучения произведений Зудермана была моя статья о «Немецком реалисте» в «Книжках Недели» за 1891 год, первая статья о Зудермане в русской печати.

Произведениями Зудермана я увлекался так же, как и произведениями Ибсена, и спорить с ним мне приходилось не меньше, чем с норвежским драматургом.

Наиболее возражений встречала с моей стороны драма «Честь». В пьесе выведен, между прочим, идеальный оппортунист, «кофейный король» граф Траст, резонерство которого, видимо, нравилось автору, а меня возмущало.

«Честь», имевшая огромный успех в театрах, обычно посещаемых интеллигенцией, не имела успеха в театрах чисто рабочих. Так например, рабочие берлинского народного театра прослушали драму Зудермана молча и холодно. Между тем те же рабочие того же берлинского народного театра волновались, страдали и даже плакали, смотря старинную мещанскую трагедию «Коварство и любовь» идеалиста Шиллера.

На сцене рычит насилие, шипит злоба, страдают бедность и добродетель, погибает и торжествует любовь. В груди бедного музыканта бьется благородное сердце, в груди же министра президента змеятся преступление и бесчестие. Из уст простой мещанки несется пророческая песнь о том времени, когда падут сословные преграды и люди станут лишь людьми. И перед этою мещанкою в мольбе склоняется блестящий офицер, отталкивая гордую придворную красавицу.

Публика волнуется, публика дрожит, публика живет с действующими лицами, она плачет, надеется и любит вместе с ними.

Не сразу, а после минуты глубокого молчания раздается оглушительный гром рукоплесканий.

Видимо сорок лет тому назад творения идеалиста Шиллера больше говорили уму и сердцу немецких рабочих, чем творения реалиста Зудермана.

Я не знаю, как реагировала рабочая публика на другую реалистическую драму Зудермана «Конец Содома», но я думаю, что трагический ужас ее может настоящим образом почувствовать только выходец из буржуазной среды, каким был я.

На меня «Конец Содома» произвел потрясающее впечатление. Я его воспринял, как крик ужаса, как вопль отчаяния. Казалось, что автор иногда хочет смеяться, но вместо смеха из груди его вырываются рыдания. О чем рыдания? О ком рыдания? Не об этих гладко выбритых, изящно одетых биржевиках с пошлой усмешкой на губах и вечно готовых к сальным анекдотам, не об этих бездушных кокотках с плотоядными глазами. Нет, он плачет о гениях и талантах, безжалостно втягиваемых в буржуазное болото, он плачет о чудных женских душах, о нежных цветках, выросших среди терниев, о цветках, которые вянут, не распустившись, о лучах солнца, которые бес-

следно гаснут, не пробившись сквозь содомскую тьму. Он, наконец, как будто плачет о себе самом, что нет у него сил вырваться из отвратительного вертепа.

Герой трагедии Зудермана, как и герой ибсеновских «Призраков», талантливый художник. Оба погибают. Но у Ибсена Освальда убивают «грехи отцов», а у Зудермана Вилли Жаникова убивает буржуазный содом. Трагедия Жаникова в том, что Содом истрепал, исковеркал его, но не убил окончательно совесть.

В момент смерти в нем просыпается жажда творческой жизни, но уже поздно, с губ слетают бессвязные предсмертные слова, а издали несется смех и ликование Содома и, кажется, нет ему конца.

Из беллетристических произведений Зудермана моему уму и сердцу многое сказали два его романа: «Госпожа Забота» и «Кошачья тропинка», а также повесть «Желание».

В «Госпоже Заботе», слезами написанной, как-то по-новому рассказана старая трагедия борьбы между мелочами жизни, между мелкой повседневной заботой из-за куска хлеба для себя и для близких и стремлением к радостям мысли и любви.

Этот роман Зудермана тяжело читать и в то же время нельзя оторваться, раз начав его. Чувствуется, что автор вложил в него много собственных страданий, много собственных забот.

Герой романа Павел освобождается от мелочных забот, совершая тяжелое преступление против частной собственности, сжигая усадьбу своего отца.

У меня под впечатлением романа Зудермана выплыли десятки образов людей, подавленных мелочами жизни, подобно герою этого романа.

Вместе с протестом против подавляющего ужаса мелочей жизни появился и протест против проповеди смирения и жизни для других.

Забота — родная сестра скаредности. Скаредность постепенно наследственно развилась из заботы, из повседневных мелочей. Скаредность создает денежные души. Одна из типичных скаредных душ сильно очерчена в повести «Желание».

Но основной мотив этой повести не в скаредности, а в желании смерти близкого человека. Героя повести Роберта Геллингера любят две сестры: Марта и Ольга, горячо привязанные друг к другу. Роберт женится на Марте, а Ольга, затаив свое чувство, уезжает на чужбину. У Марты рождается ребенок, и Роберт вызывает Ольгу, прося ухаживать за тяжело больной сестрой.

Марта при смерти. Роберт и Ольга проводят у ее постели бессонные ночи, и в это время любовь Ольги к Роберту достигает высших пределов.

В одну из наиболее тяжелых ночей усталость сломила Роберта, и он, задремав, невольно склонился на плечо Ольги. Ольга смотрит на его умное, печальное лицо, на его ранние морщины и мечтает: как бы она сумела разгладить эти морщины, как бы она сумела вызвать к деятельности таящиеся в нем силы, если бы она была его

женой! Она бросает взгляд на больную. Та еще живет, еще борется со смертью; и вдруг у Ольги ясно пробуждается желание, чтоб Марта умерла, чтоб умерла ее любимая, дорогая сестра, за жизнь которой она дрожала еще несколько мгновений тому назад.

Так свершила Ольга свое мысленное преступление, и с той поры она не знает спокойной минуты.

Марта умирает, Ольга остается ухаживать за ее ребенком.

Страстное отчаяние Роберта по поводу смерти жены скоро переходит в страстную любовь к Ольге. Он просит ее сделаться его женой. Она бросается ему на шею с поцелуями и слезами; но в ночь, следующую за объяснением, отравляется, оставляя своему старому другу, старику-доктору, историю своего преступления.

Объясняя Роберту причину гибели Ольги, доктор утверждает, что жестокая судьба пожелала, чтобы Ольга с ее высоким умом, с ее мощной волей впала в преступление, самое обычное и самое трусливое из всех совершающихся на земле, которое врач часто читает на лицах людей, окружающих постель тяжело больного. Преступное желание смерти близкого человека, по словам доктора, вызывают ревность, корыстолюбие, стремление к самостоятельности, к свободе и, наконец, любовь. В былые времена за желанием шло дело, шло убийство; такими убийствами полны история и литература.

«В настоящее время, — думает доктор, — люди стали более ручными, и если ныне борьба за существование проползает в священный круг семьи, то в мрачные минуты довольствуются одним лишь желанием, чтобы лишний человек поскорее лежал под землею».

Я не спорил со стариком доктором, но замечал, что он забывает главную причину, главный, наиболее распространенный мотив желания смерти родственников, он забывает бедность и нужду.

«Миллионы русских крестьянских матерей, — писал я, — завидуют и должны завидовать тем матерям, у которых умирают дети. Они желают смерти своих детей и говорят об этом совершенно откровенно, как о чем-то вполне естественном каждому встречному. Это «естественное» желание распространяется у бедных крестьян на всех родственников, не могущих работать».

Мне не трудно было привести не мало фактов, подтверждавших мое утверждение.

Разбирая роман «Кошачья тропинка», я подробно останавливался на судьбе героини романа Регины, которую автор характеризует как цельного человека, щедро одаренного природой и не испорченного культурой.

Мне Регина представлялась не типичным, цельным человеком, а типичным человеком-животным, правда, благородным животным. Чтобы быть настоящим человеком, Регине, как мне казалось, недоставало рассудка, главного отличия человека от животного. Она не могла критически относиться к окружающей жизни, в частности к окружавшим ее людям, она была не в состоянии предвидеть от-

даленные последствия как своих, так и чужих поступков.

В то же время меня страшило множество «барышень» буржуазного общества. Мне они казались не живыми существами, а искусно сделанными вещами.

Конечно, казалось мне, типичные мужчины буржуазного общества еще типичных буржуазных женщин.

Статья о Зудермане была мною уже написана, когда я прочел первые драмы Гергардта Гауптмана: «Перед солнечным восходом» и «Одинокие люди». В них еще острее, чем в драмах Ибсена и Зудермана, я почуял отклик на свои тогдашние переживания. Трагедия «одинокого» Иоганеса Фокерата всколыхнула в моей душе бернские переживания. Анна отождествлялась в моем представлении с Альмой, Кетэ же с Сашей, а я — с Иоганесом.

Знаменательно казалось мне даже то, что Иоганес и я учились в Иене у Эрнеста Геккеля.

Читал я «Одиноких» вместе с приехавшим в Иену Агафоновым, его я отождествлял с другом Иоганеса Брауном. Читал перед встречей с Альмой после двухлетней разлуки.

Встреча была с мучительным надрывом, с нее началась драма, многие годы терзавшая трех одиноких, любовью и мукой спаянных людей.

Со времени прочтения «Одиноких» я внимательно и вдумчиво следил за развитием творчества Гауптмана. Ни один другой драматург не дал мне таких сильных, таких потрясающих переживаний, как Гауптман.

Три лучшие его драмы: «Вознесение Ганнеле», «Ткачи» и «Потонувший колокол» я видел в Берлине в поразительно жизненном исполнении артистов «Немецкого театра».

Гений драматурга и артистов перевоплотили мою душу в душу бедного, загнанного ребенка. Страшные кошмары Ганнеле были моими кошмарами, ее просветленная смерть, ее вознесение — моею смертью и моим вознесением.

На больничной койке худенькое тельце с личиком, застывшим в предсмертной улыбке.

Старик-доктор приложил трубку к груди девочки, в скорбном ожидании стоит пожилая сестра милосердия. Доктор подымает голову, слышу:

— Ist todt (умерла).

Сдвигается занавес, аплодисментов, кажется, не было. Я их, во всяком случае, не слышал. Сидел в темной, опустевшей ложе и плакал детскими слезами.

«Ткачей» я тоже не смотрел, не слушал, а переживал. Мне казалось на сцене перед моими глазами люди действительно страдают, голодают, бунтуют, умирают.

Свои впечатления я бегло записал тотчас после окончания спектакля, они были напечатаны в 1895 году в «Книжках Недели».

В 1897 году на «марксистском» вечере я прочел эти наброски,

прочел, как мне говорили, с большим подъемом. Молодежь долго и шумно мне аплодировала. Я понимал, что это овация не мне, а гениальному Гауптману, написавшему свою замечательную драму на основании рассказов своего деда, бедного силезского ткача.

Думаю, что мои впечатления от представления «Ткачей» не устарели до сих пор.

Среди толпы скрюченных, голодных, робко-несчастных ткачей, сдающих сотканное полотно в конторе фабриканта Дрейссигера, выделяется высокая, сухая, сутуловатая фигура рыжего Беккера. Все жалобно просят о прибавке платы, — он требует и грубит. Фабрикант, красивый, упитанный господин, прогоняет грубияна и кидает ему заработанные деньги. Но Беккер требует, чтоб деньги подняли и отдали ему в руку... Злобой горят его черные глаза на бледном чахоточном лице с тощей рыжей бородкой. Он вытягивает свою сухую руку с длинными пальцами и, тыкая указательным пальцем в ладонь, глухо повторяет:

«Mein Lohn gehört in meine Hand...» (Мой заработок следует в мою руку...).

Фабрикант дрожит от гнева, красивые ноздри так и раздуваются, но он сдерживается и велит конторщику поднять рассыпанные монеты и отдать Беккеру.

«Ну, теперь вон!»

«Постой, — говорит Беккер, — надо сосчитать».

И он медленно считает, опуская монету за монетой в свой засаленный кошелек.

Темная ткацкая изба... Как осенние мухи, бродят вялые, полуживые создания... Голодное хныканье детей, жалобы и ворчанье женщин... Появляется солдат резерва Иегер, проживший несколько лет на хороших хлебах денщиком в Берлине. Какой контраст между его краснощеким лицом, с лихо надвинутой набекрень гусарской фуражкой, и этими истомленными бледными созданиями!

На Иегера, как на свежего человека, вся эта беднота действует особенно сильно; он видит, как здесь радуются собачьему мясу, как чахоточные девушки задыхаются от недостатка воздуха, а там в Берлине — роскошь, изобилие... Он начинает мутить... Он распространяет среди ткачей революционную ткацкую песнь... Чем грознее ее слова, тем сильнее разгораются глаза на бледных лицах ткачей, и наконец из груди их вырывается какой-то нечеловеческий стон...

Душную избу застилают роскошные комнаты фабриканта. В доме смятение, а на улице шум и вой... Толпа обезумела...

Фабрикант с семьей еле успевают бежать; двери выбиты, толпа врывается в гостиную и на минуту останавливается, как бы пораженная своею дерзостью.

Молодые работницы, с восковыми лицами и черными возбужденными глазами, растрепанные, в разорванных рубашках, с полуробостью, полулюбопытством осматриваются кругом; иные посмелее

подошли к зеркалам или рассматривают разные дорогие безделушки. Но колебание длится недолго. Кто-то ударил по зеркалу, оно разлетелось; искра брошена, и пожар вспыхнул; начинается безумное разрушение . . .

Снова старая ткацкая мастерская. Богобоязненный старик Хильзе, инвалид, потерявший на войне руку, сидит и работает одной рукой на станке. До него долетели слухи о бунте соседних ткачей. брожение начинается и в его деревне. Вся его природа возмущается против этого безбожного бунта, против насилия, разрушения . . . Он убеждает восставших смириться, грозит божьим наказанием, но напрасно; его собственная сноха становится во главе бунтующих; и послушный сын, после страшной внутренней борьбы, как безумный, выскакивает на улицу с топором в руках . . .

Хильзе сидит один за станком и молится за «братьев-ткачей», не ведающих, что они творят. А с улицы несется точно ураган . . . и сквозь этот ураган доносятся барабанный бой, команда и сухой ружейный залп.

В окне показывается маленькая фигурка девочки, внучки Хильзе, она передает детским лепетом, как корчатся и кружатся раненые. Мукой искажается лицо Хильзе, но рука попрежнему машинально работает . . . Снова залп . . .

Высокий старик подымается, вытягивается во весь рост и безжизненно падает на свой верный станок . . .

«Дедушка, дедушка!» зовет его испуганная внучка. Напрасно! Шальная пуля пронизала его в самое сердце . . .

«Ткачи» на русском языке долгое время находились под цензурным запретом. Вильгельму Гогенцоллерну хотелось запретить их и на немецком языке, но пришлось ограничиться демонстративным отказом от посещений «Немецкого театра» после постановки революционной пьесы Гауптмана.

В 1902 году я поместил перевод «Ткачей» в первой книжке зарубежной «Жизни», разумеется, с дружеского согласия Гауптмана. В своем письме Гауптман, между прочим, просил меня передать его привет М. Горькому.

«Потонувший колокол» я видел в Берлине в 1902 году в самом начале своей эмигрантской жизни. Под впечатлением спектакля я написал беллетристический «этюд», назвав его тоже «Потонувший колокол». Он был напечатан в московском «Курьере», где я в 1901 году писал под псевдонимом В. Шведова.

Этюд начинался с передачи впечатления от постановки «Потонувшего колокола» в «Немецком театре». Печальный герой моего «этюда» вышел из театра с опущенной головой, тихо, осторожно, как бы боясь растерять художественные образы, наполнявшие его душу.

Как хорошо, что не было ни одного аплодисмента, что чудные картины развертывались почти без перерыва!

«В лунном свете плывет и тает сказочный образ златокудрой

Раутенды с глазами синими, как ночное небо. Волшебным колокольчиком звенит и плачет ее голос... а из пропасти несутся стоны потонувшего колокола, они нарастают все сильнее и сильнее, мрачно и неумолимо гасят и пожирают они все вокруг; в них тонут и образы, и звуки».

Для меня стоны потонувшего колокола были символом мучений моей больной совести. Никогда не мог я их заглушить. Потонувший колокол стонет и тогда, когда стоишь перед открытою могилой.

XIV. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Электричество и социализм. — Свеча Яблочкова и электрическая кастрюля. — Историческая выставка 1891 года. — Мои «Электротехнические письма». — Первая передача силы на большое расстояние. — Неккар и Днепр. — Мой спутник В. Д. Протопопов. — Брюссель. — Мои статьи о «Вожаках и силах социалистов». — Международный социалистический конгресс 1891 года. — Изгнание анархистов. — Мерлино. — Домела Ньювенгуис. — Вопрос о войне. — Вильгельм Либкнехт. — Вальян. — Вопрос о всеобщей стачке. — Словесный поединок Домела с Либкнехтом. — Август Бебель и портной Байер. — Альман и женский вопрос. — Вандервельд против женского равноправия. — Элеонора Маркс. — Социалистический кооператив «Вперед». — Анзель. — Две идеи.

Каникулами 1891 года я воспользовался для поездки во Франкфурт на Всемирную электрическую выставку и в Брюссель на Международный социалистический конгресс.

Электричество и социализм были крепко спаяны в моем представлении, как две силы, совместно творящие новую, разумную и радостную жизнь для всех и каждого. Значение электричества я почуял, когда еще не было ни телефонов, ни радиостанций, ни трамваев, ни кино, не было даже электрического освещения.

Оно, как известно, появилось на свет в семидесятых годах прошлого столетия в виде примитивной «свечи Яблочкова». Я видел, как ее демонстрировал в Соляном городке И. И. Боргман, тогда еще молодой лаборант физического кабинета Петербургского университета.

Одновременно со свечой Яблочкова Боргман демонстрировал электрическую кастрюлю. С большим увлечением он говорил о том времени, когда электричество создаст новый домашний быт.

От того же И. И. Боргмана, уже известного профессора физики, я впервые услышал об опытах Герца, который в 1889 году доказал, что индуктивное электричество распространяется волнообразно, подобно свету, так же преломляется и отражается, что его «энергия» отличается от энергии световой, магнитной и тепловой лишь длиною волн или лучей того «невесомого», что в физике называется эфиром.

Франкфуртская выставка была чрезвычайно поучительна, и я, в течение месяца ежедневно посещая ее, значительно укрепил и пополнил свои знания об электричестве, приобретенные в Париже, Берне и Иене. Этими знаниями я поделился с читателями «Недели» в ряде «Электротехнических писем».

Эпиграфом для этих писем я взял слова великого немецкого

поэта и ученого Гете, родившегося, как известно, во Франкфурте-на-Майне:

«Электричество — всепроникающая стихия, которая сопровождает все материальное бытие; его можно назвать душою мира».

Я утверждал, что франкфуртская выставка является мировым событием, так как на ней впервые была доказана возможность передавать на большие расстояния огромную механическую силу, в том числе силу падающей воды, силу, превращенную в электрическую энергию.

Сила падения Неккарского водопада, находящегося от Франкфурта на расстоянии ста семидесяти пяти километров, передавалась по трем проволокам на выставку в виде энергии электрической.

На выставке электрическая энергия превращалась отчасти в световую, отчасти снова в механическую, зажигала тысячи ярких лампочек, двигала моторы всевозможных мастерских и даже создавала искусственный водопад, освещавшийся разноцветными огнями.

С тех пор как я описывал франкфуртский опыт прошел сорок один год, и я пишу эти строки в тот момент, когда начинает работать величайшая в мире гидростанция Днепростроя. Не знаю, было ли послано приветствие от старого Неккара старому Днепру, а следовало бы!

Из Франкфурта я поехал прямо в Брюссель. И во Франкфурте, и в Брюсселе моим спутником был Всеволод Дмитриевич Протопопов, младший брат моего университетского товарища Дмитрия Дмитриевича, с которым я когда-то совершил пешеходное путешествие по Франции.

Всеволод Дмитриевич, окончив юридический факультет, приехал погостить ко мне в Иену, надеясь, как он говорил, что я укажу ему смысл жизни. Человек это был не глупый, правдивый, но очень нервный, душевно растерянный, не знавший куда себя приткнуть. Ко мне он быстро и крепко привязался, оставаясь всю жизнь, к сожалению рано прерванную чахоткой, моим верным другом.

В Брюссель мы приехали за неделю до конгресса и оставались неделю после его закрытия. Вращались мы среди бельгийских рабочих. Всеволод Дмитриевич умел сближаться с ними скорее, чем я, так как был выпить не дурак, а я, к великому негодованию хозяев социалистических кабачков, где мы собирались, не пил ни вина, ни пива.

Брюссельские впечатления сыграли большую роль в росте моего сознания, в росте моей личности, тем более, что я связал их с основательным изучением тогдашнего социалистического движения в разных странах, пользуясь при этом отчетами делегаций конгресса и беседами с видными социалистами.

Мои статьи: «Вожаки и силы социалистов», напечатанные в «Неделе» вскоре после окончания конгресса, обратили на себя внимание не только читателей, но и предержащих властей. Редактор-издатель «Недели» П. А. Гайдебуров был вызван в Главное управле-

ние по делам печати, где ему было предложено прекратить печатание статей, агитирующих за социальную революцию, иначе «Неделя» будет закрыта постановлением четырех министров.

Брюссельский конгресс 1891 года был вторым конгрессом II Интернационала, тогда еще молодого и много обещающего. На конгрессе были представлены все страны Европы, за исключением России. Русской делегации не было. Приехали, правда, из Парижа два-три эмигранта, в том числе Рубанович, игравший впоследствии видную роль в партии социалистов-революционеров, но у них не было никаких полномочий, у них не было даже совещательного голоса.

Не было никого, кроме меня, и от русской печати. Вероятно, поэтому бельгийские социалисты встретили меня особенно радушно и дали мне возможность всесторонне изучить организацию рабочей партии, опиравшейся на рабочее кооперативное движение.

Аккуратно посещая заседания конгресса, я увидел и услышал наиболее видных представителей тогдашнего социализма. Я присутствовал при нескольких поистине драматических сценах, разыгравшихся на этом во всех отношениях поучительном конгрессе.

Кроме социалистов всех оттенков, признававших необходимость участия в работе буржуазных парламентов, на конгресс явилась группа анархистов в двенадцать человек с известным итальянским анархистом Мерлино во главе.

Эта группа отрицала парламентскую деятельность и все надежды возлагала на так называемые прямые действия и прежде всего на революционные всеобщие стачки.

Мандатная комиссия не признала полномочия анархистов, не признал их и пленум конгресса.

Анархисты не хотели подчиняться этому решению и настаивали на том, чтобы им было предоставлено право высказаться по каждому из вопросов, поставленных в порядок дня конгресса, в особенности по вопросу о войне.

Их требование было отвергнуто огромным большинством, и председательствовавший на этом заседании бельгийский социалист Фольдерс потребовал, чтобы они покинули зал.

Мерлино, — небольшого роста, нервный брюнет с горящими черными глазами, — вскочил с своего места и крикнул, что анархисты настаивают на своем праве, завоеванном их революционной борьбой, не знавшей никаких компромиссов, и что добровольно они не уйдут.

Тогда произошла безобразная сцена: по приказу президиума рабочие-распорядители с красными бантиками на пиджаках при содействии добровольцев депутатов стали выталкивать анархистов из зала. Анархисты были выброшены на улицу, и Мерлино был немедленно арестован бельгийскими полицейскими как анархист, когда-то высланный из Бельгии.

Этот арест сконфузил многих членов конгресса, и Фольдерс счел себя вынужденным немедленно отправиться к министру внутренних дел хлопотать о Мерлино.

Возвратившись, он успокоил конгресс сообщением, что Мерлино, по его собственному желанию, высылается в Англию.

На другой день конгрессом была получена из Англии от Мерлино телеграмма, в которой он иронически благодарил депутатов за хлопоты перед министром внутренних дел и желал им как можно скорее самим добиться министерских портфелей.

Мерлино и его товарищи были удалены. Но осталась голландская делегация во главе с Домела-Ньювенгуисом, социализм которого уже и тогда был в значительной степени окрашен в анархический цвет.

Анархизм Домела сказался в его отношении к вопросу о борьбе с войной. По этому вопросу он столкнулся с Вильгельмом Либкнехтом, защищавшим резолюцию о войне, выработанную немецкими делегатами совместно с большинством французской делегации и принятую большинством комиссии.

Вильгельм Либкнехт вышел на трибуну под гром рукоплесканий. Сухой старик с длинным, худым лицом, красиво окаймленным седыми волнистыми волосами. Из-под высокого, хорошо вылепленного лба смотрят глаза, умные и еще совсем молодые.

Говорил Либкнехт мягким, низким голосом, просто, без всякой аффектации, несколько наставительно и как бы подталкивая фразы мерным движением правой руки.

«Рабочие — братья, — говорил он, — для социалистов не существует национальностей. Ошиблись те, которые думали, что французские рабочие, преисполненные желанием реванша, выступят против немцев. Ни о реванше, ни об Эльзасе и Лотарингии не поднималось даже вопроса в комиссии; этих вопросов не существует для социалистов. Враг немецкого рабочего — не француз, а немецкий буржуа; французский же пролетарий — его союзник. Близится война, перед которой война 1870 года была детской игрой. Задача пролетариата посредством неутомимой пропаганды помешать этой страшной катастрофе, но помешать ей можно лишь обеспечив победу социализма, потому что одна только социалистическая организация представляет гарантию против бедствий милитаризма».

От французов выступил Вальян. Речь его была чрезвычайно сходна, как он сам о том заявил, с речью Либкнехта; он только прибавил, что нельзя предписывать рабочим в каждой отдельной стране, что им следует предпринимать, и потому следует предложить общую резолюцию, осуждая милитаризм и предоставляя каждому выбор средств для борьбы с ним.

Резолюция была составлена в самых общих выражениях. Она рассматривает милитаризм единственно как неизбежное следствие непрерывной войны, открытой и скрытой, навязанной обществу существующим режимом и следствием этого режима — борьбою классов. Она указывает, что никакие попытки (как бы они сами по себе ни были благородны) установить между народами постоянный мир ни к чему не приведут, если они не коснутся экономических источ-

ников зла; только социалистический строй положит конец милитаризму и утвердит окончательный мир. Называя партию международного социализма единственною партией мира, резолюция обращается с воззванием к рабочим всего мира, рекомендуя им бороться энергично и непрерывно против всех проявлений милитаризма и союзов, которые ему благоприятствуют, и добиваться торжества социализма, развивая межународную социалистическую организацию. «Во всяком случае, — заканчивает резолюция, — конгресс, перед историей и человечеством слагает на правящие классы ответственность за то, что может произойти».

Речи и резолюции были встречены сочувственно. Докладчики и президент (на этот раз румын Милль) просят принять резолюцию par acclamation (единодушно без голосования). Прения спешат закончить, и вопрос о их закрытии ставится на голосование. Но против этого раздаются протесты. Председатель не обращает на них внимание, тем более, что со всех строн слышится: «Cloture! Cloture!» (Закрыть! Закрыть!); но усиливаются и протесты. Несколько делегатов встают со своих мест и в возбуждении что-то говорят на разных языках. На трибуну подымается голландский делегат Домела Ньювенгуис, держа в поднятой кверху руке контр-резолюцию голландской делегации. Он требует, чтобы резолюция была прочтена прежде постановки вопроса о закрытии прений. Председатель не соглашается.

Протесты усиливаются: раздаются крики о партийности, о насилии большинства и пр.

Вандервельд дает председателю совет прочитать резолюцию. Тот наконец нехотя соглашается, но читает небрежно, как бы показывая, что такой вздор и читать не стоит.

Резолюция кратка; суть ее — в последнем предложении: Международный брюссельский рабочий социалистический конгресс объявляет, что социалисты всех стран ответят на объявление войны воззванием к народу, провозглашая всеобщую стачку. Минута молчания и взрыв рукоплесканий. Закрытие прений отвергнуто. Первое слово принадлежит Домела. Все смолкает.

Домела когда-то был протестантским пастором. Церковную кафедру он сменил на трибуну рабочего агитатора, но в наружности его сохранилось нечто апостольское: благообразное лицо с правильными чертами, окладистая борода и длинные посеребренные волосы, отброшенные назад с высокого лба, из-под которого спокойно смотрят зоркие глаза.

Говорил Домела не на родном языке, а по-французски, и потому речь его лилась не слишком гладко, но в ней чувствовались убежденность и большая искренность.

Речь Домела часто прерывается аплодисментами; многие в волнении встают с мест. Какой-то итальянец с бледным лицом и с черными, как уголь, глазами дрожит, как в лихорадке, нервно постукивая ногой.

«Есть легкий способ, — говорит Домела, — добиться единогласного решения в каком-нибудь собрании: для этого стоит только представить предложение, составленное в столь общих фразах, что они не обозначают ничего; стоит написать фразы и не вложить в них содержания. Так именно в этот раз поступила комиссия. Сам папа подписался бы под ее предложением, если бы в нем слово социализм заменить словом христианство. Заключительная фраза говорит, что рабочий класс перед историей человечества складывает ответственность за войну на правящие классы. Те в свою очередь складывают ее на нас.

«Не выходит ли это похоже на двух поссорившихся мальчишек, которые обвиняют друг друга?

«Не будем давать повода смеяться на наш счет. Выясним себе действительность, какова бы она ни была. Я всегда говорю правду в глаза, скажу ее и сегодня. Не все социалисты, не все здесь сидящие, в особенности не все немецкие социал-демократы чужды шовинизма, не все они полны чувств международной солидарности; это видно хотя бы из известной речи Фольмара.

«Мне это тяжело сказать, потому что немецких социал-демократов я и уважаю, и люблю, но я должен это сказать, потому что этот шовинизм — великая опасность для партии. Мало говорить о чувстве международной солидарности — надо доказать его; мало ненавидеть войну — надо воспротивиться ей.

«Мы объявили борьбу классов; скажем же теперь откровенно, что войне между нациями мы предпочитаем войну гражданскую, войну между пролетариатом и буржуазией. Народы не хотят войны и, объявляя ее, правительства совершают провокационный акт, и мы тогда имеем право, — скажу больше, тогда наша обязанность — ответить им революцией.

«Задача конгресса помочь пролетариату осознать свою силу, силу забастовочной солидарности, которая легко может предотвратить или остановить войну. Если, например, железнодорожники объявят забастовку и приостановят железнодорожное сообщение в странах, правительства которых решились на войну, то никакие военные действия начаться не могут.

«Огромное знчение может иметь и отказ запасных явиться под знамена при объявленнной мобилизации».

Домела вспомнил при этом какую-то голландскую секту, которую сам «маленький капрал» Наполеон I не мог заставить взять в руки оружие и воевать. Неужели революционный пролетариат слабее этих сектантов?

Речь Домела имела огромный успех. Он сошел с трибуны под гром долго не смолкавших аплодисментов.

Я думал, что немецкая резолюция провалилась и огромным большинством будет принята резолюция голландская, но я ошибся.

Был объявлен перерыв. После перерыва на трибуне снова появился Либкнехт.

Сначала Либкнехту не хотели давать говорить, потому что после речи Домела было постановлено прекратить прения. Но Либкнехт не сходил с трибуны. От волнения лицо его залилось краской, глаза заблестели, вытянутая вперед рука слегка дрожала.

Выждав, когда сторонники Домела несколько успокоились, он властно заявил:

«Нет такой силы, которая заставила бы меня молчать, когда затронута честь немецкой социал-демократии. Я буду говорить и докажу, что Домела лжет».

Эту фразу он сначала сказал по-немецки, а потом повторил по-французски с сильным немецким акцентом.

Зала стихла.

Овладев собою, резко, но спокойно, начал Либкнехт свою атаку на Домела:

«Я рад, что Домела любит говорить правду. Он, значит, не посетует на меня за ту правду, которую я ему скажу сейчас. Эта правда в том, что все, что он сказал, — неправда. Он сказал, что сам папа подписался бы под резолюцией, если бы в ней слово социализм заменить христианством. Но я в первый раз слышу, чтоб папа и христианское учение признавали борьбу классов. Домела, как бывшему пастору, следовало бы это знать лучше меня.

«Далее он сказал, что наша резолюция — пустые фразы. Но что такое пустая фраза? Пустая фраза — это громкие слова, которые говорящий не может привести в исполнение, и в этом отношении не наша резолюция, а речь и резолюция Домела одна пустая фраза, потому что ни он, ни мы все не в состоянии в случае войны устроить всеобщей стачки. Нет, о революциях не говорят, но их делают; нельзя революции предписать декретами конгрессов. Наконец Домела сказал, что мы, социал-демократы, — шовинисты. Если была когда-нибудь не шовинистская социал-демократическая партия, то это немецкие социал-демократы.

«Они это доказали своими страданиями, они доказали это, когда противились в 1870 году продолжению войны с французами. Здесь в зале есть шовинист, и этот шовинист — Домела. (Домела смеется.)

«Смейтесь! Только вы перестанете смеяться, когда услышите, что я сейчас скажу. В 1870 году, когда немецкие социал-демократы приносили громадные жертвы за своих братьев, французских рабочих, нашлась одна газета, которая осыпала их оскорблениями.

«Эта газета — была газета ... Домела-Ньювенгуиса.

«Вот шовинизм, и шовинизм притом самый отвратительный! Я предлагаю собранию вотировать единогласно за нашу резолюцию, выражающую наши искренние убеждения: абсурдную и смешную резолюцию Домела передать всеобщему посмеянию».

Речь произвела очень сильное, но не вполне определенное впечатление.

Многие, видимо, не могли хорошенько собраться с мыслями и не знали, на чью сторону стать.

Некоторые, неистово аплодировавшие Домела, сидели теперь, понуря голову, пристыженные, как будто наказанные. Несколько человек голландцев и англичан негодовали за личные нападки, допущенные Либкнехтом. Особенно горячился один английский матрос с открытым, но несколько глуповатым лицом. Он что-то кричал, сжимал кулаки, рвался вперед, его не пропускали, председатель звонил, слышались крики: «à la porte!», «raus!» (вон). Когда шум несколько стих, Домела поднялся в середине зала на стол, около которого он сидел. Его окружила группа голландских делегатов, настоящих пролетариев в бедных заплатанных одеждах с грубыми, изможденными лицами.

Все обернулись в их сторону. Прерывистым, взволнованным голосом Домела начал говорить о том, что недостойно Либкнехта, с которым он много лет был дружен и которого он всегда любил и уважал, недостойно старого вождя немецкой социал-демократии спускаться до личных нападок, до личных оскорблений.

Он хотел сказать еще что-то, но, видно, нервная спазма сжала его горло, слезы покатились из глаз, он, махнув рукой, сошел со стола, поддерживаемый своими друзьями.

Резолюции голосовались по нациям. Большинство наций голосовали за немецкую резолюцию. Предложение Домела-Ньювенгуиса провалилось.

В 1893 году на Цюрихском международном конгрессе Домела снова выступил со своим предложением всеобщей забастовки против войны и встретил на этот раз наиболее ожесточенного противника в лице русского делегата Плеханова.

Домела снова потерпел поражение и, вероятно, под влиянием его окончательно перешел в лагерь анархистов.

Интересно, что Домела нашел себе горячего сторонника в лице ... Льва Николаевича Толстого.

Л. Н. Толстой, прочитав в «Неделе» мою статью о Брюссельском конгрессе, где я подробно изложил речь Домела, написал ему сочувственное письмо, которое, увы, не дошло по назначению.

Германская делегация была на конгрессе окружена особенным вниманием. Все поздравляли ее с победой над Бисмарком. «Железный канцлер» незадолго перед конгрессом «пал», и вместе с ним пал выработанный им закон против социалистов, которым он десять лет душил немецкую социал-демократию, но задушить не мог.

Вожди немецкой социал-демократии, съехавшиеся в Брюссель, выглядели именинниками. Особенно весел и жизнерадостен был самый талантливый и самый популярный из вождей Август Бебель.

Небольшого роста, коренастый, с лицом несколько грубоватым, но открытым и правдивым. Быстрая походка, решительные движения, смелый взгляд умных, проницательных глаз. Речь отчетливая, но чрезвычайно быстрая, можно сказать, пулеметная.

Приезда Бебеля с волнением ждал один старый немецкий эмигрант, живший в Брюсселе под псевдонимом Байера. Из Германии

изгнал его закон против социалистов. Был он хороший портной, но зарабатывал мало, так как шил костюмы студентам-социалистам, с которых по-товарищески должен был брать очень мало, да и это малое часто недополучал.

Бебеля он знал с юных лет, считал его не только товарищем, но и другом.

С Байером я встретился и быстро подружился еще за неделю до открытия конгресса.

— Вот подождите, — говорил он мне, — приедет Август, зазову его к себе, познакомлю с вами, будем вместе пиво пить, о старом вспоминать, о новом толковать.

Я видел их первую встречу в зале конгресса. Жизнерадостный Бебель весело разговаривал с какой-то изящной делегаткой, когда к нему быстрыми шагами с распростертыми объятиями приблизилась неуклюжая фигура Байера с широко улыбающейся физиономией, густо обросшей седеющими волосами. Он хотел заключить Бебеля в свои объятия, но Бебель уклонился и даже не сразу узнал его.

Только после того как Байер назвал себя и что-то еще сказал, Бебель учтиво, но холодно пожал ему руку.

Байер, видимо, был озадачен этою холодностью и, перебросившись несколькими фразами с Бебелем, отошел от него. Пройдя мимо меня и молча поздоровавшись, он ушел из народного дома, где происходили заседания конгресса.

Вечером я зашел к нему на его «чердак». Он сидел у стола, опустив свою лохматую голову на сложенные руки. Перед ним стояла пустая кружка от пива. Он поднял голову, и я понял, что это была далеко не первая кружка.

— Ты видел, — заговорил он, смотря на меня слезящимися глазами, — как отшил меня наш знаменитый вождь? Он теперь величина, победитель Бисмарка, а я лишь старый пьяный портной Байер. Зову к себе — говорит некогда: заседание, комиссии. Чорт бы побрал все эти и комиссии, и конгрессы, и всех этих вождей! Придет когда-нибудь настоящая революция, тогда не сдобровать и этим ликующим вождям.

Я старался успокоить и утешить Байера, но мне это не удалось.

— Пойдем, выпьем, — предложил он, но я отказался.

Конечно, обиделся Байер на Бебеля совершенно напрасно, но вот на Алльманя, вождя французских социалистов, возглавлявшего фракцию алльманистов, две русских курсистки обиделись совершенно основательно.

Это были две милые девушки, почти девочки, только что сошедшие с гимназической скамьи и пробравшиеся в Брюссель, чтобы поступить там на медицинский факультет.

Они были чрезвычайно обрадованы, что попали в Брюссель как раз к Международному конгрессу, где увидят всех вождей.

От кого-то из бельгийских рабочих они узнали, что я русский

журналист, и пришли познакомиться со мной, вероятно, в надежде, что я помогу им осмыслить происходящее на конгрессе.

Действительно, во время одного из перерывов они засыпали меня вопросами о личностях делегатов. Когда мимо нас проходила эффектная фигура Алльманя в черном сюртуке и в цилиндре, из-под которого высовывался большой романский нос, лица девушек как-то странно изменились. Они переглянулись, и одна из них неуверенно спросила:

— И это тоже делегат?

— Да, это известный французский социалист, именем которого называется целая фракция. Это — Алльмань.

— Не может быть!

Я вопросительно посмотрел на девушек.

— Представьте, — сказала одна из них несколько сконфуженным голосом, — этот господин вчера вечером преследовал нас, когда мы проходили мимо биржи. Говорил нам разные пошлости и, вероятно, гнусности, которых мы хорошенько не поняли. Преследовал нас упорно и настойчиво, пока мы не прошли мимо полицейского и направились было к нему, чтобы просить защиты. Тогда только этот господин в цилиндре отстал от нас.

Впоследствии те же девушки через кого-то познакомились с Вандервельдом, тогда еще совсем молодым человеком, только что окончившим университет, но уж пользовавшимся популярностью и продвигавшимся к депутатскому креслу.

О Вандервельде они мне рассказывали, как о человеке чрезвычайно деликатном и отзывчивом, без малейшего налета пошлости.

Вандервельд очень ценил русских учащихся женщин и оказывал им услуги, но на конгрессе он выступил против дарования женщинам избирательных прав, обосновывая это тем, что в Бельгии большинство женщин находятся под влиянием католического духовенства, и дарование им избирательных прав усилит консервативно-клерикальную партию и разобьет надежды социалистов на завоевание парламентского большинства.

Заявление Вандервельда вызвало взрывы негодования со стороны если не всего конгресса, то значительной части его. Казалось возмутительным и нелепым говорить о недопущении к выборам женщин, говорить это на конгрессе, где присутствовала в качестве делегатки младшая и любимая дочь Карла Маркса, Элеонора.

Зная в совершенстве большинство европейских языков, Элеонора выступала переводчицей речей ораторов с одного языка на другой и делала это с поразительным искусством.

Как теперь вижу ее высокую, прекрасно сложенную фигуру, ее простое и приветливое лицо, над которым высилась шапка черных вьющихся волос, ее глаза, из которых лились потоки ума и любви.

Германские социал-демократы гордились своей победой над Бисмарком, своими успехами на парламентских выборах, бельгийские со-

циалисты — своей кооперацией, к которой многие относились тогда пренебрежительно и даже враждебно.

Эта враждебность, в том числе и у Бебеля, исчезла под влиянием тех кооперативных завоеваний, которые бельгийские товарищи умело показали иностранным делегатам конгресса.

Сам конгресс заседал в Народном доме (Maison de peuple), а народные дома в Бельгии — центры кооперативного движения и, конечно, всем делегатам была предоставлена полная возможность познакомиться с постановкой кооперативного дела в Брюсселе. Мало того, для членов конгресса, к которым в данном случае присоединился и я в качестве единственного представителя русской печати, была организована поездка в специальном поезде во фламандский город Гент для осмотра учреждений потребительно-производственного товарищества «Вперед» («Voruit»).

Поезд был украшен красными флагами, по линии стояли группы железнодорожных рабочих, приветствуя членов конгресса пением рабочей Марсельезы и Интернационала.

В Генте мы проходили между живыми стенами рабочих делегаций с красными знаменами, и гентские рабочие кооператоры старались всеми способами проявить свое товарищеское внимание к иностранным гостям.

Помню, как один рабочий, увидев, что я вытираю платком запотевшие очки, подбежал ко мне и подал большой кусок замши, объясняя на ломанном французском языке (он был фламандец), что он имеет какое-то отношение к изготовлению замши и что замшей лучше всего вытирать очки.

Мы осматривали многочисленные хозяйственные и культурные учреждения кооператива: пекарню, типографию, мастерские, лавки, библиотеку, читальню и т. д. Нас встречали рабочие со своими семьями, у женщин на руках были дети, которым они указывали на особенно выдающихся социалистов, хотя младенцы ничего, конечно, не понимали.

Настроение было такое приподнятое, что многие плакали от умиления.

В красивом главном здании кооператива в зале, на стенах которой были начертаны имена выдающихся социалистов всех стран и времен, в том числе Чернышевского, Анзель, вдохновитель и руководитель гентского «Вперед», произнес горячую речь о революционном значении кооперации и предвещал, что близится время, когда национальным флагом Бельгии будет красное социалистическое знамя, а пестрые флаги, которыми украшены дома гентской буржуазии по случаю какого-то католического съезда, будут отправлены римскому папе для употребления чрезвычайно санитарного, но далеко не почетного.

Анзелю бешено аплодировали. В этот момент все делегаты конгресса были горячими сторонниками кооперации.

А у меня под влиянием всего того, что я видел в Генте, зарожда-

лась мечта о создании когда-нибудь в родном и милом мне Петербурге кооператива, подобного гентскому «Вперед».

Уезжая из Бельгии, я увозил с собою две идеи: идею социалистической кооперации и идею всеобщей революционной стачки.

Со времени Брюссельского конгресса Второго интернационала прошло теперь сорок два года, за это время международная социал-демократия сначала медленно, а затем после 1914 года стремительно скатывалась в болото оппортунизма, ренегатства, предательства.

Если Бернштейн, ревизуя К. Маркса, провозгласил пошлый лозунг: «Движение — все, цель — ничто», то «ортодоксальный» Каутский, испугавшись великой пролетарской революции, отказался не только от цели, но и от движения.

Я еще в начале 1905 года назвал себя коммунистом, как до конца жизни называл себя Маркс. В предисловии к своей книге «Теория и практика пролетарского социализма» я 1 марта 1905 года писал:

«Если я чувствую теперь связь с социал-демократией, то только с социал-домократией как борющейся пролетарской массой...».

Конечно, и коммунисты всех стран держат крепкую связь с пролетарской массой, даже если она еще не освободилась от влияния социал-демократических бюрократов.

В 1917 году я безоговорочно примкнул к апрельским тезисам Ленина. Обо всем этом мне придется рассказать в последнем томе «Пережитого и продуманного». Вряд ли мне придется рассказать о крахе фашизма во всех капиталистических странах, но крах этот неизбежен, как неизбежно торжество коммунизма. В этом не может быть сомнения ни у кого, кто не только читал Маркса, но и понял обоснованные им законы общественного развития.

XV. В БОЛЬНОЙ РОССИИ

Тяга в Италию. — Мрачное предчувствие. — Встреча с Альмой в Цюрихе. — Вихрь противоречивых чувств. — Приезд Саши. — Дружба двух женщин. — Тяга в больную Россию. — Петербург в холерные дни. — В обители смерти. — Медицинская пытка. — Сумасшедший. — Митяй. — Мнимое заражение. — По Волге. — Самара. — Я. Л. Тейтель и В. О. Португалов. — Бостром. — А. Н. Толстой и его мать. — Болезнь Альмы. — Победа инстинкта. — По самарской степи. — Прежде и «нонче». — Среди больных. — Экзамен. — Аришка. — Анюта. — Николай Давыдович. — Терентий Иванович. — Ворожея Косточка. — Мой хозяин. — Хищник Аржанов. — Новое крепостное право. — Фельдшер Леншинов. — Мои «милосердные сестры». — Припадки благодарности и недоверия. — Пессимистка и оптимистка. — У сектантов. — «Нутро». — На свадьбе. — Зуда. — Вблизи Азии. — Ямщицкая точка зрения. — У мясника Аггея. — Кошмарная ночь. — Странная пара. — Бешеная скачка. — Снова в Иене. — «Зачем?» — Мои очерки «На холере». — Оценка их Л. Н. Толстым и А. П. Чеховым. — Превосходная тюрьма.

Летом 1892 года ко мне в Иену приехал Агафонов. Мы задумали с ним поехать в Италию. Италия манила меня с тех пор, как я еще в ранней юности прочел «Вильгельма Мейстера» Гете. В моей душе часто звучала чудесная песня Миньоны:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

(Знаешь ли ты страну, где цветут лимоны, в темной зелени горят золотые апельсины, мягкий ветер веет с голубого неба, тихо стоит мирта и лавр высоко подымается? Хорошо ли знаешь ты ее? Туда, туда с тобой хотел бы я умчаться, милый мой!)

Вечером перед отъездом мы сидели с Агафоновым на одном из холмов в окрестностях Иены. Солнце зашло в мрачную свинцовую тучу с багряными, как бы накаленными краями. Что-то зловещее почудилось мне в этой туче, и я после нескольких минут молчания сказал Агафонову:

— Не хочется мне ехать. Предчувствие какой-то беды сжимает мне сердце.

— Ну, уж ты со своими вечными предчувствиями, — сказал недовольно Агафонов. — Просто устал от своей медицины. Надо проветриться.

И мы поехали.

Во Франкфурте с билетами через Страсбург мы попали в поезд,

шедший через Фрейбург, и нас безжалостно высадили на каком-то полустанке, где взыскали штраф и отправили обратно во Франкфурт.

Во Франкфурте пришлось ждать поезда целую ночь. Мы бродили по улицам под бдительным наблюдением полицейских, не дававших нам прикурнуть на скамейке.

Под влиянием бессонной ночи предчувствие чего-то тяжелого еще более усилилось, и я хотел вернуться обратно в Иену, но устыдился Агафонова, и мы поехали дальше.

Добрались до Цюриха. Здесь я встретился с Альмой. Два года мы с ней не виделись. Много она пережила за это время. Стала еще красивее, еще привлекательнее, но в ее глазах было что-то горестное и загадочное. Тяжкая тайна давила ее. С мучительным усилием, но с великой искренностью рассказала она мне, что гнетет ее. И тогда свободно вздохнула, и ясным стал ее взор.

Но в моей душе, где таилось так много неосознанного, все перепуталось и закружилось в вихре противоречивых чувств. Порывы восторга сменялись порывами отчаяния, злоба к тем, кого я винил в трагедии, пережитой Альмой, сменялась жестоким самобичеванием, что я слишком просто, слишком эгоистично ушел от нее два года тому назад.

Не знаю, скорбной или радостной назвать ночь признаний, ночь надрывов, которую мы с Альмой провели на Цюрихберге. Вижу извилистые линии огней лежащего внизу, как будто в бездонной пропасти, уснувшего Цюриха, слышу грохот промчавшегося вдали поезда.

На другой день после этой ночи мне стало так нестерпимо жутко жить, что только чуткая дружба Агафонова, молча следившего за происходившей драмой, спасла меня от самоубийства.

О своих переживаниях, которые, как я понимал, в корне изменяют мою жизнь, написал Саше. Она тотчас приехала. Не врагами, а друзьями встретились две женщины. Обнявшись, плакали общими слезами. Женщина любила и жалела женщину. Редко это бывает.

Желание ехать в Италию у меня погасло, напротив, захотелось ехать туда, где люди голодают, страдают, умирают, захотелось ехать в Россию, где свирепствовала холера, пришедшая вслед за голодом.

Агафонов тоже отказался от поездки в Италию и направился прямо из Швейцарии в Россию. Я заехал в Иену, чтобы повидать детей.

Из Цюриха мы ехали с Сашей в каком-то особенно просветленном и приподнятом настроении. Никогда, кажется, не любил я Сашу так искренно, так благодарно, как в эти дни. В поезде пассажиры смотрели на нас с ободряющей улыбкой, как на счастливую новобрачную чету.

Было решено, что после моего отъезда из Иены туда приедет Альма. А когда все надрывное перегорит в моей душе, мы будем жить вместе: Саша, Альма и наши милые девочки, Леля и Таня; будем жить в дружеском союзе, свободные от разделяющей людей «слепой и безумной» страсти.

Хорошо было придумано, но плохо было продумано!

Первые дни пребывания в Петербурге я видел холеру только на испуганных лицах петербуржцев и стал привыкать относиться к ней шутливо; но я оставил свои шутки, когда попал в холерный барак и увидел страшную болезнь на лицах действительно больных.

Я хорошо помню впечатления своего первого «холерного» дня.

При самом входе в барак меня облачили в белый халат, и молодой врач повел меня осматривать больных.

Мы вошли сперва в мужскую палату. В первую минуту мне показалось, что там царит какая-то особенная, торжественная тишина — тишина смерти; мне даже показалось странным неприятным, что шедший рядом со мной доктор говорит полным голосом и стучит сапогами.

Фигуры больных, лежавших на койках под серыми одеялами, казались застывшими, неподвижными... Но вот с одной из коек раздался слабый стон. Фигура зашевелилась, из-под одеяла высунулась посиневшая худая нога и судорожно скорчилась...

— Ой, батюшки, помогите, христа-ради... Судорога сводит! — прошептал сиплый голос.

Сиделка бросилась оттирать несчастного. Стон послышался на другой кровати и как бы отозвался в противоположном углу... Сиплые, истомленные голоса со всех сторон жалобно просили помощи... Высокий, страшно исхудавший рыжий мужчина, весь изгибаясь, попытался приподняться, но тотчас с жалобным стоном снова упал на постель...

Я стал обходить больных. Посиневшие лица, ввалившиеся глаза, странно приподнявшиеся над ними веки, изредка выражение тупой боли, по большей же части полумертвое бесчувствие, вполне безучастное отношение ко всему окружающему.

Из мужской палаты мы направились в женскую. Еще не входя в нее я услышал странные за душу хватающие звуки: хрипение, всхлипыванье, крикливую икоту. В палате у самых дверей лежала в агонии молодая женщина. Голова была откинута назад, черные волосы в беспорядке рассыпались по подушке, из полуоткрытых глазных впадин страшно выглядывали белки глаз, грудь мучительно вздымалась, из посиневших, покрытых пеной губ вырывалось предсмертное хрипение; обнаженная рука что-то судорожно ловила в воздухе.

Лежавшая рядом больная приподнялась на руках и с ужасом смотрела на умирающую. Еще несколько хрипений, еще одно мучительное трепетание груди, еще один судорожный взмах рукою, — и все утихло, и только рука, сжатая в кулак, еще несколько мгновений висела на воздухе и затем тихо опустилась рядом с безжизненным телом. Сестра милосердия накинула на умершую белую простыню. Соседняя больная еще несколько мгновений смотрела на покойницу испуганно-неподвижным взором и затем со стоном опустилась на подушки.

Мое сердце нервно сжалось. Это была первая холерная смерть, которую я видел, и, кажется, самая тяжелая.

Большинство холерных умирают, повидимому, довольно легко. Я, по крайней мере, видел несколько удивительно спокойных смертей.

В том же петербургском бараке один мужчина лет тридцати, сначала сильно мучившийся рвотой и судорогой, вдруг, повидимому, успокоился и тихо заснул. Я подошел к его кровати. Он сначала лежал совершенно неподвижно, потом слегка открыл глаза и вдруг быстро поднялся с кровати. Я хотел удержать его; но он отстранил мои руки, сделал несколько шагов по комнате, вернулся обратно, сел на кровать и затем тихо, устало склонил голову на подушку. Я ждал несколько минут; больной не двигался; я приложил ухо к груди, — сердце не билось.

Помню также, как на моих глазах одна белокурая мощная красавица из забытья, в котором она находилась все время болезни, без стона, без предсмертного вздоха, тихо и незаметно перешла в вечный сон. Как раз в тот момент, когда она, по выражению больничной сестры, была «на пути», я сделал ей подкожное впрыскиванье, и мне почему-то до сих пор нередко мерещится ее белокурый локон, из-под которого блестит брильянтовая сережка.

В первый же день пребывания в бараке я практически ознакомился с лечением холеры по способу итальянского профессора Кантани. Кантани, предлагая свой способ, исходил из положения, что в холерном больном происходит борьба за существование между человеческим организмом и нападающими на него паразитами.

Следует поддержать организм и убить паразитов. Первой цели служат подкожные вливания соляного раствора (гиподермоклизмы), которые вознаграждают потерю больным жидких частей крови и препятствуют высыханию тканей; второй цели служат высокие танниновые клизмы (энтероклизмы), которые дезинфицируют кишечник и убивают сосредоточенных там паразитов.

От танниновых клизм с прибавкою различных возбуждающих средств я постоянно видел превосходные результаты. Что касается подкожных вливаний, то, по словам доктора нашего барака, они давали результаты очень сомнительные, и я в своей самостоятельной деревенской практике к ним никогда не прибегал. У них есть очень существенный недостаток — мучительность и связанное с нею угнетающее психическое влияние на больного.

На меня применение гиподермоклизм производило впечатление медицинской пытки.

Первая больная, которой при мне делали подкожное вливание, была красивая крестьянка, лет двадцати. Холера точно пожалела ее красоту. Лицо ее было синевато-бледно, измучено, но все же прекрасно. Неподвижные, черные глаза из-под длинных ресниц устремились куда-то вдаль. Черная, полурасплетенная коса падала на высокую полуобнаженную грудь. К больной подошли доктор и служитель с эсмарховой кружкой и инструментами в руках. Глаза

больной на минуту широко раскрылись, в них засветились страх и мольба; руки поднялись, как бы стараясь оттолкнуть подходившего доктора, но тотчас устало и болезненно опустились. Доктор откинул одеяло, рубашку, приподнял кожу на нижней части живота и в образовавшую складку быстро воткнул заостренный конец стальной трубки, соединенной длинною кишкою с эсмарховой кружкой. Вода проникла в подкожную ткань, кожа кругом воткнутой трубки вздулась громадным пузырем. Больная видимо сильно мучилась, лицо ее было само страдание, но это страдание выразилось у ней не криком, не ропотом, а нежным, ласкательным шопотом:

— Голубчик ты мой, соколик ты мой ясный, родимый ты мой, красавец ты мой! — шептал умоляющий голос.

Пузырь между тем вздувался все сильнее, больная понемногу теряла сознание, губы что-то шептали, но что — нельзя было понять.

Доктор вынул трубку, залепил отверстие пластырем и перешел к следующей больной.

Это была старуха с воспаленным красным лицом, на которое спадали пряди седых волос. Глаза смотрели мутно, безжизненно. Доктор откинул одеяло. Живот больной был покрыт широкими красными пятнами.

— Это от горчичников? — спросил доктор «сестру», и, получив утвердительный ответ, шутливо заметил, что барышням вместо румян следовало бы употреблять горчичники.

Началась операция. Больная слабо, жалобно стонала. Веселое выражение не сходило с красивого, молодого лица доктора; он продолжал шутить.

— Надо стараться быть повеселее в больнице, — говорил он по адресу моего серьезного лица, — это поддерживает бодрость в больных и сестрах милосердия.

Я не согласен с доктором и нахожу неуместным шутки у постели тяжело больных; но я не возмущаюсь; я привык к худшему. Я видел в одной из клиник, как студенты гоготали над жалобными стонами беременной женщины, которой без хлороформа вырезали зоб. Нет занятия, которое требовало бы столько мягкости и самоотверженния, как медицина, но, к сожалению, среди врачей не мало черствых и грубых людей. Понятно, вполне понятно, но тем не менее печально, очень печально.

Из женской палаты мы с доктором направляемся делать вливания мужчинам. Сестра милосердия пожаловалась доктору на какого-то больного, у которого, как это нередко бывает, холера осложнилась психическим расстройством.

— Наш сумасшедший все продолжает куралесить, — говорила она, — вскакивает, кричит, ругается.

Доктор подошел к «сумасшедшему». Это был еще молодой человек лет двадцати пяти, похожий на еврея. Курчавые, черные волосы, маленькая голова, тонкая, худая шея. После психического припадка он, видимо, страшно ослабел. Грудь тяжело вздымалась, из полу-

открытого рта вырывалось легкое хрипение, полузакатившиеся глаза беспокойно, пугливо смотрели на доктора.

— Как тебе не стыдно сестер милосердия обижать! — говорит доктор. — Они женщины, а к женщинам вообще нужно относиться с уважением; а они еще ухаживают за вами, ночей не спят...

Красноречие доктора, видимо, пропадает даром; больной не понимает, что ему говорят: заплетающийся язык сипло повторяет:

— Я... что же... я ничего, я рад, я что же... рад.

Чувствительность больного значительно понижена, и он почти не замечает кантаньевской пытки.

Но вот подходим к громадному мужчине атлетического сложения. Что за мышцы, что за грудь! Чистый Голиаф! И вдруг этот Голиаф, как маленький ребенок, начинает просить, чтоб подождали его «торкать».

— Подожди маленько, родимый, подожди; дай с силами собраться.

— Ну чего, милый, ждать! — возражает доктор. — Потерпи, скорее поправишься.

— Ох, какая уж тут поправка! — кряхтит бедняга. — Ну, уж торкай, что ли, скорее!

Большинство сестер милосердия служили в холерном бараке «по обязанности», и раз кончалось дежурство, они, конечно, спешили домой отдохнуть после трудной работы; но одна сестра милосердия (тоже сестра по ремеслу) всегда уходила с неохотой и часто отбывала в бараке два дежурства под ряд.

— Идите же домой, отдохните, неужто вы не устали? — говорили ей.

— Мне так тяжело уходить — отвечала она, — мне все эти больные кажутся детьми; они такие несчастные, беспомощные!

Я понимаю эту «сестру». К этим несчастным «холерным» невольно привязываешься, как к собственным детям, и трудно уходить из больницы, из этой обители смерти и страданий. В несколько часов переживешь здесь столько, сколько при обыкновенных условиях жизни не переживешь в течение нескольких лет. Вот несколько картин из одного памятного для меня дня.

Утро. В мужской палате. На одной из кроватей лежит под белой простыней труп только что скончавшегося; у соседней кровати стоит доктор и делает кантаньевское вливание; несколько поодаль — больничный батюшка в белом балахоне поверх рясы, с епитрахилью и дароносицей исповедует тяжело больного...

— Как зовут? Зовут-то как? — слышится громкий голос священника.

Больной силится что-то сказать, но из помертвелых губ слышится лишь слабый, непонятный шопот.

— Кузьмой, батюшка! — говорит за него «сестра».

— Ну, Кузьма, нет ли у тебя большого греха на душе? Покайся, скажи: господь милостив.

Больной молчит.

— Большого нет ли чего, — слышишь, большого?

— Грешен, батюшка, — вдруг довольно ясно слышится сиплый шопот.

Батюшка наклоняется к больному.

— Что же за грех-то? Облегчи душу, скажи. Слышишь, Кузьма?

Но Кузьма уже не слышит. Глаза его бессмысленно уставились на дароносицу, которую батюшка держит в руках.

— Он уж «на пути», — шепчет сестра.

Батюшка накрывает голову больного епитрахилью и шепчет молитву.

Тяжелая картина! Но вот рядом и радостная.

На кровати лежит мальчик, лет двенадцати, «из портерной». Вчера его привезли в больницу совсем слабого от страшной рвоты и поноса. У него был тогда ужасно испуганный вид; ему казалось, что его привезли «на смерть»; но через этот страх все же просвечивала сильная надежда, поддерживаемая молодым желанием жизни.

— Ваше благородие, может быть, я и не умру? — говорил он, — как вы полагаете, — ведь не умру?

— Не умрешь, зачем умирать, — говорили ему вчера, и говорили правду, потому что сегодня он выглядит совсем молодцом.

— Ну, Митяй, как живешь? — спрашиваю я.

— Очень хорошо, ваше благородие, совсем хорошо, хошь сейчас вставай да беги...

Глаза мальчика блестели радостью, но потом вдруг в них проскользнул легкий страх.

— Ваше благородие, а живот «пороть» больше не будете?

— Не будем, зачем, — и так хорош.

Мальчик счастлив, и мы счастливы вместе с ним.

После обеда к больным являются родственники.

К «сумасшедшему», оказавшемуся купеческим сыном, явились оба родителя. Они поражены поистине ужасным видом сына. Старик-купец растерянно стоит и молча глотает слезы... Толстая купчиха волнуется и раздражается.

— Господин доктор, — обращается она ко мне, — что же это сделали с нашим сыном? Вылечите его: этак, право, нельзя... Непременно вылечите, вы должны вылечить...

— Мы делаем все, что можем.

— Как же это все что можем? Здесь и ухода никакого нет. Мы ведь не какие-нибудь. Мы жаловаться можем.

— Старуха, старуха, — дергает ее за рукав купец. — Брось вздор-то толковать! Вы уж, господин доктор, сделайте божескую милость, не гневайтесь! Она с горя это брешет. Сынишка-то у нас один. По весне только женили. Жена-то брюхатой остается. Уж помогите нам, господин, век не забудем, в ноги вам кланяться станем, — и старик собирается стать на колени.

— Полно вам, полно! — удерживаю я его.

Старик стоит минуту, опустив голову, и потом вдруг усиленно твердым голосом спрашивает:

— А до утра-то проживет, как надо ждать?
— Может быть, не знаю.
— Пойдем, старуха, — говорит решительно старик и почти силой уводит жену из палаты.

Поздний вечер. В бараке «смертная тишина». Вхожу на цыпочках в женскую палату. На одной из коек ворочается маленькая, сморщенная старушка.

— Это ты, Арина?
— Я, батюшка.
— Что же ты не спишь? Ведь ты уже совсем, никак, поправилась?
— Поправилась, родимый, поправилась. Спасибо вам, родные мои, спасибо, ангелы мои, спасибо... От смерти меня вы спасли... Буду господа молить, святых угодников просить буду...
— Ну, полно, полно... Чего же ты не спишь-то?
— Да где же тут, родимый, спать-то? Ведь завтра я на выписку иду, — вот все и думаешь, думаешь. — Глаза старушки блестят молодым, почти лихорадочным блеском. — Может, и увидеть-то не чаяли больше. То-то обрадуются, то-то заждались! .. — шепчет она.

Я смотрю на нее с грустной улыбкой. Она неожиданно, думаю я, встала от смерти к жизни. Это для нее великий, торжественный момент. Все внутри у нее так светло и радостно. Она думает, что и для всех других произошло что-то необыкновенное. Она ждет, что дома все встретят ее как-нибудь особенно торжественно и окружат особенным вниманием, особенной любовью. И какою грустью сожмется ее помолодевшее сердце, когда, быть может, дома ее встретят вполне спокойно, без всякой ликующей радости и торжества!

Я прощаюсь со старушкой и иду в мужское отделение.

Та же тишина, тот же полумрак. Митяй, мальчик «из портерной», сладко спит, заложив руку под пухлую розовую щеку. Смотрю я на него с непонятною для меня нежностью и опять-таки с грустью.

«Ты спасен, — думаю я, — но для какой жизни? Не лучше ли бы было тебе умереть теперь, пока не изгадил тебя еще Питер, пока на лице твоем играет еще невинный румянец. Ах, ужасно хороши бывают эти деревенские ребята в первый год их городской жизни! Так и пышут они удалью и жизнерадостностью! Но зато как быстро засасывают их питерская грязь и пошлость! Как часто из милого, удалого мальчика в несколько лет вырастает развратный, прогнивший лакей какого-нибудь загородного сада. Неужто и этот милый Митяй, который теперь спит так спокойно в этой обители скорби и смерти, неужто и он превратится в плешивого, испитого лакея во фраке и будет спать нездоровым сном на стуле у какого-нибудь отдельного кабинета?»

Митя тихонько пошевелился, посмотрел на меня несколько удивленным взглядом, сладко потянулся и снова заснул.

Я тихо вышел из палаты.

В Петербурге я пробыл не больше недели. Этого времени было достаточно для ознакомления с лечением холеры, так как я стара-

тельно выполнял не только докторские обязанности, но и обязанности фельдшеров и сестер милосердия.

Вначале у меня была боязнь заразиться, но она совершенно и навсегда прошла после моего мнимого заболевания.

В то время как я ставил высокую клизму одному холерному больному, на меня брызнули из прямой кишки его испражнения, окатив все мое лицо: попали в глаза, в нос, в рот. Минута была отвратительная. Я, конечно, умылся, выполоскал рот, но скверное ощущение во рту не проходило.

Когда я пришел домой, в нанятую мной меблированную комнату, я почувствовал боль в животе, тошноту, и когда лег в постель, начались судороги в икрах, типичные для холеры.

Пришел Агафонов и хотел тотчас же бежать в больницу звать врача. Но я попросил сначала распорядиться, чтобы мне сделали горячую ванну. Она вскоре была готова, и я, просидев в ней минут двадцать, почувствовал, что все мои боли проходят, а через час я был уж совсем здоров и весело болтал со своим старым другом, распивая чай с красным вином.

В этот момент дверь комнаты отворилась, и на пороге показались старший врач больницы и один из ассистентов, которым о моем заболевании холерой сообщила хозяйка меблированных комнат. Мы посмеялись, а затем серьезно поговорили о том, какую большую роль при болезнях играет мнительность, но и самая большая и даже обоснованная мнительность не может вызвать холеры, если коховские бациллы не проникли в кишечник, а лишь погостили во рту.

Из Петербурга по приглашению самарского земства я поехал в Самару.

Со мной поехала и Альма. В Иене, куда она приехала после моего отъезда, ей, по ее словам, жить было невыносимо, зная, что я подвергаю себя опасности в борьбе с холерой. Она догнала меня в Петербурге за несколько часов до моего отъезда оттуда.

До Нижнего мы ехали по железной дороге, а от Нижнего по Волге на пароходе.

Это была моя первая поездка по Волге.

Волга сразу заполонила меня. Днем в голубых высотах яркое солнце; мерцающая полоса раскаленного золота в широкой водной глади, уходящей вдаль; бесшумный планомерный полет легких белых чаек; мерный плеск воды, разрезаемой пароходом. На душе ясно и спокойно; ни прошлого, ни будущего; ни дум, ни желаний — блаженная нирвана.

Ночью в холодном мраке причудливые силуэты проходящих судов, плавающие в пространстве разноцветные огни мачт, рев, свист, стон пароходов, порывы встречного ветра и ровное, непреклонное, безостановочное движение вперед. Иду по палубе, преодолевая бурный напор ветра, и мне кажется, что я часть той силы, которая непреклонно движет вперед громаду, разбрасывающую снопы белого электрического света в окружающий мрак.

В груди поднимается гордость, повелительная гордость человеческого разума и знания.

Утром подъехали к Самаре, красиво рассыпавшей свои церкви и дома по холмистому берегу Волги.

Не успели выйти на пристань, как были окружены толпою нищих. Тут были сгорбленные, трясущиеся старики и старухи, точно связки грязных лохмотьев, тут были и молодые парни с одутловатыми, бледными лицами и слезящимися красными глазами, тут были и смуглые татарчата с черными, лукавыми глазенками — кого тут не было!

И все это назойливо клянчило милостыню на разные лады.

Мы быстро роздали всю имевшуюся у нас «мелочь» и поспешили усесться на извозчика.

В эту минуту к нам неуверенной походкой приблизился сгорбленный, сухой татарин. Он протянул темную, как бы засохшую руку и что-то забормотал потемневшими губами. Я взглянул ему в лицо. Неподвижные, черные глаза смотрели безучастно, безжизненно. Должно быть, он уже давно голодал...

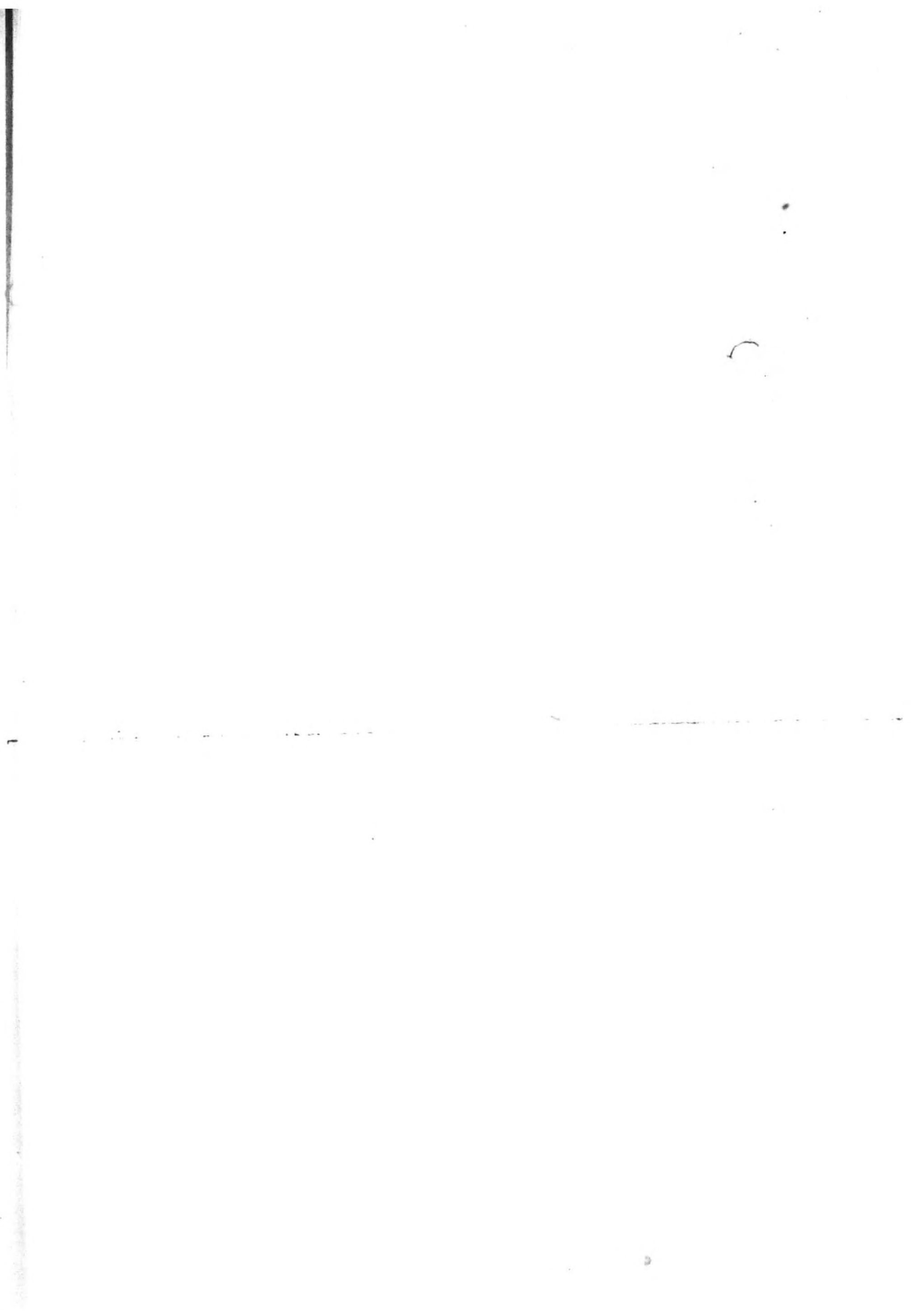
«Мелочи» у нас больше не было, и я велел извозчику ехать. Извозчик уж взобрался на гору и ехал по улицам Самары, а голодное лицо татарина все еще стояло перед моими глазами. Мерзко сделалось на душе: как мог я проехать мимо голодного человека и не помочь ему, потому что в кармане не нашлось мелочи, а были лишь крупные бумажки? Хотел вернуться обратно, но не сумел преодолеть глупой неловкости.

Проклятые мелкие неловкости, пошлые условности! Как путают они нас на каждом шагу!

Уныло смотрел я по сторонам на унылый город. Широкие улицы, новые деревянные дома, далеко отстоящие друг от друга, церкви с широкими площадями. Просторно, но неуютно, бивуачно: будто город отстроился после сильного пожара. Ни зелени, ни украшений, ни памятников старины. И вспомнил я свою родную, свою маленькую Иену, где вместо улиц — кривые переулки, где каменные серые домики причудливой толпой теснятся к старому Мюнстеру, где все дышит стариной, «жильем». Иена напоминала мне уютную комнатку Гретхен с ее «довольством, тишиной, порядком», а Самара показалась мне громадным балаганом, где холодно и пусто.

Впрочем, это впечатление быстро рассеялось под влиянием того радушия, которое я встретил в интеллигентных семьях Самары. В то время там было два культурных центра, два культурных дома — Якова Львовича Тейтеля и Вениамина Осиповича Португалова.

Они конкурировали своей культурностью, своим гостеприимством и недолюбливали друг друга. Оба евреи, но Португалов — крещеный, а Тейтель — некрещеный. Португалов — высокий, красивый мужчина с пышной рыжей шевелюрой и роскошной бородой, Тейтель — маленький, плотный, черный, с густыми усами и бритым подбородком. Португалов — врач и публицист, старый сотрудник «Недели», и ему, кстати сказать, как я узнал впоследствии, многими



читателями приписывались мои статьи, подписанные инициалами «В. П.». Тейтель был в то время судебным следователем, и следователем в своем роде единственным: в царской России, кроме Тейтеля, никогда не было ни одного судебного чина из некрещеных евреев. Португалов если не стыдился своего еврейства, то, во всяком случае, никогда о нем не упоминал. Тейтель гордился своим еврейством, и когда ему министр юстиции Манассеин предложил значительное повышение по службе под условием крещения, Тейтель, не колеблясь, резко ответил:

— У человека должно быть что-нибудь не продажное. Я не торгую своим богом.

Для Тейтеля еврейский бог был гением еврейского народа, был тем, что объединяет в единое национальное целое евреев, разбросанных по всему земному шару. Безукоризненно выполняя свои служебные обязанности, сначала судебного следователя, а затем члена окружного суда, Тейтель находил время и силы для помощи еврейской бедноте, для возможного смягчения их горькой участи. Но Тейтель отнюдь не был узким еврейским националистом. Он интересовался и русскою жизнью, он любил русскую литературу, был знаком чуть не со всеми значительными писателями и лучше, чем кто-нибудь другой, знал их интимную жизнь. Менее всего Тейтель интересовался самим собою, в противоположность Португалову, который был положительно влюблен в себя. Когда по моем возвращении в Петербург П. А. Гайдебуров спросил меня, как мне понравился Португалов, я ответил, мне кажется, довольно основательно:

— Ничего худого о нем я сказать не могу, а все хорошее о себе он, наверное, рассказал вам сам.

Кроме Португалова и Тейтеля вспоминаю еще одного самарского интеллигента, председателя губернской земской управы Бострома. Это был типичный прогрессивный земец, человек дела, а не красивых фраз, несколько суховатый и, во всяком случае, не мягкотелый. Он жил в свободном союзе с ушедшей от своего мужа графиней Толстой.

Это была умная, скромная женщина с добрыми, лучистыми глазами, несколько придавленная перенесенными испытаниями. Она писала простые, правдивые рассказы. Книжку этих рассказов она подарила мне с дружеской надписью.

— Писательницей я себя не считаю, — говорила он мне, грустно улыбаясь. — Но я живу надеждою, что в моем мальчике мое небольшое дарование разовьется в большой талант.

Одной рукой она обняла своего десятилетнего сына и, разглаживая другой рукой его густые, черные волосы, говорила мне:

— Смотрите, какой у него умный лоб, какие живые, говорящие глаза!

Это был сын не Бострома, человека, которого она страстно любила, а графа Толстого, который ей был совершенно чужд.

Женщины часто как-то особенно сильно любят детей от нелюби-

мых мужей. Это правильно подметил Л. Н. Толстой в «Анне Карениной».

Грустно, что эта чудесная женщина не дожила до того времени, когда ее сын, Алексей Николаевич Толстой, прославился, как один из самых талантливых современных писателей.

В Самаре Альма заболела. Болезнь эта меня очень тревожила, так как я знал, что у Альмы вскоре после нашей первой встречи врачи определили органический порок сердца, болезнь серьезную и неизлечимую.

Между тем мне нужно было спешить уезжать в глубь Самарской губернии, в Николаевский уезд, откуда бежали многие врачи, после того как в Хвалынске во время холерных беспорядков был растерзан озверевшей толпой доктор Молчанов.

Выжидать выздоровления Альмы я не мог и поехал один, поручив позаботиться о ней моим новым самарским друзьям. В Самаре мы жили в гостинице в двух смежных номерах.

Ночью перед отъездом Альма не могла заснуть; постучала ко мне. Я сел на ее кровать и наклонился, чтобы послушать ее бурно бьющееся сердце. Она обвила мне шею своей горячей рукой.

Все закружилось во всем моем существе. Долго сдерживаемый инстинкт победил рассудок. Обещание, данное Саше, было забыто.

Через несколько часов я во главе санитарного отряда ехал по Волге из Самары в Хвалынск. Смутно и мутно было у меня на душе, так же, как в волжской воде, бурлившей под колесами парохода.

В Хвалынске мы оставили пароход, переправились на другую сторону Волги на лодке и проехали несколько верст на лошадях.

Проезжая по самарской степи, я думал не о том, сумею ли я справиться с холерой, а о том, сумею ли я победить власть деревенской тьмы.

Дорога была унылая. Хлеб и трава уже сняты. На все стороны раскинулась черная, безжизненная степь. Ни птицы, ни зверя, только клубья сухого ковыля, как серенькие зверки, перекатываются, подпрыгивают, останавливаются и, гонимые ветром, быстро уносятся вдаль.

— Что, водится ли у вас тут какая-нибудь дичь? — спрашиваю я ямщика.

— Прежде всякой много водилось: и дроф, и стрепетов, и куропаток, а нонче что-то не видать . . .

Проезжаем большим селом с белоснежными, яркосверкающими церквами и рядом высоких ветряных мельниц, мерно кружащих свои громадные крылья. Группы парней и девушек в праздничных рубахах и сарафанах расступаются перед нашей тройкой и вежливо кланяются нам. Из высоких, хорошо построенных тесовых домов выглядывают добродушные крестьянские бороды и веселые детские лица.

— Видно, здесь богатый народ, — говорю я ямщику.

— У, богачи были, государственные, более двух тысяч десятин снимали. А нонче сильно пообеднели, не та уж линия пошла.

Опять это сопоставление между прекрасным «прежде» и печальным «нонче»! С кем ни поговоришь и о чем ни поговоришь, всегда это сопоставление. Выпахавшаяся земля, обмельчавшие реки, исчезающие рыба и дичь, ослабевающее и нищающее население . . . И все это, думал я, еще в диком крае, который только еще собирается жить культурной жизнью, в глубь которого еще только начинают пробиваться первые лучи знания.

Поздно вечером приехали мы к месту назначения. В нашем селе жили не государственные, а барские крестьяне, а потому никаких следов «богачества» заметно не было.

Больных много. И сразу пришлось приняться за работу. Страшна была не столько холера, сколько общая болезненность населения.

В избу, где я остановился, ввалилась куча баб с больными детьми на руках. Сифилис, английская болезнь, собачья старость, диспепсия, золотуха и т. д. Ручки и ножки, как плетки; вздутые животики; помертвевшие позеленевшие личики; жалобный писк. И у матерей лица нездоровые, усталые, замученные. Многие из них только и ждут, чтобы милосердный господь поскорее прибрал к себе больных ребят.

Иные, приходя к доктору, может быть, надеются, что он в этом отношении подсобит милосердному господу богу.

За время своей деревенской практики я много раз сталкивался с откровенным желанием крестьян и крестьянок поскорее избавиться от больных детей и стариков.

Как-то раз я возился около одной холерной больной. В тесной избе было много народу, и я попросил всех выйти на улицу. Все послушались; осталась только одна старушка, вероятно, соседка, с маленькой, хорошенькой девочкой. Эту девочку она старалась поставить как можно ближе к больной, которую беспрерывно рвало.

— Что ты делаешь, бабушка? Ведь девчонка-то заразиться может, — заметил я.

— Да и дай-то господи! Затем-то я и пришла, голубчик. Авось-либо господь бог смилостивится, приберет к себе Машутку-то.

— Что ты, старуха, не греши!

— Да ведь у меня их, родимый ты мой, целых восьмеро сиротинок на руках осталось. Ни батьки, ни матки; так как же я их всех прокормлю-то, как усмотрю за ними за всеми? Другие-то хоть здоровые, а у Машутки-то вот ничего внутри не держится, все на пол валит, а изба-то у нас маленькая — духу не перевести.

Бедная Машутка, видимо, не понимала, о чем идет речь, и боязливо прижималась к бабушкиной юбке; а та нежно гладила ее белокурые волосики своей костлявой рукой.

На другой день по приезде я пошел вместе с фельдшером и санитаром осматривать больных. Их было очень много. Приходилось заходить в каждый дом. Но в большинстве случаев я находил совсем не холеру, а тиф, цынгу и, главным образом, малярию. Среди холерных запомнился караульщик, брошенный на грязный навозный пол сеней в одной из изб.

— Зачем же вы больного бросили, как собаку? — сказал я раздраженно. — Внесите его в избу.

— Родимый! — раздался около меня жалобный бабий голос, — не делай ты этого, не вели его вносить к нам в избу; пожалей нас, горемычных! Я сама только что на ноги поднялась после эфтой же болести; еле ноги волочу... Ребятишек у меня пять душ, избенка наша маленькая, самим сунуться некуда, а у него из всех концов так и несет.

— Да что же он — чужой, что ли?

— Чужой, родимый, совсем чужой, он здесь всем чужой; он — караульщик; по очереди у всех ночует; у нас его схватило, и никто его теперича к себе от нас не берет... Мы что же? Мы терпим, не гоним, стараемся округ него, все как следует даем; сегодня он вон второй ковшик квасу выпил... Но только пожалей ты нас, не вели его в избу нести; невмочь это нам, право, невмочь; взгляни, родимый, сам духу ведь не переведешь...

— Ну, молчи... Дай-ка лучше свету...

Баба принесла лучину, и я наклонился, чтобы осмотреть несчастного, но тотчас невольно отвернулся: передо мной лежало какое-то чудовище, какой-то Квазимодо. Горб, посиневшее бесформенное лицо, громадное бельмо на одном глазу, изуродованный кусок красного мяса вместо руки; грязные лохмотья, пропитанные испражнениями; отвратительный запах...

Я, однако, пересилил себя и начал рассматривать больного.

— Ему бы хоть клизму из таннина поставить, — обратился я полувопросительно к своему «коллеге», военному фельдшеру Шеншинову, который, несмотря на мои протесты, упорно называл меня «вашим благородием».

— Не иначе как, ваше благородие, что клизму, а только он и так помирает, ваше благородие; вон уж и пульса никакого не замечается, — возразил с философским спокойствием Шеншинов.

— Не трожь, — просипел караульщик, — не трожь меня, брат, прошу я тебя, брат... Помру, и так помру... Кваску бы только маненько, кваску.

Баба наклонилась к нему с ковшиком; я постоял несколько мгновений в раздумье, потом махнул рукой и молча вышел на улицу вместе с Шеншиновым и санитаром Петром Исааковичем.

— Что это, ваше благородие, там вон на углу никак народ собирается, — не нас ли поджидают? — заметил Шеншинов, указывая на толпу мужиков, стоявших в конце улицы. — Не лучше ли нам, ваше благородие, переулочком пройти, оно и ближе будет.

— Вот еще вздор, — возразил я; — с чего ты выдумал, что нас ожидают? Вероятно, идут землю делить или что-нибудь в этом роде... какое им до нас дело? Пойдем прямо!

Но Шеншинов оказался прав. Мужики ждали нас и заступили нам дорогу.

Мы подошли ближе...

Со стороны картина, должно быть, выходила оригинальная...

Мы втроем в длинных белых халатах, с клизмами и лекарствами в руках, стоим, как три каких-нибудь мага, а перед нами — серая толпа мужиков... Стоим и молчим.

Я с любопытством рассматриваю толпу. Большинство — в шапках; только несколько стариков обнажили свои серебристые головы. Иные, кто помоложе, лезут вперед, другие, кто постарше, напротив, сторонятся и, видимо, чувствуют себя не совсем ловко: покачивают головами, разводят руками, как бы говоря: «пустое мы, ребята, затеяли, да мир, — против мира нельзя».

— Что же, у вас дело какое, что ли, до меня? — прервал я молчание.

— Совершенно верно понимать изволите, господин дохтор, ваше благородие... не знаем уж, как вас называть полагается... — заговорил стоявший впереди всех вертлявый, чернявый молодой мужик с живыми, хитрыми глазами.

— Что же вам от меня надо?

— Мы собственно на тот счет, чтоб сумлений никаких не было, значит, и хочим просить вас, не соизволите ли сказать, откуда вы пожаловать соизволили?

— Из Петербурга.

— Так-с, из самого, значит, Санкт-Питербурга. Точно так и от Петра Исааковича слыхали. А не изволили ли вы в Санкт-Питербурге знавать князя Владимира Андреевича Оболенского?

Случайно я знал Оболенского, знал и его товарища, Всеволода Дмитриевича Протопопова.

Оболенский и Протопопов в 1891 году во время голода как раз в этой местности устраивали народные столовые и вообще оказывали помощь голодающим. Они оставили о себе очень хорошую память, и вся толпа колыхнулась в мою сторону, когда я сказал, что хорошо их знаю.

Но все же полное доверие мне было оказано лишь после того, когда я удовлетворительно ответил на целый ряд вопросов-ловушек о петербургском адресе Протопопова, о его наружности и т. д.

В моей тогдашней холерной практике было не мало несчастных смертных случаев. Они больно ударяли по моей психике: пилила мысль: все ли я сделал, что нужно, чтоб отстоять больного от смерти, не допустил ли я какой-нибудь ошибки.

Бодрость, необходимая для усиленной работы иногда в течение целых суток, могла бы пропасть, если б ее не поддерживали случаи счастливые.

Из таких случаев особенно памятно мне выздоровление десятилетней девочки Аришки, которую сразу схватила и скрутила молниеносная холера.

Вызванный взволнованным отцом, у которого Аришка была единственным ребенком, я немедленно отправился к больной, но застал ее уже посиневшей, без пульса.

Час тому назад Ариша еще весело бегала по ярмарке с соленым огурцом в руке, а теперь она лежала полумертвой. Около нее стояло несколько баб, и когда я стал ее осматривать, на меня со всех сторон посыпалось: «Не трожь; вишь, помирает; чаво мучить-то? Бог захочет — и так выздоровит. Чаво копаться, уж и духу в ней нет» и т. д.

Аришка, казалось, лежала без сознания; но в ту минуту, когда я приложил к груди стетоскоп, чтобы выслушать сердце, она зашевелилась и заговорила сиплым голосом:

— Не трожь, уйди! Не режь меня, пожалей меня! .. Ой, батюшки, он уж резать меня собирается!

Удивительно: пульса почти нет, сердце еле бьется, а полное сознание и даже ясное воспоминание рассказов о «докторах-живодерах».

Дело было плохо, но я решился энергично воевать с холерой и употребить все усилия, чтоб отстоять бедную Аришку. Одному в таких случаях справляться трудно, на родных рассчитывать нельзя: от недоверия ли к медицине или от полной непривычки разумно ухаживать за тяжело больными, не только мужики, но и бабы в большинстве случаев поразительно вяло, неловко помогают в решительные минуты при лечении трудных больных: еле ноги волочат, все у них из рук валится, ничего с первого разу не поймут.

Я послал за работавшей в этой деревне фельдшерицей Александровой, и мы принялись вместе энергично бороться с холерой: оттирания, согревание, возбуждающие средства и, главное, горячие клизмы с таннином. Жизнь поддерживалась, на минуту появлялся пульс, на минуту становилось лучше, но настоящего, продолжительного успеха не замечалось . . . Родные же начали ворчать и все усиленнее и усиленнее просить, чтобы мы оставили Аришку спокойно умереть. Бабы, я уверен, просто выгнали бы нас, но их «сдерживал» хозяин. Умный мужик видел, что мы действительно стараемся, что попусту мы не стали бы возиться больше трех часов. Однако в конце концов и его взяло «сумление»: он мрачно замолчал. Это придало бабам энергии.

— Душу всю из нее машинками выкачали, — заворчала одна старуха, — дать ей напиться квасу.

— Квасу! — просипела Аришка.

Старуха бросилась к ней с ковшиком.

Я терял энергию, уставал от ворчанья окружающих.

— Не бросить ли? — обратился я к Александровой.

— Ни за что! — заметила та, — попробуем поставить еще клизму.

— Попробуем.

Мы стали подготовлять клизму из горячей воды, таннина, валерьяна и мускуса. Бабы просто заорали от негодования, мужик угрюмо заметил: «Да уж не надо бы, никак, больше».

— В последний раз, — сказал я, — даем слово, как поставим эту машинку, так сейчас и уедем. А бог даст, она поможет: в ней сильные лекарства.

Все промолчали в полунадежде, в полусомнении.

Клизма была поставлена, пульс тотчас усилился, но мы хотели сделать, как обещали: мы оставили кой-каких лекарств, укутали Аришу и вышли из избы.

Угрюмо проводили нас хозяева, угрюмо встретила нас темная ночь. Ни зги не видно; дождь, как из ведра, ветер злобно бушует. С трудом забрались мы в давно ожидавший нас тарантас и поехали домой молча, с тяжелым сердцем.

Не без страха входил я на другой день в аришину избу. В избе было тихо, и в первую минуту она показалась мне совершенно пустой. Я взглянул на широкую досчатую кровать, где ночью происходила трагическая борьба между жизнью и смертью. Кровать была завешена ситцевым пологом. Я откинул его и с величайшей радостью увидел Аришу спокойно спящей.

Она была худа, под глазами широкие, темные круги, скулы выдаются, но нет зловещей синеватой окраски, и, главное, ровное, спокойное дыхание. Она была спасена...

В это время в избу вошла мать Ариши. Она рассказала, что последняя машинка держалась у Аришки больше получаса, что ей с каждой минутой становилось лучше и что, выпустив воду, она тотчас заснула крепким сном и спит до сих пор. Пришли и другие бабы, пришел и хозяин. Все были со мной очень приветливы, все приписывали выздоровление нашему лечению и особенно последней машинке, поставленной так торжественно. Хорошо, что так! А то ведь они могли рассуждать иначе, и выздоровление Аришки приписывать тому, что мы ушли.

Я объяснил родителям, что хотя главная опасность миновала, но все же надо держать ухо востро, и просил их кормить Аришу лишь тем, что я ей буду присылать. Приказания мои исполнялись в точности, тем более, что главным моим сторонником сделалась сама Ариша. Поправка пошла быстро, и дней через десять я имел действительное счастье пить вместе с Аришей чай и любоваться ее румяными щеками. Она играла роль хозяйки и всячески угощала и ублажала меня.

— А помнишь, Ариша, как ты меня боялась, думала, что я пришел тебя резать?

Ариша сконфузилась.

— Да ишь ведь эфто все бабы баяли: режут да режут. Пускай-ка теперича попробуют.

И она сделала очень сердитую рожицу. Потом посмотрела на меня исподлобья, прыгнула ко мне на колени и обвила мою шею своей худенькой, смуглой ручонкой.

С воспоминанием об Аришке у меня тесно связано воспоминание о другой очень дорогой мне пациентке — семнадцатилетней девушке Анюте.

В ту памятную ночь, когда мы с Александровой возились около умирающей Ариши, ко мне подошла какая-то баба и стала просить, чтоб я зашел в одну из соседних изб взглянуть на ее племянницу,

которая болеет уже более трех недель и эту ночь, кажись, совсем собралась помирать. Я согласился. Больная — молоденькая девушка — действительно выглядела очень плохо. Исхудалое восковое лицо, закрытые глаза, стиснутые челюсти. Около постели стояли три бабы и причитали:

— Помирает наша красавица-то... Как мертвенькая лежит, горемычная! Анюта-то наша желанная, почто покидаешь ты нас? — и т. д.

Я попросил их помолчать и начал расспрашивать о ходе болезни и осматривать больную. Насколько я мог судить, у нее был брюшной тиф, и положение ее было бы не слишком скверно, если бы не причитанья баб. Они ее прямо-таки загипнотизировали, и очень вероятно, что в конце концов зажалели бы до смерти. Я уверен, что слабых больных можно добить сожалениями и уверениями в их безнадежном состоянии.

Необходимо было освободить Анюту от бабьего гипноза и, напротив, внушить ей, что вскоре она совершенно выздоровеет.

— Как вам не совестно, — сказал я громким голосом, — глупости болтать! Совсем она не опасно больна: смотрите, через неделю совсем здорова будет.

Бабы притихли. Анюта пошевелилась, неподвижное лицо ее слегка дрогнуло. Я положил ей на голову руку и проговорил решительным, уверенным тоном:

— Ты наверно выздоровеешь, через неделю встанешь. А теперь открой глаза и смотри на меня весело!

Анюта повиновалась: она открыла глаза, и исхудалое лицо ее осветилось тихой улыбкой.

С этого вечера я каждый день заходил к Анюте, продолжая свое психическое лечение. Оно ли подействовало, или правильная диэта, которую я ввел, но через неделю Анюта действительно встала и не только улыбалась, но и весело смеялась. Привязалась она ко мне так же хорошо, так же по-детски, как и Ариша.

В то время как в окружающих деревнях мое лечение шло довольно удачно, в самом Утине, около самого дома, где я жил, мне пришлось пережить одну очень тяжелую неудачу.

Двора через два от нас жил умный мужик Николай Давыдович. Человек он был многосемейный, от первой жены у него было шестеро ребят да еще от второй, молодой и крепкой женщины, трое или четверо. Такое количество детей, и притом по большей части малышей, не мешало Николаю Давыдовичу отлично вести свое хозяйство, тем более, что жена его, Настасья, была дельная, хорошая хозяйка...

Все шло у них, как по маслу, даже неурожай не расшатал хозяйства, — как вдруг на их дом накинулась холера и почти сразу схватила Настасью, старуху-свекровь и девочку лет двенадцати. Николай Давыдович тотчас обратился за помощью ко мне, неуклонно исполнял все предписания и сам превратился в усердную сиделку около своей Настеньки...

Когда бы я ни заходил к больной, днем ли, ночью ли, — он всегда хлопотал около нее, и я не знал ни одной бабы, которая умела бы так ловко ухаживать за больной, как он. Понятно, и я старался: меня трогала молчаливая мольба, написанная на его осунувшемся лице.

Понос и рвоту удалось остановить, судороги прекратились, но больная не поправлялась: полузабытье, тяжелое дыханье, жжение под ложечкой и, наконец, гангренозные пятна по всему телу...

Восемь дней мучилась Настасья и, наконец, умерла, а старуха и девочка, на которых почти не обращали внимания, поправились.

Сильно загоревал Николай Давыдович; два дня пил горькую, ходил с тупым, измятым лицом, но потом сразу взял себя в руки, принялся за работу и дней через пять с грустью говорил о необходимости в третий раз жениться.

— Что тут поделаешь? Хоть бы одна девка была на возрасте! Видно, опять свататься надо!

И в этих словах говорило не подлое забвение любимого человека, а своеобразно-благородное чувство отцовского долга.

На меня Николай Давыдович не сердился.

— Что же, — божья, видно, воля. Вы от души старались. Спасибо вам.

Но некоторые бабы рассуждали иначе; по их мнению, «горемычную Настасьюшку» лекарствами запотчевали, машинками замучили. Особенно злобно и ядовито болтала ближайшая наша соседка — здоровая, смуглая баба со злым выражением лица. Муж ее, Терентий Иванович, человек, кажется, хороший и всеми уважаемый, был у нее под башмаком и потому медицины не признавал, и чтоб не заболеть холерой, заворожил себя у какого-то местного знахаря... Но ворожба не помогла, и чуть ли не тотчас по приезде от знахаря он захворал сильнейшей холерой. Баба бросилась за ворожеей Косточкой, они вместе стали лечить Терентия Ивановича своими средствами; но ему становилось все хуже, наступил асфиктический период со всеми его страшными признаками. Забыла тут баба всю свою ненависть к докторам, с воем ворвалась к нам, схватила меня за рукав и потащила к себе в избу...

Я пришел к Терентию Ивановичу и сделал все что мог; но было уже слишком поздно: ничто не помогло, и он умер.

Перед смертью беднягу, кажется, мучило воспоминание о ворожбе.

— Оставьте, оставьте меня умереть, — шептал он сиплым голосом — богу грешен, господь к себе зовет...

Смерть Терентия Ивановича усилила толки, вызванные уже смертью Настасьи. Одна наша сторонница, девушка, которую мы вылечили от холеры, рассказала моей сестре милосердия, что бабы бают, «будто дохтор всыпал в машинку, которую ставил Терентию Ивановичу, целую горсть ядовитого порошка». Кроме того, до меня дошел бабий рассказ о том, как я из Терентия Ивановича душу машинкой выгонял.

— Как эфто, значит, вошел дохтор с машинкой, — Терентий Иванович весь вздулся и посинел, заметался горемычный . . . Душонка-то у него наружу запросилась, потому видит, что плохо ей приходится . . . А как вставили ему машинку, тут встряхнуло его в последний раз, да и дух вон.

Таких слухов нельзя было оставить без внимания, и я стал допытываться, где первый источник их. Наиболее вероятным первым источником оказывалась какая-то таинственная ворожея «Косточка».

— Что это у вас за Косточка? — спросил я своего хозяина.

— О, это штука тонкая . . . На все руки мастер: и детей повивает, и лечит, и ворожит . . . Смотрите, как бы и вас не заворожила, — отвечал тот.

Наверное я, разумеется, не знал, виновата ли Косточка или нет, но все же решил поговорить с нею серьезно.

На мое простое приглашение Косточка не явилась, и пришлось послать за ней сотского, который ее тотчас привел ко мне на квартиру.

Появление ворожеи произвело у нас сенсацию. Сестра милосердия просила не говорить с Косточкой в ее комнате; хозяин просил «припечь» ее хорошенько; бабы и девчонки побаивались и примолкли, я сам несколько волновался, как бы перед выходом первый раз на сцену. Но Косточка, видимо, была совершенно спокойна.

Просто и не без достоинства вошла она в комнату. Не успел я еще раскрыть рот, как она уже заговорила:

— Зачем звать изволили? Не младенца ли христова у кого здесь принимать?

Я молчал, внимательно рассматривал вошедшую: бабенка на вид лет тридцати пяти (на деле ей, говорят, было чуть ли не пятьдесят), правильное овальное лицо, умные серые глаза, в которых светится затаенная насмешка.

— Что же ты, тетка, лечением, что ли, здесь занимаешься? — заговорил, наконец, я.

— Что вы, господь с вами! Каким же это лечением? Разве мы дохтора какие? Вот, коли младенца христова где принять, так мы эфто завсегда готовы, и запрета в эфтом никакого нет.

— Да ты на младенцев-то не сворачивай! Ведь у Терентия Ивановича небось никакого младенца нет, а ты была там и лекарство давала.

— Да кто это вам только сказал? Да зачем я пойду? Агафья-то, испужавшись, прибегала ко мне, а я ей и говорю: беги скорее к дохтору, он ученый, а наше дело темное, только из жалости где поможешь. Вот ездили в город, так я купила маслица да мятных капель, да спирта нашатырного. У нас у самих эфтакая болесть была; помажешь маленько, полегчает, никто, благодаренье господу, не помер.

— Меня, тетка, этими разговорами не проведешь. Мажь, сколько хочешь, а вздору не болтай. Как ты смела говорить, что я Терентию

Ивановичу в машинку ядовитый порошок насыпал, а? Знаешь, что за такое вранье худо бывает?

Косточка только руками всплеснула.

— Владыко ты мой небесный! Ишь ведь какую напраслину на безвинного человека взведут! Да разрази меня на эфтом месте, да чтоб ни мне, ни детям моим царствия небесного не видать, если я что такое и в мыслях-то своих имела. Да сами вы рассудите, почем я знать могу, что вы в машинку сыплете? Вы, ведь, дохтора, ученые. Всыпали, что по науке вашей полагается, а что потом Терентий Иванович помер, так на то, видно, воля господняя. Да разрази меня господь! Да позовите вы, кто сказал это! Да я плюну ему в глаза его паскудные. Верно Дуняшка людей морочить вздумала. Позовите вы ее, пущай-ка она . . .

— Ну, тетка, помолчи. Звать я никого не буду. А только вот тебе весь мой сказ: если еще будут болтать всякий вздор и при этом станут о тебе упоминать, так я отправлю тебя в Самару. Там уж разберут, виновата ты или нет.

— Что же, я готова: коли я безвинна, так чаво же мне бояться? А коли за правду страдания принять, так я по вере своей молоканской . . .

— До веры твоей мне дела нет, а только для твоей же пользы советую заворожить языки у здешних баб, чтоб они их за зубами держали . . .

— Нечего мне ворожить. Зовите хоть все село, — никто против меня не покажет.

В эту минуту дверь, уже давно приотворившаяся, сразу распахнулась, и перед лицом Косточки вырос громадный мохнатый кулак моего хозяина.

— Врешь ты, чортова баба, что никто не покажет: я покажу! Что ты Гордеевым говорила? А? Не говорила, чтоб к дохторам не ходили лечиться, а к тебе шли, что ты всех вылечишь? Баб ты запугаешь, собачья дочь, а нас, брат, не проведешь.

— Фенагеич, Фенагеич! — раздался испуганный голос хозяйки, — что ты затеял! Да твое ли это дело, не накликай греха, ступай отсюда.

— В самом деле, Николай Фенагеич, — заметил и я, — уж оставьте меня одного с ней говорить.

— Да помилуйте, как вы говорите? С ними надо так говорить, чтоб стекла дребезжали.

— Ничего не испугаюсь, коли и стекла задребезжат, — спокойно заговорила Косточка; — потому, коли я вины за собой не знаю, так мне никого на этом свете не страшно, а если за неправду муку принять, так я по вере своей молоканской завсегда готова.

Я почти уверен, что Косточка подзадоривала баб против докторов, но все же она мне нравилась. В ней чувствовалась смелость, ловкость, энергия и, главное, удивительное уменье владеть собой. Она — деятельный и умный элемент среди этого апатичного, заснувшего

народа; она — сила, хотя и неправильно направленная. Приятнее видеть даже худо направленную силу, чем бессилие и апатию...

Повторив спокойно и решительно свой совет заставить баб прикусить языки, я отпустил Косточку домой.

Как ни спокойно-насмешливо смотрели ее глаза, как ни гордо-обиженно звучал ее голос, когда она, уходя, жалела, что понапрасну только беспокоят невинных людей, я все же хорошо видел, что разговор останется не без должных результатов.

Действительно, с тех пор до меня не долетало ни одного нелепого слуха, а сама Косточка как будто совсем исчезла.

Николай Фенагеич, у которого я жил и столовался во время своего пребывания в Утине, хорошо запомнился мне, как одна из самых характерных фигур старой дореволюционной деревни. Происходил он из дворян, хотя мелких, но все же столбовых, и в нем заметна была известная породистость. Богатырский рост, приятная полнота, мохнатые кулаки, величиною с голову годовалого ребенка, седая голова, крепко посаженная на бычачью шею, боярская роскошная борода и два заплывших, но тем не менее живых глаза, из которых один усиленно подмигивал, когда Николай Фенагеич волновался или задумывал какую-нибудь махинацию.

Дома, и зимой и летом, он ходил в полинявшей шерстяной рубахе, забранной в штаны, и в серых валенках. Движения живы и размашисты, голос — «что твоя труба», и в доме попеременно грохочут то его ругательства, то смех, от которого буквально стекла дрожат.

Уезжая «по делишкам», Николай Фенагеич значительно изменялся. Он сжимался и уплотнялся, с помощью жены натягивал на себя купеческий сюртук с побелевшими швами, на голову одевал плоскодонную черную поярковую шляпу с прямыми полями и плотно усаживался в маленькую тележку. В это время он был похож на крепкий гриб-боровик, которого никакой червь не берет. Держал он лавочку и постоялый двор, скупал, перепродавал и устраивал разные маленькие «махинации» и «делишки».

Все шло у него, как по маслу, и он быстро сбивал себе небольшой капиталец. Сбивал он капиталец много раз, но такова уж его особенность — как только доходил до известной «точки», тысяч, этак, до пятнадцати, так и сбивался. Терял всю свою ловкость и осторожность, задумывал что-нибудь смелое, «генеальное», — и через несколько месяцев от «сбитого» капитальца оставался один только выигрышный билет.

С этим билетом Николай Фенагеич ни за что ни расставался; лучше последнюю рубашку спустит: на этом билете было основано столько широких надежд и мечтаний.

Николай Фенагеич был вообще большой мечтатель, натура у него была положительно поэтическая... Ему в сущности ненавистны были все эти мелкие делишки, которые он так ловко вел, его мечтой было

завладеть «большим радиусом» и стать центром всего самарского края.

— Эх, только бы выиграть двести тысяч — тут бы я показал, что из нашего края сделать можно. Я бы здесь всю жизнь поднял, о голоде и думать забыли бы. Первым делом я устроил бы мыловаренный завод — место здесь самое подходящее. К мыловаренному заводу я бы годика через два присоединил кожевенный и химический, и стала бы тут рука руку мыть.

Левый глаз начинает усиленно подмигивать, правая рука теребит боярскую бороду, и потоком льются речи о заводах, о стадах тонкорунных овец, о разбогатевших крестьянах, величающих своего благодетеля «Николай Фенагеич».

— Все горе, — говорил он мне, — что деньги у нас попадают не туда, куда следует. Какая польза от таких наших миллионеров, как Аржанов, скупающий землю во всей округе. Разве он умеет повертывать настоящим образом своим радиусом? Сосет, сосет, а в жизнь ничего не вливает. Много он крови мужицкой насосался, а ни одного настоящего завода не построил.

Критикует Николай Фенагеич ловко, но никак не может понять, почему ему самому не удается свою пятнадцатитысячную точку перескочить.

— Вся штука, — говорит он иногда, — в том, что больно не податлив я: дворянская у меня башка, гнуться не умеет . . .

Штука, конечно, не в этом, но гнуться Николай Фенагеич, действительно, не любил. Он состоял даже в «оппозиции» и пописывал сатирические стишки на разных провинциальных начальствующих лиц. Читая стишки своим «гостям», он сам разражался громовым смехом.

— Ах, горе мое, что я дальше уездного училища не пошел, а то бы я литератором сделался. И всех бы разделал не хуже Гоголя.

Очень картинно рассказывал Николай Феногеич, как он «щелкал» местных воротил и миллионщиков. Об одном из этих воротил, купце Аржанове, происходившем из крепостных крестьян, мне пришлось слышать много любопытного не только от Николая Феногеича, но и от крестьян, соки которых он старательно, методически высасывал, сдавая в аренду свои земли на ростовщических условиях.

Забирал и обирал крестьян он при содействии своих многочисленных приказчиков.

Самого его крестьяне обычно не видали, но он представлялся им в виде высокого, сгорбленного старика с белыми густыми бровями, из-под которых смотрят хищные круглые очи, длинные жилистые руки вытянуты вперед, а скрюченные пальцы все что-то забирают и забирают . . .

Так мне его рисовал один крестьянин-бедняк.

— Да ты его видел? — спросил я.

— Видать — не видал, да уж доподлинно он таков. Все наши так бают.

Аржановым всегда было хорошо: урожай или неурожай, бедствие или благоденствие, либеральные или консервативные реформы — им все одинаково на пользу. И земли, и денег у них все прибывало да прибывало, а крестьяне все более разорялись и тощали.

У меня сохранилась копия «обязательства», которым купец первой гильдии Аржанов опутывал «своих» крестьян. В этом обязательстве чувствовалось что-то более трагическое, чем в холерной смерти.

Тут и неустойки, тут и право забирать у мужика весь обмолоченный им хлеб в случае неуплаты арендных денег полностью, тут и круговая порука.

Голодают жена и дети, коняга еле дышит, сельские власти нажимают с требованием податей, а хлеб, выросший из мужицкого и конягиного пота, свозится в виде «обеспечения» в обширные купеческие амбары. Мужик бьется, чтобы достать денег и освободить хлеб, но это ему не всегда удается, и тогда взрощенный им хлеб переходит в полную собственность миллионщика. Мало того, продается мужицкое имущество, продается его коняга для уплаты неустойки. А если у мужика нехватает имущества, то круговая порука тянет к купцу жалкое достояние других пахарей.

Так нередко бывало сорок лет тому назад в черноземном приволжском крае. Наблюдая это новое крепостное право, я уже тогда хорошо понимал, что уничтожить его может только конфискация всех частновладельческих земель.

Я уже упоминал о моем помощнике и товарище по борьбе с холерой военном фельдшере Шеншинове. Он заслуживает обстоятельной характеристики.

Начал он свою карьеру простым рядовым, участвовал в боях под Плевной, но турецкая пуля ни разу его не задела. Русская солдатская среда славилась своим незлобием и благодушием, но и в ней благодушная «простота» Шеншинова выделялась и обращала на себя внимание. Она всем нравилась и на всех, и на товарищей, и на начальников действовала как-то успокоительно, разгоняя и гнев и тоску. Этой «простоте» Шеншинов был обязан тем, что ему неизменно «бабушка ворожила». Неловкий, малограмотный, он всюду хорошо устраивался, и все выдавали ему хорошие аттестаты. Стоило взглянуть на его мешковатую фигуру, одетую в почерневшую от грязи кумачовую рубаху и потертый порыжевший пиджак, стоило вглядеться в его точно закопченое, добродушно улыбающееся лицо, обросшее всклокоченною рыжеватою бородой, чтобы понять, что самостоятельной деятельности от него ожидать нельзя, что может он наделать при лечении больных немало глупостей, и тем не менее я взял его в свой отряд, больно уж и мне понравилась его простота.

С первых же слов мы побратались и после двух-трех неудачных попыток говорить на «вы» окончательно перешли на дружеское «ты». «Ты, ваше благородие», «ты, Шеншинов». И наши лица при каждом обращении друг к другу чему-то улыбались.

Разногласий между нами не могло существовать уже по одному тому, что в лексиконе Шеншинова слова «нет» не существовало. На все, что бы вы ему ни говорили, у него всегда был один и тот же неизбежный ответ: «не иначе как».

— Что, Шеншинов, старик-то наш никак помрет?

— Не иначе как, ваше благородие, что помрет!

— А то, пожалуй поправится?

— Да не иначе как, ваше благородие, что поправится.

Та же удивительная неизменность господствовала у него и при диагнозах, причем его особенною любовью почему-то пользовалось «воспаление селезенки».

— Был у Прохорова? Ну, что ты нашел у него?

— Да не иначе как, ваше благородие, что воспаление селезенки.

— Ну, а у Семенова что?

— Да не иначе как, ваше благородие, что тоже воспаление селезенки.

Такая, конечно, не всегда приятная односторонность взгляда сторицей искупалась тем старанием, с каким Шеншинов растирал холерных больных горчичным спиртом.

Здесь он был решительно неутомим. Трет, бывало, до того, что еле дышит и весь потом обливается. Мужики и бабы из избы бегут, так щиплет глаза проклятый горчичный спирт, а он себе подливает да подливает его на ладонь.

Честен Шеншинов был безусловно и пил лишь когда ему подносили, тогда как типичные «ловкие» военные фельдшера, с которыми мне тоже приходилось иметь дело, постоянно требовали коньяку «для поддержания сил поправляющихся больных» и, как мне пришлось убедиться, употребляли его почти исключительно «для охраны медицинского персонала от заразы».

Не только неутомимость и честность, в Шеншинове мне было дорого и его невольное уменье разогнать во мне мрачные думы. Придешь, бывало, вечером усталый домой: на сердце тяжело, в голове тяжелые картины страданий и смерти. Но является на стол шипящий самовар, вслед за ним улыбающаяся физиономия Шеншинова, и мое мрачное настроение быстро разлетается.

Выпив молча стакана четыре чая, Шеншинов пытается что-нибудь рассказать. Дальше попытки он никогда не идет, но эти «попытки», это упорное, но не удающееся стремление выказать свои медицинские знания до того бывали комичны, что все присутствовавшие начиная с меня и кончая хозяйским работником, разражались громким смехом.

Кроме Шеншинова в мой отряд входили в качестве «милосердных сестер» две дочери самарского портного. Меньшей было всего пятнадцать лет. Робела она и конфузилась при каждом слове, с которым я к ней обращался, была страшно молчалива, но работала превосходно: ловко, неутомимо, самоотверженно. Дело так и спорилось в ее маленьких ручках. Я поместил ее одну на пункт в отдаленную деревню и лишь изредка приезжал проверять ее лечение. Все всегда

было в порядке, а крестьяне были настолько ею довольны, что собирались даже подать ей благодарственный адрес.

«Малюсенькая такая, а вишь, какая прыткая! — говорили они: — и откудова у ней силы только берутся? Сразу в десять мест поспевает!»

Мне, к сожалению, при всех стараниях, не удалось хорошенько разузнать, что побудило этого милого ребенка итти на холеру? Но, повидимому, с одной стороны, ее детское сердце затронули рассказы о страданиях холерных больных, с другой стороны — ей просто захотелось вырваться из окружавшей ее мертвящей скуки.

Старшая сестра, девушка лет восемнадцати, и по наружности, и по манере держать себя была полной противоположностью младшей. Младшая — сама скромность, а старшая — с завитками на лбу, щурила глаза, жеманно смеялась и вообще кокетничала. Пошла она на холеру, как сама сознавалась, уступая просьбам сестры, которую одну не отпускали, и смотрела на поездку, как на увеселительную прогулку. От работы она вначале сильно отлынивала, занимаясь «девичьим разговором», т. е. семечками и гаданием на какого-то трефового короля. Мне пришлось поговорить с ней достаточно серьезно.

После этого она хотя и не показывала самоотвержения, но работала добросовестно.

Лучшими моими товарищами и друзьями во время холерной практики были две вольные «милосердные сестры»: Александрова и Юрьева. Они работали в деревне Марьевке, в двух верстах от Утина, моей штаб-квартиры.

Еще до первой встречи с ними я наслышался рассказов о совершаемых ими чудесах — ночей не спят, от больных не отходят, бедных кормят, чаем поят, болесть совсем прогнали и т. д.

— Где у вас тут сестры живут? — спросил я у одного из крестьян, въезжая в околицу Марьевки.

— Да вот одна и сама идет.

К нам приближалась небольшая беленькая фигура. Я выскочил из тарантаса и пошел ей навстречу. Фигура оказалась молоденькой невысокой полной девушкой, одетой в белый больничный халат. Здоровый, загорелый румянец, ясные, серые глаза, легкий, темный пушок над приподнятой верхней губой. Одним словом, одно из типичных и симпатичных русских женских лиц.

— Поссе.

— Александрова.

Мы пожали друг другу руки.

— Лечить приехали? Вот и прекрасно! Поможете мне; у меня сегодня масса дела, я одна, моя товарка уехала в город за лекарствами. Идемте к больным!

Отправились прежде всего к поправлявшимся. Все с необыкновенною радостью встречали свою «сестрицу», на меня же косились, а в одной избе даже очень выразительно показали свое недоверие.

В избе было двое больных: женщина с ломотой в ногах и мужик средних лет, у которого холера уже проходила, но появлялись еще легкие судороги.

Александрова принялась растирать женщину, а я приблизился к мужику, намереваясь растереть его. Но мужик заворчал и потребовал сестрицу.

— Подожди, дядя, я сейчас кончу Анну растирать, а тебя пока разотрет доктор.

— Какой еще тут дохтур? — послышался с печки старческий голос, и оттуда стала слезать изможженная фигура седого старика в белой рубахе и холщовых штанах. Из-под густых, седых бровей злобный взгляд.

— Чаво шляетесь? Народ пришли морить? И без вас гробов нехватает.

— Полно, дед: до седых волос дожил, а такую нелепицу несешь! — проговорила Александрова, гневно сверкнув на деда своими бестящими глазами. — Кому охота вас морить? Зачем вас морить?

Злоба моментально слетела с лица старика, сгладились нахмуренные брови, в глазах сверкнули слезы. Он вдруг рухнул сестре в ноги.

— Прости ты, ненаглядная, за речь мою глупую; ведь знаю я, что андел ты небесный . . . Покоя не знаешь, ходя за нами, глупыми . . . Мать родная не станет за родным детищем так ходить, как ты за нами, и старыми, и малыми.

Но через несколько минут припадок благодарности снова сменился припадком недоверия. На лицо старика снова набежало темное облако.

— Вот насчет их милости, — старик кивнул на меня, — все сумление берет . . . Народ-то вон бает, что невтерпеж нас кормить стало после года голодного, так поубавить порешили . . .

— Мало ли вздору бают, дед; ты не дитя малое, да и голова на плечах, — заметила Александрова.

— Да оно бы и не больно верилось, родимая, только сумление все берет, к чему это казаков вслед за дохторами по деревням водят? Коли вы на христово дело приехали, так к чему вам помощь казачья? Вон их повсюду водят, народ пужают, сколько их! А обчество деревенское кормить-поить их должно.

Казаков для острастки, действительно, проводили даже по мирным деревням, где никаких холерных беспорядков не было.

— Да я-то к вам не с казаками, а с вашей любимой сестрицей пришел.

— Так-то оно так, да все же сумление берет: уходите вы от нас, а сестрица пусть остается.

— Помолчи-ка, дед, — вдруг крикнул молодой мужик, до того молча сидевший на скамье. — Помолчи, а не то схвачу тебя за твои вихры седые да и выволоку на улицу. Вы, ваше благородие, на него внимания не обращайте, он у нас из ума выжил.

С тяжелым сердцем вышел я из избы.

— Не горюйте, — утешала меня Александрова, хотя ей, кажется,

было еще тяжелее, чем мне; — не горюйте: пойдемте-ка лучше в нашу кухню обед раздавать. Небось, уж ждут не дождутся.

Небольшая избенка была полна ребятишками и старухами, присланными с различной посудой за обедом. Кухарка вынимала из печи суп и мясо. Александрова по очереди наделяла пришедших. Каждого она знала, каждому говорила особое ласковое слово, каждому особо улыбалась.

— Кого же вы кормите? — спросил я.

— Больных, поправляющихся, сирот и вообще бедных.

Окончив с раздачей обеда, мы направились в квартиру сестер — небольшую комнатку, служившую и спальней, и столовой, и аптекой, и приемной для больных. Здесь у нас завязалась оживленная беседа. Из нее я узнал, что «сестры» приехали в Марьевку без всякой командировки, «частным образом», со значительной суммой денег, собранных среди отзывчивой части нашей молодежи. Они не только лечили, но и кормили больных. Кормили не впроголодь, а сытно и вкусно. Их необыкновенная «обходительность» быстро победила недоверчивые сердца крестьян.

Разумеется, дело не обходилось без некоторых недоразумений: состоятельные крестьяне выражали недовольство, что их «обходят» помощью, и как-то раз жена одного деревенского богатея стала даже требовать, чтоб ей давали, как и бедным, чай и сахар. В противном случае г р о з и л а «есть сырые арбузы и пить сырую воду».

Мне вспоминается характерный случай победы «обходительности» интеллигентной девушки над мужицкой темнотой и грубостью.

Как-то раз Александрова сидела вечером на пороге своей избы и беседовала с окружившими ее девушками и парнями. По дороге проходил мужик сильно навеселе и, заметив сестру, начал к ней привязываться.

— Чего приехали? Баре, а суются к нам, мужикам. Очень нужна нам ваша подмога! Взять бы вас, да помелом отсюда.

Парни и девушки накинулись на дерзкого, но Александрова остановила их и спокойно, даже ласково обратилась к ругавшемуся мужику:

— Зачем ты, дядя, обижаешь меня? Мы никому не навязываемся, мы идем только к тем, кто нас зовет. Чем же мы мешаем тебе?

— Ну да, рассказывай там, — пробормотал мужик и поплелся, пошатываясь, своей дорогой.

На другой день Александрова видит, что тот же мужик стоит в сенях около их двери, не решаясь войти.

— Что тебе надо? — спрашивает сестра.

Мужик молчит, нервно теребя свою шапку.

— Говори же, что надо?

— Окаянный я, вот что... А вы-то... желанные!..

Познакомился я и с другой сестрой, Юрьевой. Она была тоже очень симпатична и работала не менее самоотверженно, чем Александрова.

Если бы судить об этих девушках только по их работе, то можно

было бы счесть их в высшей степени похожими друг на друга. Но прислушиваясь к их дружеским спорам я понял, что они представляли два различных типа русской интеллигентной женщины.

Александрова была начитанная девушка, много думавшая, страдавшая, много увлекавшаяся идейным делом и идейными людьми и не раз уже разочаровавшаяся. Работала она дельно, но без особого увлечения. Ее постоянно мучило сомнение, полезна ли ее деятельность, не приносит ли она больше вреда, чем пользы?

— Мы кормим бедных месяц, другой, ну, а что потом? Не будет ли им еще хуже, когда они с хорошего мяса перейдут на хлеб с лебедой? Мы помогаем народу, но не развращает ли его эта подачка? Не парализует ли она его и без того пониженную самодеятельность? Мы помогаем десяткам в Марьевке, но ведь в других деревнях масса больных и сирот, остающихся без всякой помощи. Не осушаем ли мы болото ведрами, не лучше ли было бы отказаться от всей этой благотворительности и направить всю свою энергию на революционную борьбу, на подъем революционного сознания?

Сомнения, пессимизм, но не пессимизм самооправдания. Александрова продолжала работать и день, и ночь; работа не удовлетворяла ее ума, но все же часто приносила отраду ее сердцу.

— Моя работа эгоистична, — сказала она как-то мне, — я работаю для себя. Эта работа — мое лекарство от тяжелого горя... В начале лета моя сестра, фельдшерица, ухаживая за больными, заразилась и умерла от холеры. Она была моим лучшим другом, с нею я потеряла половину жизни... И что же оставалось мне делать, чтоб найти силы продолжать жизнь, как не пойти на то же дело, на котором она потеряла свою жизнь?

Насколько Александрова была пессимисткой, настолько Юрьева была оптимисткой. Она увлекалась «деревней» и своей там работой. Она удивлялась, как много хорошего, полезного можно сделать в деревне. Пессимизма Александровой она совершенно не понимала; но кто знает, не заставила ли впоследствии жизнь и ее слишком хорошо понять свою подругу?

Как-то раз ночью меня разбудил легкий стук в окно. Очнувшись, я сообразил, что, вероятно, меня зовут к больному и, вскочив с постели, быстро подбежал к окну.

В полумраке обрисовывалась чья-то темная фигура.

— Что надо?

— Да вот к дохтору... Мальчонка што-то схватило; как бы не эфта болесть...

— Постой, я сейчас оденусь и выйду... Далеко? — спросил я, выходя на улицу.

— Да версты две.

— Ты на лошади?

— На лошади-то на лошади, — засуетился мужик, — да только приехал-то я верхом.

— Ах ты, голова! Как же мы вдвоем усядемся?

— Да нам и невдомек было, что вы сами ехать к нам пожелаете. Пора-то ведь ночная . . . Совестно и просить-то было бы . . . Думали, так только, предписание какое али средство дадите . . . Уж не съездить ли мне запрячь лошадку?

Удивительно в сущности деликатен русский крестьянин по отношению к докторам и не сразу решится он тревожить их ночью: мне приходилось чуть не приказывать, чтобы в серьезных случаях за мной приезжали и ночью.

Мы отправились пешком, и обрадованный мужик, ведя лошадь под уздцы, всю дорогу старался говорить мне что-нибудь приятное или интересное. Он хвалил медицину и докторов, выражал сожаление, что многие крестьяне все еще не понимают, что наука, как и разум, — от бога, и, наконец, сделал несколько очень толковых замечаний по поводу лечения холеры, причем обнаружилось, что он внимательно прочитал и даже заучил различные письменные наставления.

В таких речах я и не заметил, как мы добрались до избы Степана Егорыча (так звали мужика, позвавшего меня).

В просторной, чистой комнате нас встретила миловидная хозяйка, видимо с нетерпением дожидавшаяся мужа. Она тотчас подвела меня к больному сынишке. У него было лихорадочное состояние и острый катарр кишечника, но о холере не могло быть и речи. Беспокоить меня ночью, пожалуй, и не было надобности, но я не претендовал: очень уж мне понравилось любовное беспокойство родителей за своего ребенка, да и вообще понравилась вся семейная атмосфера, в которой чувствовалось что-то особенное. И в обращении хозяев между собой, и в отношении их ко мне была своеобразная «интеллигентность». У жены — ни капли забитости, у мужа — ласковость и уважение к ней; на меня оба смотрели не как на «барина», а как на равного, помогающего им человека.

Я дал необходимые указания и уехал; а на другой день послал справиться о здоровьи мальчика свою «сестру».

«Сестра» вернулась еще более изумленная странною семьею, чем я.

— Знаете, — рассказывала она мне, — я их застала за чтением и толкованием Евангелия, и мне даже начали что-то толковать и разъяснять. Еле от них выбралась.

Мне захотелось поближе познакомиться со Степаном Егорычем, и в первый же свободный вечер я отправился лично навестить больного мальчика.

Дом Степана Егорыча был освещен, но в нем было совершенно тихо, в то время как у соседей шло какое-то большое празднество: слышались песни, крики, звуки гармоник и гитар, лихое постукиванье каблуками и т. п.

«Пожалуй, невпопад попал, — думал я: — верно Степан Егорыч у соседей на празднике».

Но я, напротив, попал как раз кстати.

Еще в сенях я услышал мерный мужской голос. Я остановился и прислушался. До меня долетели слова Евангелия:

«Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас; возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко».

Я осторожно отворил дверь. В переднем углу, вокруг стола, освещенного лампой, сидели три молодых мужика в чистых белых рубахах; один из них (сам Степан Егорыч) читал Евангелие, водя пальцем от слова к слову.

Три молодых женщины сидели в сторонке и, что-то работая, слушали чтение.

Услыхав скрип двери, Степан Егорыч остановился и встретил меня приветливой улыбкой.

— А я думал, что не застану вас дома, — сказал я, здороваясь: — у ваших соседей такое веселье.

— Да, это у моего отца, — спокойно ответил Степан Егорыч: — свадьбу справляют, нашу старшую сестру замуж выдают...

— Что же вы-то не пошли на свадьбу?

— Не годится нам; он — мирской, а мы — христьяне; не ходим мы на мирские свадьбы с их пьянством и всякими срамными песнями...

— Христиане? — проговорил я с недоумением; — но тут в околотке все христиане.

Степан Егорыч взглянул на меня с лукаво-снисходительной улыбкой.

— Нет, не все, Владимир Александрович, — сказал он. — Христьянин тот, кто живет, как повелел жить Христос. А какие же христьяне эти распутники, пьяницы, ругатели? Разве живут они по христову закону?

— А вы-то разве живете?

— Ах, Владимир Александрович, каждый человек слаб, и никто не должен собой бахвалиться, но одно я скажу тебе: что с тех пор, как мы познали христов закон, — стали мы другими людьми... Возьми хоть меня. Не было распутника во всем околотке хуже меня, проклятое винище так и хлестал, да и не было, кажись, смертного греха, которому я не был бы повинен; разве только человека не зарезал... А теперича вот уже три года капли в рот не брал, ругательного слова не срывалось...

— И не трудно тебе так жить?

Степан Егорыч улыбнулся, как будто услыхал какую-нибудь детскую наивность.

— Не трудно?.. Легко, хорошо, а не то, что не трудно. Не даром сам господь сказал: «Иго мое благо и бремя мое легко...» Нутро у нас теперича другое... Нет, Владимир Александрович, у кого есть э т о (он положил руку на Евангелие), тому не то, что не надо, а прямо и в мысль не придет распутничать, пьянствовать, ругаться...

Я откровенно сказал Степану Егорычу, что не верю в божествен-

ность Христа и считаю евангельские повествования о его жизни вымыслом, полным противоречий и нелепостей, и резко поставил вопрос, чем обосновывают молокане свою уверенность в подлинности и божественности Евангелия.

Степан Егорыч посмотрел на меня с печалью и сожалением, как на тяжелобольного, и сказал внятно и раздельно:

— Представь ты себе, Владимир Александрович, что ты слепой, слепой от рождения... И вот идешь ты по дороге, и мочит тебя дождик, всего смочил, холодно тебе, сыро; и вот вдруг что-то начинает тебя греть, — тепло, хорошо становится тебе, и спрашиваешь ты у зрячих, что это греет тебя так хорошо? А зрячие и говорят тебе, что это солнышко. Скажи: стал бы ты тогда верить в это солнышко и любить его? Ведь стал бы. Так и мы... Шли мы холодные, иззябшие, но как стали мы читать и понимать Евангелие христово, так стало внутри у нас и светло, и тепло, как будто засветило нам солнышко, и нет у нас сумлений, что все написанное в святом Евангелии правда, и правду эту сказал нам сам господь бог. Нутро наше говорит нам это, и не надо нам никаких иных свидетельств.

Спорить с «нутром», в особенности сектантским, невозможно, и я перевел разговор с религиозной темы на научную. Заговорили о различных астрономических явлениях. Младший брат Степана Егорыча учился в школе и «поверил» во все утверждения учителя о вращении земли, о фазах луны и т. д.; но Степан Егорыч коснел еще в невежестве и верил только своим глазам. Так, он начал утверждать, что смена дней и ночей происходит не от вращения земли вокруг своей оси, но от вращения солнца вокруг земли.

— Ну, что ты говоришь! — воскликнул я, недовольный подобным невежеством умного мужика. — Разве ты не читал книжек, где все рассказано и разъяснено?

— Читал, как не читать; да только там ничего не объяснено, ничего не доказано... Оченно бы мне хотелось потолковать с господами сочинителями этих книжек, пущай бы они мне все как следует объяснили... А то толкуют: «глаз ошибается», «так только кажется», а почему им не кажется, а взаправду все так, как они пишут, о том молчат. Вон пишут, што земля в минуту тысячу восемьсот верст пробегает, а как бы тогда птица опять попала в гнездо? Поднялась к небу, а земля уж и укатила... Не пойму я всего этого. И оченно бы мне хотелось поговорить с господами сочинителями...

Я стал было пытаться все это разъяснить, но сам видел, что выходит неладно... Я почувствовал, что самые элементарные космографические факты не продуманы мною хорошенько, а взяты так, на веру. И мне стало стыдно... Конечно, таких, как я, не мало; я знавал даже одного заграничного доктора географии, который на мой вопрос о доказательстве вращения земли вокруг своей оси что-то мял, мял, запутался и в конце концов побежал за энциклопедическим словарем. Конечно, стыдно и доктору географии, но мне от этого не легче. Сколько ненужностей пихаем мы в свою голову,

а самых основных вещей не знаем, и, несмотря на все наши дипломы, должны краснеть перед пытливым мужиком! И какая умственная лень, как мало истинного интереса к знанию! .. Сказал учитель — и шабаш; а верно или неверно — нам все равно.

Наша беседа была неожиданно прервана шумом и гамом, раздавшимися в сенях. Дверь распахнулась, и в избу ввалилась пьяная толпа, внося с собой характерный запах перегорелой водки.

Впереди всех шла, приплясывая, пожилая женщина, сильно навеселе.

— Простите уж, сватушки, — начала она, низко кланяясь и разводя руками, — простите меня, глупую, што явилась я к вам непрошенная... Не звали вы меня, не ждали, а я все же вот явилась. Что уж, гоните меня, глупую, ведьму старую, турите меня вон взашеи!

— Полно, сватья! Не гоже такие речи вести... Пришла — так садись, — милости просим, выпей чайку.

— Чайку, сватушка, все чайку! Чарочку бы лучше поднесли! Ох, сватушки, грех вам, большой грех, не спасет вас чаек-то... Грех вам, што не слушаетесь вы родителев своих. Ах, родимые мои сватушки, послушайте вы меня, бабу глупую... Смиритесь вы! Ну-ка чарочку... да гармонийку... Я и стара, а на радостях с вами в пляс пойду... Ну-ка, сватушки: «Верея ль ты верея, ты верeюшка, удержи ты меня, бабу пьяную, разуда-алую!»

И баба начала притоптывать, таща за руку Степана Егорыча.

Тот вырвал руку и серьезно остановил разыгравшуюся сватью.

— Нехорошо, негоже... Небось царица-то небесная плачет теперь о тебе.

Сватья перестала петь и пригорюнилась.

— Да вот она, матушка царица небесная, о-хо-хо... Сватушки милые, грех вам, истинно грех! ..

— Стой, сватья, — прервал бабу один из пришедших мужиков, — дай-ка мне к ним речь держать.

Все взглянули на говорившего, с важностью выступившего вперед. Это был молодой мужик-красавец, одетый в новую поддевку синего сукна. Тонкие черты лица, белокурая бородка клином, бесстыжие, масляные глаза — одним словом, один из тех, перед которыми не в силах устоять ни одна деревенская красавица.

— Да, да, пущай, пущай Андрюха их хорошенько проберет, — раздалось в толпе, — он, небось, за словом в карман не полезет.

Андрюха откашлянулся, приосанился и, выпятив грудь вперед, начал свою «речь»:

— Сваты, вот хочу я к вам речь держать. Вот вы толкуете, что живете вы по-христову, по-божьему, значит, а сами против первейшей, что ни на есть, заповеди, што господь на горе Синае приказал... Чти, сказал он, отца твоего и матерь твою и долголетен ты будешь...

— Так, истинно так, — заговорила сватья, сидевшая, пригорюнившись, у стола. — Истинно так. Вот он, господь-то бог... Без роди-

телев не прожить, сватушки, ох, не прожить, родимые. И спаситель-то наш чтил матерь свою, и все угодники святые...
— Постой, сватья, помолчи, дай мне речь до конца довести... Так-то, сваты! А вы разве чтите родителев? Разве слушаетесь их? Отец-то, небось, и просил, и грозил сраму не делать, а вы все же, как не-христи какие, к родной сестре на свадьбу не пошли. Язычники вы, а не то што христиане...
— Так их, так! Молодца́, Андрюха, молодца́. Припекай их, заворачивай им! Ироды они, истинно ироды! — ревел пьяный голос одного из мужиков.

Но «ироды», видимо, не унывали: они смотрели на Андрюху спокойно, с усмешкой.
— Не ругайтесь, не гоже так, — заговорил Степан Егорыч. — Верно ты, сват, сказал, что господь заповедал любить и слушаться родителев, но еще боле заповедал он любить и слушаться самого его. И если христов закон от нас того требует, мы можем не слушаться родителев наших, можем оставить их и возненавидеть то, што они нам велят... Так сам Христос сказал... Вот постой, я тебе эфто место сейчас сыщу. — И Степан Егорыч стал перелистывать Евангелие.
— И не ищи лучше, — раздавалось в толпе, — хошь сто годов ищи, а таковского места не найдешь. Ишь ты, чаво вздумал... Не, брат, не дождешься, чтоб эфтакое да вдруг у господа написано было.
— А вот слушайте...

И Степан Егорыч раздельно и внятно прочел известные слова Евангелия:

«Не думайте, что я пришел принести мир на землю: не мир пришел я принести, но меч: ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня».

Толпа притихла, только кто-то вполголо́са проворчал:
— Да хто е знает, так ли ен читает, да и писание-то у него заправдашнее ли? Ведь он тоже мазура.

Андрюха спустил несколько своей важности, но не потерялся.
— Ладно, сват, — заговорил он снова, — пущай по-твоему. Ты вот заповедей, што бог на горе Синае дал, знать не хошь, Христом прикрываешься: а ну-ка, поищи то место, где Христос на свадьбе в Кане Галилейской воду в вино претворил... Вон Христос-то к чужим людям на свадьбы ходил, и коли вина нехватало, так из воды вино делал, а вы, христиане, к родной сестре на свадьбу не пошли, а вина и в рот не берете; вино-то, небось, тоже господом послано...
— Да у евреев не такая свадьба была, как у вас; у них не было ни гармоник, ни срамных песен, — возражал Степан Егорыч.
— Ну, уж каковская у евреев свадьба была, нам эфтого неизвестно, — ты петель-то не мечи!
— Да мы это тебе сичас в книге покажем.

Не знаю, удалось ли бы Степану Егорычу выпутаться из затруднительного положения, если бы старый сват (отец жениха), сильно подвыпивший, не дал всему спору совершенно неожиданный оборот.

— Дать им раза́, да и вся тут недолга́! — заревел он сиплым голосом.

Добродушное выражение тотчас исчезло с лица Степана Егорыча. Глаза глядели строго. На лбу между густыми черными бровями образовалась сердитая складка. Он поднялся со своего места, и вместе с ним поднялись оба младших брата.

— Если так, — сказал он решительным голосом, — то все тотчас вон... Я не позволю грозить себе в своем собственном доме. Я вас не звал, вы сами пришли ко мне, я вас не гнал; но теперича, когда вы стали говорить непутевые слова, теперича, — вон!

— Ишь ты, как осерчал... Чаво еще вздумал!... — заворчало несколько голосов, но в сущности все были сконфужены, а старый сват, предлагавший дать раза́, совсем потерялся.

— Да ты не серчай, чаво серчать? Я ведь так только, к слову. Нешто я што таковское и взаправду?

— Все равно, не гоже, не гоже... Ступайте вон!

— Да ты не серчай! Обругай — и шабаш!

— Я не ругаюсь.

— Ну, коли не ругаешься, так не серчай. Што же, коли я виноват, так я и прощенья просить могу... Я и в ноги поклониться готов.

— Бог простит, бог простит, сват.

И Степан Егорыч удержал старика, собиравшегося упасть ему в ноги.

— Ступайте к отцу, — продолжал он, — там пейте, пляшите, ругайтесь, деритесь, а нас оставьте... Мы здесь хозяева.

Молча стали уходить один за другим пришедшие; только сватья не хотела добровольно уходить и все повторяла: «Грех вам, сватушки, грех вам, родимые». Но и ту силой увел муж.

В избе снова остались одни «христьяне».

— Тяжело вам иногда бывает, — сказал я.

— Нет, ничего, Владимир Александрович. Мы сами в пустые разговоры никогда не пускаемся, никого сами не трогаем, ну они и начинают привыкать понемногу.

— А отец?

— Отец серчает, но уж и он понятие получает, что мы худого никому не хочем. Господь поможет, и он христов закон познает.

Не знаю, познал ли отец Степана Егорыча христов закон, но я знаю, что далеко не все молокане были похожи на Степана Егорыча, знаю, что многие из них жили не лучше православных.

Поздней осенью холерные заболевания в нашем районе прекратились, и наш отряд должен был отправиться обратно в Самару, но прежде нас обязали произвести дезинфекцию во всех домах, где были холерные заболевания.

Я многих из этих домов не знал, так как не мало народу переболело и умерло до моего приезда в Утино.

Я потребовал список всех болевших холерой у волостного писаря — этого в былое время главного творца российской статистики. «Творец» обещал, что все «в аккурате» будет доставлено ко дню дезинфекции; но как раз в этот день ему понадобилось уехать куда-то на ярмарку, и я остался без списка. Впрочем, взамен списка ко мне явился сотский Зуда, чернявый, вертлявый мужичок с всклокоченной бородой. Он, по его словам, знал все и всех.

— Не нужно нам никаких списков, ваше благородие, — заявил он, — мы и так оборудуем эфту дамзекцию . . . в наилучшем виде . . . по-военному. . . без всяких сопротивлений! Со мной, ваше благородие, всякое дело сладится . . . Меня вот прозвали «Зудой», и эфто мне не то што в обиду, а в самое удовольствие, потому сам чувствую, што на работу я уж больно зудист.

Мне, напротив, чувствовалось, что остроумные мужики отметили сотского «зудой» совсем не потому, что он «больно на работу зудист», а потому, что он вечно суетится, всюду сует свой нос и кричит и горячится именно там, где нужно спокойно работать . . . Для «дамзекции» такое зудение совсем неудобно, но за неимением лучшего списка я решился воспользоваться и Зудой.

Ворота растворяются . . . Впереди всех выскакивает сам Зуда, торжественно размахивая гидропультом; за Зудой с грохотом выезжает бочка с карболкой, за бочкой мрачно шествует Шеншинов, прижимая к груди бутыль с сулемой; на переднем крыльце стоит Николай Феногеич и, качаясь от смеха, благословляет процессию . . .

— К Блохе, прямо к Блохе, — командует Зуда, — у него женка Федосья померла.

Иван Блоха и вся его семья встречают нас с недоумением и огорчением.

— Чаво прыскать-то, — стонет одна из баб, — чаво дух-то пущать? Ведь от Федосьюшки, почитай, одни косточки остались.

— Не рассуждать! Видишь . . . начальство! — останавливает ее Зуда.

— Постой, не зуди! — останавливаю я в свою очередь: — Скажи-ка, тетушка, когда Федосья померла?

— Да на Покров год будет, родимый.

— Как, год тому назад? Значит, не от холеры.

— Да хто ее знает, отчего она померла. Стара уж видно была, месяца два не домогалась, да и померла. Поди, спрашивай ее теперича, отчего она померла . . .

— Что же ты, с ума что ли спятил? — накидываюсь я на Зуду: — зачем ты ведешь меня сюда?

— Не гневайтесь, ваше благородие, промахнулся маленько! Теперича к самым настоящим покатим.

Промахов было, впрочем, не мало; еще хуже, что при малейшем невнимании с моей стороны Зуда начинал «озорничать» — «пужать» девок, требовать водки, табачку и т. п.

Крестьяне встречали нас с огорчением, но без всякого сопротивления. Разумеется, иногда до меня долетали возгласы вроде следующих:

«Полушубок-то, полушубок припрячь!»

«Тряпье-то, тряпье все им тащи, пущай прыскают».

Во время дезинфекции я при каждом удобном случае разъяснял крестьянам сущность холеры и давал практические советы, как оберегаться от нее. Эти «беседы» я считаю наиболее полезной частью всей нашей дезинфекционной кампании. Из того, как более понятливые «переводили» мои объяснения менее понятливым, я с удовольствием замечал, что мужик нередко схватывает суть объяснения лучше иного интеллигента.

Зуда, разумеется, не мог отнестись к этим беседам совершенно безучастно и чуть было не испортил всего дела. Я толковал мужикам, что слабый раствор сулемы уничтожает заразу (убивает червячков), но не может повредить тем вещам, которые им смачиваются. Зуда тотчас воодушевился.

— Чаво, дурачье, боитесь? Вот посмотрите, как мы по-военному.

Он быстро выхватил у оторопевшего Шеншинова бутыль с сулемой и поднес ее к губам. Я еле успел вырвать ее у него из рук.

Крестьяне зашевелились:

— Ишь ты: говорил, што не вредно, а как испужался!

Не знаю, удалось ли мне убедить их, что безвредное для овечьего тулупа может быть очень вредно для человеческого желудка.

На другой день я действовал уже без Зуды, но все же дезинфекция продолжала быть мне очень неприятной: как-то неловко работать среди пассивного сопротивления, особенно когда и сам-то не вполне веришь в то, что делаешь...

По окончании дезинфекции я вместе со своим отрядом уехал в Самару, откуда тотчас отправился в Бугурусланский уезд, где работала Альма. Она после моего отъезда из Самары проболела с неделю и, еще не совсем оправившись, отправилась на холерную практику.

До Бугуруслана я проехал по железной дороге, а затем шестьдесят верст на лошадях.

Зазвенел надоедливый колокольчик, безжалостно встряхнуло на ухабах главной улицы, визгливо залаяла из-под ворот грязной лачуги собачонка, весело гикнул ямщик, в лицо пахнуло свежим воздухом. Снова степь, но уже не та безграничность, как около Утина. Вдали волнистой линией бегут красноватые горы — отроги Урала. Чувствуется близость Азии, близость как будто иного мира. На душе и жутко, и радостно.

— Эй, вы, держи правей!

И наша тройка обгоняет медленно подвигающуюся партию переселенцев... Так вот они, горемычные странники! Угрюмые, измученные лица... Ох, еще далеко итти им до «вольных земель»!

А кругом — простор и безлюдье, но нет вольной земли!
— Ну, валяй, ямщик!

В полдень я сменяю лошадей в большой деревне, населенной старообрядцами. Расспрашиваю содержателя земской почты о «болести».

— Какая там болесть, — отвечает тот, — коли начальство повсюду заездило!

— А разве раньше не ездило?

— Знамо, как сильно-то хватило, почитай, никого не видать было, и дохторов не больно много было, а теперича — ишь как заездили! Теперича «болесть», почитай, только у наших старообрядцев и держится. Сегодня вон троих хоронили.

— А есть тут доктор?

— Да што дохтору тут делать? Разве они пустят его к себе? Как же, держи карман! Холера, говорят они, послана нам от бога за грехи наши, и лечиться от нее все равно, что богу противиться. Поди потолкуй с эфтаким народом! Одно слово — необразованность! Вовсе без всякого понятия!

Я взглянул на нескольких рослых стариков, сидевших на завалинке. Они не сняли передо мной шапок и проводили меня суровым взглядом.

— А что, — спросил меня ямщик, когда мы выехали за околицу деревни, — вы тоже царские или обнакновенные?

— Мы все, брат, царские, — усмехнулся я.

— Эфто вы оченно справедливо рассуждать изволите... Вот теперича наш дохтор — царский, военный... И таких, значит, повсюду теперича много. От самого батюшки царя посланы и дана им грамота, штоб все как ни на есть беспрекословно... Арбузов, дынь, воды сырой — всего эфтого штоб ни под каким видом и штоб, значит, эфту данзи... как ее, прости господи...

— Дезинфекцию?

— Так точно. Так штоб ее воспринимать беспрекословно.

— Ну что же, народ слушается?

— Помилуйте, как не слушаться!? Без всякого прекословия слушается. Таперича как только дохтор в деревню, тотчас повсюду хлопотня... Все што ни на есть на столе: арбузы, дыни, огурцы, — все в одно мгновение как не бывало.

— Ну, а довольны здесь доктором?

— Помилуйте, да как эфтаким человеком да недовольным быть! Золото, а не человек... Взять хоша бы езду... Ездить — ездит с понятием, толково ездит, не гонит понапрасному. Не то, што становой, леший его, прости господи, возьми! Как угорелый какой! Только и слышишь: «валяй» да «валяй»! А што будет, коли лошадушки свалятся, того он во внимание не берет. И было бы чаво, а то попросту, прости господи, — становой, как есть становой, и ничаво боле... Вон исправник, покрупнее птица-то будет, а ездит по-благородному, по честному, без всякого «валяй». Оно, конечно, кабы лошади-то не

мои были, а казенные, так тогда, пожалуй, валяй себе... Таперича тоже следователь — совсем без понятия человек...

И ямщик долго еще оценивал различных должностных лиц, и все с одной и той же своей ямщицкой точки зрения.

Само собой разумеется, что чем больше рассуждал ямщик, тем тише двигался мой тарантас, а между тем я с понятным нетерпением ждал встречи с Альмой. Несмотря на опасность оказаться в компании с лешим-становым, я велел ямщику «валять».

— Да чаво теперь, — и так сейчас будем, — успокаивал меня ямщик. — Вон уж и огни видать. Как раз к ужину прикатим... На славу отдохнете. Сестра стоит у помещиков Лисовских; у них дом — полная чаша, всего вдоволь.

В моей голове стала рисоваться светлая, уютная комната, самовар, чай со сливками, домашние булки, приветливое угощение, а главное спокойная и радостная ночь.

Но мои мечты оказались бессмысленными.

Не успели мы с Альмой обменяться первыми приветствиями, как в комнату вбежала молодая помещица и стала что-то зловеще шептать Альме.

— Хозяева не позволяют тебе остановиться здесь, — сказала с грустью Альма. — Тебе придется отправиться ночевать к мяснику Аггею. Мы тебя проводим с моим санитаром, а не то тебя аггеевы волкодавы просто разорвут.

Приходим к Аггею. Аггей сидит за столом и жадно рвет зубами огромный кусок плохо прожаренного мяса.

— Можно у вас остановиться?

— Ступайте к помещику.

— Он не пускает.

— А у нас негде.

— Я заплачу.

«Заплачу» делает мясника-кулака сговорчивее. Он оставляет меня ночевать. Альма с санитаром уходят.

На столе ужин.

— Ешьте говядину, — говорит Аггей, — а сейчас принесут еще баранину.

Я ищу глазами хлеба, но хлеба на столе нет.

— Что же без хлеба, что ли, едите?

— Да, мы, почитай, совсем без хлеба живем. Зачем, коли «убоины» сколько хошь?

Лицо у Аггея красное, но не здоровое — все в кровяных жилках; глаза хищные, нечистые; он не ест, а как-то по-собачьи рвет куски зубами и жадно чавкает. Первый раз в жизни мне делается «убоина» противной, и я с трудом проглатываю два-три куска.

Мне не хотелось пускаться в разговоры с мясником, и я поспешил улечься на приготовленную мне постель, если только можно назвать постелью какой-то половик, который мне бросили в одном из углов избы. Какое-то внутреннее чувство, какя-то обида, не позволили мне

потребовать, чтоб меня устроили по-человечески, по крайней мере, хоть подкинули бы сена или соломы.

Я не мог заснуть и следил, как ложилась спать семья мясника. Первым в соседней каморке завалился Аггей, сделав перед иконой несколько торопливых поклонов. Через минуту донесся до моего уха его сап и свист. Затем невдалеке от меня на кровати улегся сын Аггея. Жена его, молодая женщина, разделась, не стеняясь моим присутствием, затушила лампу и легла с мужем... Все уснуло.. Ах, если бы и мне уснуть! Но сон не смыкает усталых глаз. В ушах все еще звенит проклятый колокольчик, тело жгут насекомые, сердце сжимает обида, в глазах мерещится красноватое лицо Аггея. Чудится, что он держит в белых руках кровяной кусок «убоины», и «убоина» трепещет, как подстреленная птица. Ах, скорее бы прошла эта ночь! На дворе с воем залаяла собака: где-то вдали откликнулась другая. Жалобно запищал ребенок. Мать что-то ворчит спросонья и усиленно качает скрипучую люльку. Ребенок умолкает, но через минуту снова начинает пищать. В полумраке обрисовывается белая фигура и наклоняется над люлькой. Слышно чмоканье сосущего ребенка... Фу ты, господи, хоть бы заснуть! Прокричал петух, один, другой. Вдруг какой-то страшный, отчаянный крик. Я вскакиваю в испуге, но снова тишина; только Аггей ворочается и что-то шепчет. Я соображаю, что ему после сытного ужина приснился скверный сон. Ах, скорее бы, скорее!... Воздух сереет. Под окном весело зачирикала ранняя пташка. Из соседней каморки осторожно вышла аггеева старуха. Где-то у соседей стукнули ворота. Проснулась и, подняв кверху белые обнаженные руки, сладко потянулась аггеева невестка.

Я вскакиваю с своего половика, встряхиваюсь и, облив разгоряченную голову холодной водой, выхожу на улицу. Деревня еще спит, спит и негостеприимный помещичий дом с двумя рядами окон, закрытых ставнями. Из ворот показывается женская фигура. Я узнаю Альму, бегу к ней навстречу и с лихорадочной радостью жму ее руку. Идем вместе гулять. С горечью говорю о варварской нелюбезности ее помещиков.

— Ах, не суди так поспешно, — останавливает меня Альма. — «Холерные доктора», которые теперь разъезжают повсюду, хоть кому надоедят, к тому же Лопуховы совсем не обыкновенные «баре», как ты думаешь. Правда, они богаты, живут по-господски, но «из простых». Он — разбогатевший мужик, она — бывшая школьная учительница.

— Странная пара!

— Да, тем более странная, что он несравненно выше ее... Она — пустенькая бабенка, в нем же есть что-то, я бы сказала, «философское». Она мне до смерти надоела расспросами о том, как одеваются за границей; он, напротив, в разговорах со мной всегда старается затронуть какой-нибудь глубокомысленный вопрос. Придет вечером в мою комнату, станет у стены, закурит папироску и, задумчиво следя за улетающими кольцами дыма, начнет «углубляться».

«Я понимаю, — говорит он, — что кровь движется в жилах оттого, что ее толкает сердце, понимаю, что сердце расширяется и сжимается, но откуда, скажите, берется первый толчок? Я понимаю, что земля вертится и вокруг солнца и вокруг самой себя, но кто повернул ее в первый раз? Откуда взялась эта сила движения, откуда и зачем? Зачем вертится земля? Зачем бьется наше сердце? Зачем все рождается, растет, умирает? Зачем столько страданий, столько злобы? Скажите — зачем все это? И он долго задумчиво стоит, не замечая, что я занимаюсь своим делом... Потом встряхнет головой, пожелает спокойной ночи и быстро уходит из комнаты».

— Что же, он много читает?

— Нет, очень мало.

— Много работает, хлопочет по хозяйству?

— Тоже не слишком. Прежде, верно, вел дело очень ловко и энергично, но теперь начинает запускать свое хозяйство... Иногда целые дни с ружьем и собакой проводит в лесу.

Примирив меня своим рассказом с негостеприимными Лопуховыми, Альма очень живо стала рассказывать о своей холерной работе, в особенности о лечении татар, составлявших значительную часть населения ее района. Татары относились к ней доброжелательно, но находили, что они могут лечить и заочно.

Приходит татарин и без всяких предисловий требует лекарства.

— Давай лекарство!

— Да что у тебя болит?

— Моя ничего не болит, жена болит.

— Так ее нужно сначала посмотреть.

— Зачем смотреть? Говорю болит, значит, болит.

Слушая этот рассказ, я невольно сопоставил отношения к медикам во время холеры со стороны людей разных воззрений и положений. Интеллигентные люди (в особенности барыни) звали доктора при малейшем бурчании в животе (о, это бурчание! Хуже пушечных выстрелов!), без толку таскали его к себе днем и ночью, а в то же время смотрели на него со страхом, как на один из источников заразы. Простой православный мужик шел к доктору только в случае крайней необходимости, приходил с поклоном и просил помощи, как милостыни. Рассуждающий сектант несколько времени раздумывал прежде чем позвать доктора и, успокоив свою совесть тем, что докторское знание от бога, обращался за медицинскою помощью с полным доверием. Старообрядец не пускал доктора и на двор к себе, хотя бы вся семья его каталась в судорогах. Немец-колонист в случае заболевания в своей семье являлся к доктору и днем, и ночью, являлся с сознанием своего права. Доктор «soll» (обязан) — и никаких рассуждений... Наконец, татарин попросту требовал «лекарства».

Наговорившись вдоволь, мы отправились осматривать больных. Хронических больных было много, но ни одного холерного. Решили ехать в Бугуруслан за новыми инструкциями.

Аггей посоветовал нам ехать лишь до ближайшего полустанка на лошадях, а оттуда по железной дороге. До отхода поезда оставалось очень мало времени, но Аггей обещал нас мигом домчать на своих рысаках. Рысаки у него были рьяные, бешеные, точно он и их кормил своею «убоиной».

Аггей вез нас превосходно, но дороги не знал, и к ночи мы сбились с пути. Приходилось, видимо, опоздать к поезду, а опоздать — значило ждать целые сутки. А это было тем неприятнее, что я обещал бугурусланской земской управе приехать для нового назначения не позже, как через два дня.

— Ты будешь в ответе, если мы не поспеем к поезду, — сказал я сердито Аггею.

— Ничего, поспеем, — отвечал Аггей: — направление я знаю и пущу своих зверей прямо по степи.

Он гикнул, лошади рванули, легкая тележка как бы отделилась от земли и бешено понеслась в темное пространство. В этот миг мы все, все пять живых существ — Альма, я, Аггей и лошади — слились в одно целое, в одно бешеное, захватывающее дух движение.

Вдали сверкнула блестящая точка, затем другая и, наконец, целая группа ночных огней. Через несколько минут лошади уже храпели, отдуваясь перед подъездом станционного дома. Аггей соскочил с козел настоящим героем.

— Заверял, что поспеем, — вот и поспели.

Но как только дошло до расплаты, герой обратился в обыкновенного кулака-мясника и собирался ободрать нас так же безжалостно, как привык обдирать свою убоину. Но за нас заступился начальник станции, и заступился так энергично, что Аггей, торопливо схватив кредитку, которую я давно уже предлагал ему, хлестнул своих зверей и быстро скрылся.

Наша торопливость оказалась напрасной. Холера прекращалась и в Бугуруслане. Можно было со спокойной совестью возвращаться в Самару.

Туда со всех сторон съезжались победители холеры. В городе было шумно и весело. Рассказывали о грандиозных попойках героев

Мы с Альмой, попрощавшись с самарскими друзьями, поспешили уехать в Петербург, а затем через Берлин в Иену.

Моя встреча с Сашей и детьми была и радостная, и тягостная. В первый же день, когда мы с Сашей остались вдвоем, я сказал ей, что мы с Альмой не сдержали обещания, данного еще в Цюрихе, что наши отношения останутся исключительно дружескими.

Саша не упрекала, но как-то вся поникла и только несколько раз повторила, скорбно смотря на меня:

— Ах, Володя, зачем ты это сделал? Зачем, зачем?

Растерянно смотрел я на ее бледное лицо, смотрел, как катились слезы из ее глаз, и мысленно и в то же время бессмысленно повторял:

— Зачем? Зачем?!

Ответа не было.

Много горя, много обид причинил я в течение своей жизни Саше, этому самому доброму и безобидному человеку из всей той массы больших и маленьких людей, которые шли со мной по пути, которые обгоняли и отставали от меня.

Последний раз я видел Сашу в 1926 году за несколько месяцев до ее смерти. Прошло сорок лет со времени нашей первой встречи. Сорок лет она неизменно любила меня.

Когда мы прощались, она схватила мою руку и крепко прижалась к ней своими губами. Что-то болезненно перевернулось в моем старом сердце, которое до сих пор еще все продолжает биться, часто так болезненно, так укоризненно.

Альма пробыла в Иене всего несколько дней и затем ухела в Цюрих продолжать свое медицинское образование. Я остался в Иене.

Практика на холере укрепила мою любовь к медицине. Масса новых впечатлений ворвалось в мою душу за последние два месяца. Я их передал читателям в ряде полубеллетристических очерков, которые печатались в «Книжках Недели» в первой половине 1893 года.

П. А. Гайдебуров писал мне, что очерки эти читаются с огромным интересом, что в редакции получается много писем с запросами, кто скрывается под инициалами В. П., писал, что некоторые из этих очерков переведены на французский язык и печатаются в одной из парижских газет.

Критики толстых журналов, у которых был давнишний «зуб» против «Недели» и ее редактора, стоявшего в стороне от тогдашних литературных группировок, мои очерки замалчивали. В то время это меня несколько огорчало.

Я не знал тогда, что мои очерки с большим интересом читали два человека, мнением которых я дорожил неизмеримо больше, чем мнением всех тогдашних критиков, взятых вместе.

Эти два человека были Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов.

О мнении Толстого я узнал в начале 1895 года, когда ко мне пришла Ольга Константиновна Дитерихс, сестра жены В. Г. Черткова, Анны Константиновны, невеста сына Толстого, Андрея Львовича, с просьбою разрешить выпуск моих очерков отдельной книжкой в издании «Посредника».

Она сказала, что это желание Льва Николаевича Толстого, которому мои очерки очень нравятся.

Я с радостью согласился.

О мнении А. П. Чехова я узнал лишь в 1918 году, т. е. через двадцать пять лет после того, как напечатаны были мои очерки, и через четырнадцать лет после смерти Чехова.

Осенью 1918 года я сидел в полтавской тюрьме, официально обвиняемый в том, что восхвалял вождей большевизма, неофициально

в том, что будто я был негласным народным комиссаром и приехал на Украину для подготовки покушения на Скоропадского.

Доктор Волькенштейн, полтавский старожил, чтобы развлечь меня, прислал мне том с письмами Чехова.

Каково же было мое изумление, когда в одном из писем Чехова к А. С. Суворину за 1893 год я прочел отзыв о моих очерках.

Чехов сообщал Суворину, что он читает «Книжки Недели» и считает их наиболее интересными из современных журналов. Свое мнение он обосновывал тем, что в них печатаются очерки «На холере» какого-то заграничного врача. Очерки эти, писал Чехов, должен прочитать всякий, даже такой чрезмерно занятой человек, как Суворин.

Упоминал Чехов и о моей полемике с редактором «Врача», профессором Манассеиным, недовольным моим довольно суровым отзывом о некоторых врачах. Чехов становился на мою сторону.

Не буду скрывать, что в этот день полтавская тюрьма показалась мне превосходной.

XVI. БАЗЕЛЬ

Золотые ворота Швейцарии. — Беклин и Ницше. — Моя квартирная хозяйка. — Мещанская идиллия и мещанская трагедия. — В мире уравновешенности, деловитости и скуки.

В Иене по возвращении из «больной» России я пробыл еще один семестр, а затем перешел в Базельский университет. По примеру немецких студентов я переходил из университета в университет, чтобы поучиться у возможно большего числа выдающихся ученых.

Базель, красиво расположенный на берегу Рейна, считался в мое время «золотыми воротами» Швейцарии.

Сотни тысяч иностранцев останавливались в нем, двигаясь из Германии в Швейцарию, из Швейцарии во Францию, Италию и т. д. На базельском вокзале «швейцары» беспрерывно выкрикивали и, вероятно, до сих пор выкрикивают города, куда отходят транзитные поезда: Париж, Берлин, Вена, Рим, Прага, Будапешт и т. д.

Это какая-то центральная европейская станция. При этом вечном «переселении народов» должна бы, казалось, исчезнуть самобытная жизнь, а между тем нет, кажется, на свете другого города, где бы традиции были так крепки, который бы так неизменно сохранял свою своеобразную физиономию, как Базель. Его можно сравнить с богатой, энергичной, набожной, но черствой матроной, у которой в доме царствует порядок, которая любит комфорт, но не позволяет себе роскоши, которая охотно принимает у себя гостей, но не позволяет им нарушать порядок дома, мешать ее хозяйству; у ней можно поработать, можно поправить расстроенные нервы, но нельзя развернуться во-всю, показать по-русски всю ширь своей души.

Базель — «город богачей»: в начале девяностых годов прошлого столетия в нем насчитывалось всего шестьдесят тысяч жителей, из них более ста шестидесяти миллионеров, но этих миллионов как-то не видно; богачи живут на окраинах города в хорошеньких, но скромных виллах, уютно прячущихся в тенистые садики; правда, в некоторых из этих вилл скрыты драгоценные художественные коллекции, но они именно «скрыты», так как публика никогда не допускается к их осмотру. Богачи не особенно охотно жертвуют свои деньги на доставление художественных наслаждений своим согражданам, но они не скупятся на поддержание многочисленных миссий, на распространение христианского учения среди негров, готтентотов и других язычников. Музей Базеля обставлен сравнительно бедно, театр очень скромен.

Университет базельский, основанный еще в 1460 году, по числу студентов был в мое время одним из самых маленьких в Европе, но учеными силами и пособиями он был обставлен лучше многих больших университетов Германии и Австрии. Городской госпиталь, где были сосредоточены все университетские клиники, мог поспорить с большинством европейских клиник. То же можно было сказать и про научные коллекции, в особенности про анатомическую.

Студенты приезжали в Базель учиться; веселиться здесь трудновато. Я видел гуляк из Гейдельберга и других веселых немецких городков, решивших угомониться и приехавших исправляться в Базель.

«Нет в свете города скучнее Базеля, и в нем поневоле начинаешь учиться» — говорил мне один из них.

«В Базеле только и можно, что работать, — добавлял другой: — захочешь душу отвести, садись на поезд и поезжай либо в Цюрих, либо в Мюльхаузен».

Но работать в Базеле, по крайней мере на медицинском факультете, можно и не только потому, что «скучно», а и потому, что там превосходно поставлено преподавание. При сорока, пятидесяти студентах-клиницистах профессора знали каждого студента в отдельности и могли руководить ими, действительно учить их, а не только читать лекции.

Одним словом, Базель — город мирного благополучия, порядка и трудолюбия.

И как странно, что из этого традиционного города вышел гений, перевернувший в искусстве все традиции, до дерзости смелый, в картинах которого нет ни начала, ни конца, который смешивает действительность с образами и комбинациями из какого-то иного, нездешнего мира, картины которого так же странны, как иные сны, где фантазия человека безудержно и безгранично, не стесняясь разумом, повинуется лишь своим собственным влечениям, смешивая в диком беспорядке все жизненные образы, все жизненные краски. Я говорю о великом художнике Беклине.

Еще страннее, что в этом благочестивом городе читал лекции и написал все свои главнейшие сочинения до циничности смелый мыслитель, который с мощной злостью стремился разрушить все, что люди называли любовью, верою, нравственностью. Я говорю о философе Ницше.

Не явились ли Беклин и Ницше отчасти протестом против узкого пуританизма базельских граждан точно так же, как этот пуританизм родился, быть может, из стремления базельцев охранить свою самобытность от налетавших со всех сторон чужеземных влияний.

Любопытнее всего, что базельцы крайне гордятся своим знаменитым земляком Беклином. В музее Базеля, точно так же, как и в частных галереях, много его причудливых картин; с плафона главной лестницы музея дразнят посетителей полудьявольские, получеловеческие хари, сорвавшиеся с гениальной кисти Беклина, — но им, впрочем, не смутить благочестивых граждан Базеля!

Не Беклин и не Ницше вспоминаются мне, когда я думаю о Базеле: мне вспоминается скромная женщина, моя бывшая квартирная хозяйка, которую никто не знает, но которая кажется мне личностью тоже не совсем обыкновенной.

Высокая, стройная старуха лет шестидесяти, вечно затянутая в корсет, в гладком черном платье, с черной наколкой на голове... Твердое, сосредоточенное лицо с ясными серыми глазами и с двумя резкими складками по сторонам тонких губ.

Поселившись у нее, я сразу заметил, что попал к не совсем обычной хозяйке. Я почувствовал себя совершенно как дома; заботливость, деликатность, понимание с полслова; никаких денежных недоразумений, никаких ненужных разговоров. Жила она одна, я был у ней единственный жилец, прислуги она не держала и сама готовила для себя и меня. Все делалось у ней быстро. Я чаще видел ее за газетой или рукодельем, чем за уборкой комнат или приготовлением обеда. Обед был всегда вкусный, чистота в комнатах — швейцарская.

Иногда, стосковавшись один, я заходил к ней в комнату, и мы толковали о политике, об истории, о литературе. Она показывала такое знание, такую начитанность, что я как-то раз спросил ее, где она получила образование?

— Я кончила только народную школу, — ответила она, — но у меня за эти слишком двадцать лет вдовства было достаточно времени подучиться. Я не хожу ни в концерты, ни в театр, ни в гости, да и у меня бывает только мой сын; его приезды — мое единственное развлечение.

— Отчего же вы ведете такую замкнутую жизнь? — спросил я.

— Меня никуда не тянет после смерти мужа, веселье даже нагоняет на меня тоску.

— Вы, верно, сильно любили вашего супруга?

— Да, я его любила так, как теперь не умеют любить, любила твердо, неизменно... Нынешние женщины (она точно с презрением произнесла слово «Frauenzimmer») кидаются на шею первому встречному, чтобы при случае перескочить к другому. Это не любовь. Любить можно только раз в жизни.

Последние слова произнесла она с ударением, как бы желая показать непоколебимость своего убеждения. Наступила минута молчания; я заметил, что на глазах ее блеснули слезы, поблекшие щеки ее слегка покраснели. Сильная потребность с кем-нибудь поделиться самым дорогим в своей жизни и, рассказывая, пережить еще раз свое бывшее счастье и несчастье проснулась в ее душе. Без всяких вопросов, без всяких просьб с моей стороны начала она передавать мне историю своей единственной любви.

— Мне было двадцать четыре года, когда я в первый раз встретила Жозефа, моего будущего мужа. Отец мой содержал здесь в Базеле трактир, я заведывала буфетом. Я не любила разговаривать с посетителями, не обращала на них никакого внимания, вечно занятая своим делом; меня даже прозвали в насмешку «немой Луизой». Я бы,

вероятно, не обратила внимания и на Жозефа, если бы он пришел в обеденное время, но он явился часа в три, когда ресторан был совершенно пуст; девушки были отпущены, и я одна сидела за буфетом... Он был из Цюриха и служил там управляющим на фабрике. Произошли какие-то недоразумения между хозяином и рабочими, Жозеф заступился за них... пришлось оставить место, пришлось уехать из Цюриха и искать место в Базеле. Он был тихий, серьезный, сосредоточенный человек. Я заинтересовалась его судьбой, его поисками заработка, я каждый день спрашивала его, не нашел ли он места, и очень обрадовалась, когда ему удалось устроиться в правлении сберегательных касс. Он продолжал обедать у нас. Я ждала его прихода, я старалась, чтоб ему достался лучший кусок кушанья, я радовалась, когда встречала его ласковые взгляды.

Она замолчала, спицы, вязавшие чулок, быстро заходили в ее костлявых пальцах.

— А бывали ли вы когда-нибудь на Рейнском водопаде? — спросила она меня вдруг совершенно неожиданно.

Я утвердительно кивнул головой.

— Были вы там на скале, среди водяных брызг, среди водяного белого вихря?.. Мы были там с Жозефом.

Снова молчание, еще быстрее заходили чулочные спицы.

— Он вскоре сделал мне предложение. Отец отказал наотрез: он надеялся, что я выйду замуж за одного здешнего виноторговца; он думал соединить свой трактир с виноторговлей. В ответ на мою просьбу согласиться и благословить нас с Жозефом, он стукнул кулаком по столу и крикнул:

«Никогда!»

«Хорошо, — сказала тогда я ему, — я знаю твой характер, ты не уступишь; но помни, что я твоя дочь, у меня характер не слабее твоего. Я не выйду за Жозефа без твоего благословения, но и за другого никогда не пойду».

Он молча окинул меня взглядом и вышел из комнаты. С тех пор я почти не разговаривала с ним. Жозефу я написала, что не могу выйти за него замуж, но что останусь верна ему навеки, он же свободен и может жениться на другой. Он ответил, что никогда ни на ком, кроме меня, не женится. Он продолжал каждый день обедать в нашем ресторане. Отец по принципу считал невозможным запретить у себя обедать гостю, который платит всегда аккуратно. Мы лишь изредка перекидывались с Жозефом парой незначительных фраз. Так прошло двенадцать лет.

— Неужто же за все это время вы не виделись со своих женихом на стороне?

— В эти двенадцать лет отец два раза позволил нам пойти вместе — один раз в театр, другой раз в концерт.

— Я думаю, вам хорошо памятны этот театр и концерт!

— Еще бы! И как странно: оба раза пришлось слушать музыку Бетховена; один раз мы видели его «Фиделио», другой раз был торже-

ственный концерт в его память. Ах, уж теперь не могут больше сочинять так, как сочинял Бетховен. Все идет к упадку.

— Ну, что же дальше?

— Прошло двенадцать лет. Мне было тридцать шесть лет, Жозефу сорок. Отец захворал и, почувствовав приближение смерти, велел мне позвать к нему Жозефа... Мы стали вместе на колени у постели умирающего. Он благословил нас.

«Вы победили меня, — сказал он, — простите меня, любите друг друга... Господь да благословит вас, да пошлет вам мир и радость».

Мы тихо плакали все втроем... Мы повенчались через три месяца после смерти отца.

— И были очень счастливы?

— Как могли мы быть несчастливы, когда мы истинно любили друг друга? У меня родился сын. Роды были страшно тяжелые, пришлось делать операцию. Доктор говорил, что я слишком стара для первого ребенка... И я все же выжила, выжил и сын... А Жозеф, крепкий, сильный, умер, умер неожиданно через три месяца после моих родов. Только один год продолжалась моя семейная жизнь.

— Да, это страшно, — заметил я, — двенадцать лет ждать, чтобы быть счастливым всего один год.

— О, можно ждать целую жизнь, чтобы быть настоящим образом счастливым один день! — заметила моя хозяйка голосом убеждения.

— Вы, разумеется, посвятили всю жизнь своему сыну...

— Да, я возилась с ним день и ночь, но когда он подрос, я поняла, что не могу его хорошенько воспитывать, что он у меня избалуется, так как я не в состоянии его наказывать. После долгих колебаний, я решилась, наконец, отправить его в пансион, в Берн, и только изредка навещать его там. Я была права, я им теперь довольна, из него вышел честный человек и хороший работник. Он изучил кондитерское дело и хочет вскоре открыть здесь свою кондитерскую. Я подыскала ему хорошую, работящую девушку (вы ее видели у меня раза два по воскресеньям). Он женится, и я умру спокойно.

Пробыв в Базеле один семестр, я уехал во Фрейбург. Года через полтора мне пришлось еще раз проезжать через «золотые ворота» Швейцарии, и я остановился в них на день, главным образом для того, чтобы повидать свою бывшую хозяйку.

Она была в том же черном платье, затянута в корсет, как всегда, с очками, сдвинутыми на лоб, и с газетой в руках. Она встретила меня радушно, но не так радостно, как мне хотелось бы, как я ожидал. Вглядевшись в ее лицо, я заметил, что она осунулась, постарела. Разговор не вязался. Желая начать говорить о чем-нибудь для нее близком, интересном, я спросил, не женился ли ее сын, — и тотчас же почувствовал, что сделал какую-то неловкость. Она вздрогнула, и костлявые пальцы, вязавшие чулок, задрожали.

— Не спрашивайте меня о нем. Я его больше не вижу, я не хочу его

больше знать. Мир спятил с ума... О, эти проклятые, проклятые, глупые женщины!

Голос ее звучал сухо, злобно. Я хотел ее спросить, в чем же дело, но взгляд серых глаз, показавшихся мне на этот раз удивительно злыми, заставил меня замолчать. Мы расстались сухо и принужденно.

Тяжело было на душе у меня, когда я вышел на улицу! Моросил дождик, Рейн был грязен. Скученные, как будто залезшие друг другу на плечи, дома, окружавшие его, показались мне мрачными и тесными; чем-то затхлым веяло от них. У прохожих на лицах была написана деловитость, уравновешенность и скука. У меня не было ни деловитости, ни уравновешенности, но сердце почему-то щемила гнетущая тоска.

XVII. ФРЕЙБУРГ И ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Бодрый старик. — Фрейбургский собор. — Вейсман и его теория. — Циглер и его русские ученики. — Борисов и его жена. — Проф. Хегар и его взгляд на половую жизнь. — Гонорары и благородство Хегара. — Беймлер о гениальности. — Эммингауз. — Психиатрия. — Прогрессивный паралич. — Самый сильный и самый счастливый человек в мире. — Не написанный психиатрический роман. — Докторский экзамен. — Докторская диссертация. — Мекка русских ученых. — Физик Бунзен. — Философ Куно-Фишер. — Ренан. — Липман. — Петербург. — Приезд Альмы. — Конец первого этапа моей жизни.

Свое медицинское образование я закончил в баденском Фрейбурге. где держал докторский экзамен и написал докторскую диссертацию.

О Фрейбурге я вспоминаю с такою же признательностью, с такою же любовью, как об Иене. В моей памяти он запечатлелся как славный, приветливый старик. Он старик, так как основан девятьсот лет тому назад, но дряхлым он в мое время не казался. Он дышал силой и свежестью. Широкие, оживленные улицы, чистенькие дома, увитые вьющейся зеленью, из которой ниспадают гроздья душистых, белых и лиловых цветов, аллеи, сады, памятники и целая улица красивых университетских институтов и клиник; но что значат все эти современные здания перед гениально созданным средневековым собором, парящим над всем городом! Вблизи собор кажется составленным из массы причудливых фигур: тут и люди, и звери, тут и ангелы, и черти, тут вся жизнь. Издали он представляется одним прекрасным целым. Великий зодчий одухотворил мертвую массу, и она, вся прозрачная, слегка дрожа в воздухе, несется в высь, в голубые небеса. Особенно хорош он, когда им любуешься с покрытой виноградниками и садами, как будто смеющейся горы Шлоссберг; как в живой рамке, выступает он в зелени развесистых деревьев. Существует легенда, что этот чудный храм воздвигался в одну ночь по повелению бога и сразу во всей своей величественной красоте предстал перед очами верующих, собравшихся на Шлоссберге.

Все мрачное, все преступное богобоязненные фрейбургцы удалили на некрасивую северную окраину города. Там темное круглое здание военной тюрьмы с черными чугунными воротами, зияющими, как пасть чудовища, там улица разврата, где по ночам идет веселая жизнь, где из окон, освещенных розовым светом, выглядывают фигуры женщин, перекидывающихся шутками с проходящими гуляками.

Центром фрейбургской жизни является знаменитый университет, основанный в 1456 году. Из его профессоров в мое время наиболее

знаменитым был зоолог Вейсман. Он создал оригинальную теорию наследственности, вызвал мировое научное брожение, из которого родилась горячая работа мысли, а вместе с нею движение вперед, движение к истине.

Первые работы Вейсмана по вопросу о наследственности появились в начале восьмидесятых годов; в них он выставил положение об абсолютной *непрерывности* и *постоянстве* «зародышевой плазмы», из которой созидается весь органический мир.

Первую стадию развития органической жизни составляют существа одноклеточные; они размножаются делением, они, по мнению Вейсмана, вечны, т. е. не умирают сами по себе, и вся их плазма продолжает жить в «клетках-детях», являющихся результатом деления «клеток-родителей».

Одноклеточные существа подвергаются влиянию разнообразных внешних условий, которые изменяют их вид и создают таким образом разнообразие форм. В этом первоначальном разнообразии одноклеточных лежит основа разнообразия всего органического мира, т. е. как царства животного, так и царства растительного.

Из одноклеточных создаются многоклеточные, представляющие собою союзы клеток. Они размножаются преимущественно половым путем; в них происходит дифференциация клеток, причем одна из клеток является хранительницей бессмертной зародышевой плазмы. Все остальные клетки смертны, следовательно, смертен и весь остальной организм, но зародышевая плазма передается в неизменном виде из поколения в поколение, смешиваясь с зародышевым веществом другого организма и созидая, таким образом, новое существо.

Эта плазма, по первоначальному мнению Вейсмана, совершенно не подвержена внешним влияниям, в том числе и влиянию окружающих ее «соматических» (т. е. не зародышевых) клеток; отсюда вытекает наделавшее столько шуму утверждение Вейсмана, что *приобретенные свойства родителей не передаются детям*.

Появление громадного разнообразия видов многоклеточных существ объясняется, как думал Вейсман, исключительно различными комбинациями смешения двух зародышевых плазм.

О развитии, о возникновении высших более совершенных форм заботится исключительно естественный подбор, борьба за существование, в которой погибает все слабое, все менее приспособленное к окружающим условиям.

Такова в общих чертах теория Вейсмана, как она выразилась в его работах восьмидесятых годов. Она нашла много видных сторонников, но и много могучих противников, отстаивающих, подобно Геккелю, взгляд Дарвина, что фактором развития является не только борьба за существование, но и влияние внешних условий на организм, влияние, передаваемое по наследству в виде приобретенных свойств.

Вейсману пришлось несколько изменить свою теорию, но от постоянства и непрерывности зародышевой плазмы он все же не отказался.

Одним из наиболее талантливых сторонников теории Вейсмана был фрейбургский профессор патологии Циглер.

Под руководством Циглера в мое время работало несколько русских врачей. С ними у меня установились добрые, товарищеские отношения. Особенно памятны мне Борисов, Верховский и Лихачев. Впоследствии они сделались профессорами различных отраслей медицины.

Чаще всего я виделся с Борисовым, впоследствии профессором Новороссийского университета. Это был тяжеловесный мужчина с большой черной курчавой головой, крупными, расплывчатыми чертами лица. Он мне чистосердечно жаловался, что научная командировка во Фрейбург обошлась ему недешево: он, по его словам, был «вынужден» жениться на племяннице квартирной хозяйки, молоденькой, мало развитой немочке. Она чрезвычайно быстро научилась так же коверкать свой родной немецкий язык, как коверкал его Борисов. Вместо «gieb» она говорила: «gebe», вместо «der Frosch» — «die Frosch» и т. д.

Когда я ее поправлял, она неизменно возражала: «Aber Herr Doctor sagt so (Но так говорит господин доктор)» и продолжала коверкать немецкий язык.

О Гете и Шиллере эта немочка даже не слышала.

О браке Борисова, как и о целом ряде других внезапных браков, мне иногда приходилось думать, когда я слушал лекции самого видного из профессоров фрейбургского медицинского факультета, «старого Хегара».

Хегару в то время было уже семьдесят два года, но на его изящной черноволосой голове не было еще ни одного седого волоса, и когда он улыбался, то видны были хорошо сохранившиеся здоровые зубы.

Хегар, один из самых крупных — если не самый крупный — из современных гинекологов, не был узким специалистом. Он интересовался общечеловеческими вопросами. Его коньком было вырождение человечества в связи с злоупотреблением половыми сношениями.

Хегар не считал половые сношения необходимым для здоровья человека. Он зло высмеивал Бебеля, переносившего принцип гармоничного развития всего организма и на функции половых органов.

В доказательство возможности и полного воздержания от половых сношений он ссылался на Спинозу, Канта, Гумбольдта, Бунзена и целый ряд малоизвестных холостяков и старых дев. Болезненное душевное состояние некоторых старых дев он объяснял не отсутствием удовлетворения половой потребности, а отсутствием жизненных интересов.

«Учил» Хегар хорошо и для удобства студентов не жалел больных женщин. Всех пациенток, подвергавшихся клиническому осмотру, у него хлороформировали на час и дольше. Это было очень удобно для исследующих их студентов, но, конечно, не безразлично для здо-

ровья больных. Им иногда приходилось для поддержания деятельности сердца впрыскивать мускус.

Свои клинические лекции Хегар начинал в семь часов утра и делал перекличку всем студентам клиницистам, ставя в своем «журнале» нолики не явившимся или запоздавшим.

Я был единственным студентом, не получившим ни одного нолика. Отчасти поэтому, отчасти потому, что мне удавалось ставить правильный диагноз, Хегар относился ко мне с большой симпатией и, вероятно, в значительной степени ему я обязан тем, что Фрейбургский университет признал меня доктором медицины не «rite» и даже не «cum laude» (с похвалой), а «summa cum laude» (с высшей похвалой), что делается не часто.

Хегар слыл за «благороднейшего человека». Благородство не помешало, разумеется, ему нажить своим искусством и знанием миллионное состояние.

О хегаровских гонорарах ходили во Фрейбурге характерные анекдоты. Хегар, как и все немецкие доктора, присылал больным по окончании лечения или к новому году счета с обозначением гонорара. Один банкир, жену которого Хегар долгое время лечил, решил щегольнуть и, не дожидаясь счета, послал профессору десять тысяч марок. Он думал ошеломить Хегара громадностью гонорара, но «тайный советник, директор клиники, ординарный профессор и доктор медицины» не легко ошеломляется. В обычное время банкир получил счет с отметкой:

«Следует за лечение 15 000 марок. 10 000 марок получено. Остается 5000 марок».

Наряду с этим рассказом ходил и другой.

Является к Хегару бедная женщина. Хегар заявляет, что нужно сделать серьезную операцию.

— Что же это будет стоить, господин тайный советник? — боязливо спрашивает больная.

— Триста марок.

— Для меня, господин тайный советник, это непосильно дорого. Нельзя ли дешевле?

— Я не торгуюсь, дешевле нельзя, но можно совсем даром.

И Хегар делает операцию, не беря ни копейки.

Хорошими клиническими учителями были и другие фрейбургские профессора. Хирургу Краске удавались самые трудные операции. Следя, как этот крупный мужчина с белокурыми завитками на огромной голове, красный, весь в поту, возился над вскрытым животом больного или больной, вырезывал и сшивал внутренности, я понимал, я ощущал, как трудно, как ответственно врачебное искусство.

В медицине, более чем в какой-нибудь другой области, сливаются искусство и наука, сливаются труд умственный с трудом физическим.

Терапевт Беймлер, сухонький старичок в очках, прекрасно относившийся и к студентам, и к больным, любил повторять:

«Не пытайтесь, господа, быть гениями, старайтесь быть добросовестными медицинскими работниками».

Моим главным учителем в Фрейбурге был профессор Эммингхауз, директор психиатрической клиники. Огромный мужчина лет шестидесяти, с большим горбатым носом, выпуклыми глазами, с перекошенным от легкого паралича ртом.

По его указанию я написал докторскую диссертацию об «Истерии при органических заболеваниях центральной нервной системы». Ежедневно посещал психиатрическую клинику или попросту сумасшедший дом, с интересом, но в то же время и с тяжелым чувством всматриваясь в лица разнообразных умалишенных, вслушиваясь в их бредовые речи.

Больше всего меня интересовал прогрессивный паралич, который Эммингхауз обыкновенно называл «демонической» болезнью. Хотел и диссертацию писать о прогрессивном параличе, думая выяснить, может ли прогрессивный паралич появиться у человека, не болевшего раньше сифилисом.

Эммингхауз эту тему отклонил, найдя ее для первой научной работы слишком трудной.

Из моих больных прогрессивных паралитиков мне особенно памятен один итальянский рабочий лет сорока с изможденным лицом, покрытым царапинами и болячками. Он смотрел на меня блуждающим взором и с каким-то остервенением повторял:

— Я самый сильный, самый могучий, самый богатый человек в мире. У меня сотни замков, тысячи жен, миллионы детей, все счастливы, но самый счастливый человек в мире все же я.

Мне пришлось присутствовать при предсмертных судорогах этого несчастного, пришлось присутствовать и при вскрытии его трупа, в печени которого патолого-анатом нашел следы застарелого сифилиса.

Во время занятий в психиатрической клинике у меня зародилась мысль написать повесть или роман с героем, заболевающим прогрессивным параличом.

Молодой человек после выпивки в товарищеской компании отправляется в публичный дом. Там совершается его первое «падение». Заражается, заболевает сифилисом, усердно лечится и сравнительно быстро излечивается. Живет нравственно, много работает, завоевывает почетное место в медицинской науке, делается известным психиатром, счастливо женится.

Проходит около пятнадцати лет, и вдруг близкие начинают в его поведении замечать странности. Без толку раздражается, деликатность сменяется необъяснимой грубостью, допускает сальные шутки, которым первый громко смеется, путается при чтении лекций и т. д.

Чем дальше, тем хуже. Близкие сначала говорят о переутомлении, жалеют, в конце концов приходится обратиться к психиатру, тот определяет прогрессивный паралич. От больного скрывают диагноз, он, однако, догадывается, хочет покончить с собою, но для «самоосвобождения» уже слишком ослаблена разумная воля.

Мне хотелось в этом романе показать, как человек, достигший высшего культурного развития, постепенно под влиянием «демонической» болезни теряет самые тонкие волокна и клетки своего мозга, а вместе с тем и самые тонкие, самые культурные проявления своей личности.

Мне хотелось в романе показать и моменты «просветления», когда взамен погибших нервных клеток начинают работать другие, запасные, как и они тоже гибнут и как в конце концов гибнет человек.

У меня был собран интересный материал. Еще у Бинсвангера в иенской клинике я наблюдал доцента-психиатра, заболевшего прогрессивным параличом, отупевшего до такой степени, что не мог сделать простого сложения, затем на два месяца, казалось, совершенно выздоровевшего, начавшего читать лекции, снова заболевшего и в конце концов погибшего.

Вспоминался мне и наш учитель Свирелин, болезнь которого развивалась, так сказать, на моих глазах в течение целого года.

С большим интересом я тотчас по окончании Фрейбургского университета выслушивал доктора Мухина, впоследствии профессора психиатрии Варшавского университета. Доктору Мухину, как он мне рассказывал, было поручено императором Александром III следить за ходом развития болезни у великого князя Николая Николаевича, бывшего главнокомандующего во время русско-турецкой войны, отца Николая Николаевича младшего, главнокомандующего во время империалистской войны.

Мухин вел дневник с подробным описанием развития демонической болезни своего августейшего пациента. Дневник наглядно показывал падение нравственной личности, нарастание цинизма, бесстыдства и постепенное сокращение запаса слов. Так например, словом «борода» Николай Николаевич называл все волосяное, даже воротник бобровой шубы.

План романа из жизни больного прогрессивным параличем я подробно разработал, но романа не написал.

А почему не написал — поймет тот, кто до конца дочитает продуманное и пережитое мною.

Мои немецкие профессора не предполагали, что я на ряду с медициной увлекаюсь литературой, пишу и печатаю статьи и очерки. Я сам думал, что мое призвание — медицина.

В тот вечер, когда Хегар от имени факультета торжественно провозгласил меня доктором медицины, я был счастлив.

Вспоминаю ярко освещенную залу, сонм профессоров, один другого знаменитее, сидящих в креслах за длинным столом, небольшую, стройную фигуру Хегара, молодого, несмотря на свои семьдесят два года, и свою собственную фигуру, отраженную в большом зеркале.

Себя я не узнаю. Согласно обязательному обычаю немецких университетов я экзаменовался во фраке и белых перчатках. Фрак мне был уступлен доктором Лихачевым.

Мы пожимаем с Хегаром друг другу руки, и мое сердце наполняется гордостью, когда он называет меня «дорогой коллега».

Прощаясь со мною, профессор Эммингхауз, приветливо улыбаясь своим искривленным ртом, выражал уверенность, что я составлю себе крупное научное имя, и он вскоре услышит о моих научных трудах в области невропатологии и психиатрии.

Увы, он жестоко ошибся! От моих занятий медициной, которой я около сорока лет тому назад так увлекался, которую я так искренно любил, остался только титул доктора медицины, а все остальное поглотила работа литературная, общественная, революционная.

Это не беда. Беда в том, что слишком много сил взяли порывы и надрывы моей личной жизни.

По окончании докторских экзаменов я из Фрейбурга проехал в Гейдельберг.

Гейдельберг еще в середине прошлого столетия считался своего рода Меккою для молодых русских ученых. Там, между прочим, закончил свое медицинское образование знаменитый Пирогов.

В мое время крупнейшей знаменитостью Гейдельберга был великий физик Бунзен. Ему было тогда уже восемьдесят пять лет. Лекций он не читал, но его ежедневно можно было видеть в первом часу дня около гейдельбергского Grand hôtel'я.

Скромно одетый седенький старичок с морщинистым лицом, в умном и добром выражении которого было что-то напоминающее взгляд породистой лягавой собаки, входил в отель, медленно подымался во второй этаж и садился за table d'hôte на свое обычное место. Соседи его сменялись чуть ли не каждый день, а он ходил сюда регулярно не день, не два, а десятки лет.

Элемент Бунзена! Горелка Бунзена! Кто их не знает? Какой-то химик сказал, что этой горелке мы обязаны всеми современными великими открытиями химии. Это сказано слишком сильно, но несомненно, что бунзеновская горелка всегда присутствовала при их рождении. Имя Бунзена связано со многими кропотливыми исследованиями, но мировое имя он получил, изобрев одновременно с Кирхгофом спектральный анализ.

Жизнь Бунзена вся без остатка была посвящена науке и протекла в гейдельбергском физическом кабинете. Бунзен не был женат; по свидетельству Хегара, он не знал ни физической, ни платонической любви к женщине. Но старый, чистый холостяк отнюдь не был противником женщин. Он горячо стоял за допущение их к университетскому образованию.

Скромность Бунзена вошла в поговорку. Читая отделы физики, почти созданные им, он никогда не упоминал своего имени и употреблял безличные формы: «открыли», «исследовали» и т. п. В 1859 году, когда по всему миру разнеслось известие об изобретении спектрального анализа, Наполеон III поручил французскому посланнику передать Бунзену орден почетного легиона, но Бунзен отказался, сказав, что изобретение сделано Кирхгофом.

Всякие юбилейные празднества, а их могло быть в жизни восьмидесятипятилетнего знаменитого ученого немало, Бунзен всегда решительно отклонял.

Полный контраст Бунзену представлял собою гейдельбергский философ Куно Фишер, автор известной «Истории новой философии».

Куно Фишер был женат два раза и в старости, несмотря на свою комичную наружность, кокетничал и желал нравиться женщинам.

Наружность у Куно Фишера была поистине комичная! Маленький, толстенький, с короткими ногами и руками; голова лысая, лицо без всякой растительности напоминало мне тарелку с позабытой на ней картошкой.

Будучи решительным противником высшего женского образования, Куно Фишер не допускал в свою аудиторию женщин, даже как вольнослушательниц.

Самомнение у него доходило до смешного. Хотелось, например, ему сказать кому-нибудь любезность, а выходила лишь похвала самому себе.

В его аудитории, всегда переполненной, постоянно слышался оглушительный ножной топот, заменяющий в немецких университетах рукоплескания. Немецкие студенты прибегали к этому знаку одобрения крайне редко, но Куно Фишера они каждый раз встречали и провожали топотом, топотали и после каждой эффектной тирады. Топотали не столько от восторга, сколько для возбуждения ораторских способностей профессора, который не мог и г р а т ь без знаков одобрения. Я говорю «играть», так как лекции Куно Фишера были настоящим представлением, толстенький старичок подпрыгивал, махал руками, декламировал, громил и восторженно завывал.

Мне лекции Куно Фишера доставляли меньше удовлетворения, чем лекции знаменитого Ренана, которого я слушал в парижской Сорбонне, и в особенности Липмана, философский курс которого я прослушал в Иенском университете.

Ренану, когда я его слушал, было уж лет семьдесят. В молодости, вероятно, очень красивый, в мое время он был лишь внушительным. Очень толстый, с шапкою густых, длинных, совершенно белых волос, с гладко выбритым лицом римского патриция Ренан обладал голосом мягким, певучим, так подходящим к красивой французской речи.

Липман был моложе Ренана; в темные волосы седина лишь начинала пробиваться. В выражении красивого мужественного лица больше строгости, чем у Ренана.

Читая лекции по истории новой философии, Липман своими зоркими орлиными глазами внимательно следил за своими слушателями. Мне вспоминается, как на одной его лекции немецкий бурш, сидевший на задней скамейке, заснул. Липман обжигал его гневным взором, но этим не разбудил. Тогда Липман встал со своего профессорского кресла и большими шагами подошел к уснувшему. Проснув-

шийся студент вскочил взъерошенный, профессор что-то сказал ему тихо, но так внушительно, что бедняга долго стоял ошпаренный и ошеломленный, не решаясь уйти из аудитории, когда она уже опустела.

В Гейдельберге я пробыл не больше месяца, но за это время мне удалось послушать лекции и побывать в клиниках ряда знаменитостей, в том числе невропатолога Эрба и хирурга Черни.

Из Гейдельберга я поехал через Берлин в Петербург, откуда намеревался отправиться в Казань, где думал после сдачи государственных экзаменов работать в психиатрической клинике.

Но человек предполагает, а болезнь располагает. В Петербурге я заболел бронхиальным воспалением легких и пролежал около двух недель в квартире моей сестры Машеньки.

Саша вместе со своими детьми и Альмой жила в это время в Швейцарии.

Узнав о моей болезни, она хотела поехать ко мне, но это было не так просто, так как у ней на руках, кроме Лели и Тани, была еще девочка Саша, родившаяся за несколько месяцев перед тем.

Поехала Альма.

Я, к тому времени уже оправившись от болезни, не желал ее приезда, боялся его. Когда была получена телеграмма, сообщавшая, что Альма приезжает такого-то числа в таком-то часу, у меня появилось трусливое желание куда-нибудь спрятаться. Но я не спрятался, а поехал встречать Альму.

Сомнения, терзания, порывы, надрывы — и в конце концов вместо Казани — глухая усадьба Костромской губернии. Нас с Альмой приютила там Елена Александровна Девочкина, вышедшая замуж за молодого швейцарского ученого и поселившаяся вместе с мужем и дочуркой в усадьбе, принадлежавшей ей и ее сестрам.

Мне тогда исполнилось тридцать лет.

Когда-то в Иене я подарил детям шарманку, которая наигрывала мотив старинной немецкой песни:

Schon dreissig Jahre bin ich alt
Und Manches schon erlebt.

(Мне уж тридцать лет, и кое-что уж пережито.)

Теперь этот мотив и эта песенка постоянно звучали в моей душе. Да, уж кое-что пережито. Но предстояло пережить гораздо больше. Гораздо более сложное, гораздо более грозное.

Начинался новый этап моей жизни. Какой-то историк говорил, что счастливы народы со скучной историей. Вероятно, и счастливы отдельные люди, история жизни которых так же проста, так же скучна, как жизнь старосветских помещиков. Моя жизнь скучной не была.

Закончившийся период был периодом подготовки к борьбе и творчеству, надвигался период зрелости, где я одно время шел рядом с большими людьми, шел навстречу вихрю событий, в котором закружилась и моя жизнь.

О подготовке к борьбе и творчеству я рассказал правдиво. Постараюсь так же правдиво рассказать и о самой борьбе, и о самом творчестве.

А пока — перерыв в рассказе о пережитом и продуманном, но не перерыв в переживаниях и мыслях, ибо они не знают перерывов, они знают только конец.

ОГЛАВЛЕНИЕ